АЛЕКСАНДР ПУМПЯНСКИЙ

ПРОИСШЕСТВИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОЛГОФЫ



АЛЕКСАНДР ПУМПЯНСКИЙ

ПРОИСШЕСТВИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОЛГОФЫ

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1984

Художник А. С. Житомирский

Пумпянский А. Б.
П88 Происшествие в окрестностях Голгофы.— М.: Сов. Россия, 1984.— 336 с.

У этой книги о сегодняшней Америке свой ракурс. Собственные наблюдения автор сверяет с мыслями и суждениями крупнейших современных американских писателей — великих патриотов и критиков своей страны. Реальная жизнь читается при свете американской литературы. Страницы книг — в контексте подлинных событий.

П $\frac{0804000000-110}{М-105(03)84}$ 24—84 327,21

АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ

(Несколько слов от автора)

Самое существенное, что есть в литературе,— это жизнь. Самое прекрасное, что есть в жизни,— это литература.

Подобное признание, быть может, не лишено претензии. Но без него не обойтись. Таков ход этой книги. И шире — код. Публицистический принцип.

Журналистику влечет за собой событийный ряд. Литературу — бытийный. Публицистика невозможна без меры того и другого.

Слово «герой» многозначно. Оно может быть высоким и обманчивым. Благородным и дутым. Возможно, оно ключевое в литературе и жизни.

Джон Рид писал революцию и написал сагу своей жизни... Столь полное слияние идеала и реальности, Слова и Дела — уникальный случай. Но слово сопровождает дело. Идет по пятам, рядом, вместе.

«Автобиография» — не из тех слов, что захватывают воображение. Оно ассоциируется, скорее, с трафареткой отдела кадров, чем с повестью исповедания. Но вот Анджела Дэвис назвала свою книгу «Автобиография», и слово засветилось. Оно превратилось в роман, в детектив, в человеческий документ и социальный урок. Это великолепная книга, и лучше ее было не назвать — каждая ее строка обеспечена великолепной жизнью.

После Кинга остались его проповеди — речи. Слово, убеждение было его оружием... После Джорджа Джексона есть его письма. Отрезанный от мира тюремной стеной, он грезил свободой. Скованный по рукам и ногам, мечтал о справедливости и мести. Ничего иного ему не оставалось — только письма — последняя ниточка, соединявшая его с волей. Излияния измученной души стали динамитом.

Гении действия и слова редко совмещаются в одном лице. Это разные ипостаси духа, а запредельная высота требует всего

человека. Но слово проявляет действие. Герои литературы помогают лучше понять людей и нравы. В моем сознании рядом с Мартином Лютером Кингом, Эндрю Янгом или Мохаммедом Али стоят Джо Кристмас и Лукас Бичем из фолкнеровских романов, а жизненный спор Адама Стентона с Вилли Старком по кличке Хозяин из «Всей королевской рати» Роберта Пенна Уоррена, дуэльный спор, в котором выстрелил третий — Крошка Дафи, проливает свой свет на столь разные истории Джона Кеннеди и Ричарда Никсона, Джимми Картера и Рональда Рейгана. А разве чиверовский «Буллет-парк» не стал именем нарицательным для целого слоя современной американской жизни, для огромной территории, которую именуют «сабурбией» — пригородьем?! И в фантастических розыгрышах Курта Воннегута не открывалась нам американская действительность?!

Так шло мое узнавание Америки, и думаю, что не только мое.

Испытать литературу жизнью — значит проверить ее на глубину и реализм.

Испытать жизнь литературой — значит предъявить ей высший, нравственный счет, испытать на человечность.

В этой книге об Америке и американцах будет попытка того и другого. Я желаю читателям удачи.

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

Глостер, будущий Ричард III:
Я мог бы... поучить самого Макиавелли.

В. Шекспир, «Генрих VI»

«КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК — КОРОЛЬ»?

НАЧНЕМ С АДАМА

Шел 1864 год, конец американской гражданской войны был уже не за горами. В госпитале Атланты, штат Джорджия, лежал молодой человек с длинным худым лицом и темными, широко расставленными, горящими глазами. Молодой человек умирал. Он ждал смерти и хотел ее. Пуля попала ему в ногу, началось заражение, рана смердела и болела. Но страшнее были иные муки. «Я умру,— пишет он в дневнике,— и меня минует развязка войны и горечь поражения. Я прожил жизнь, не сделав никому добра, и видел, как другие страдают за мою вину...»

Его вина была велика. Он обманул друга, и тот покончил с собой. С тех пор Касс Мастерн — юноша с горящими глазами — не находил себе места в этой жизни. Со свойственной или, скорее, приписываемой тому веку экзальтацией он ощущал себя «величайшим из грешников и проказой на теле человечества». Он знал, что «все это — и смерть моего друга, и предательство по отношению к Фебе, страдания, ярость и душевная перемена в женщине, которую я любил,— все это было следствием моего греха и вероломства и произросло, как ветви из единого ствола или листья из единой ветви. Или же, если представить себе это по-другому, мой подлый поступок отозвался дрожью во всем мироздании, отзвук его рос и рос и расходился все дальше, и никто не знает, когда он замрет...».

«...мой подлый поступок отозвался дрожью во всем мироздании...»

В вонючем госпитале Атланты в 1864 году — на исходе долгой, кровопролитной войны — молодой человек умирал от душевных мук. В наши дни от этого не умирают. Не умирают? Но почему тогда Касс Мастерн оказался в центре современного повествования? Чтобы была еще одна история? Их и так много в романе Роберта Пенна Уоррена — кстати, куда более увлекательных, во всяком случае менее назидательных. Но ав-

тору нужна была именно назидательность. Если бы у Америки была история хотя бы такая же долгая, как у Европы, он бы, наверное, поселил своего Касса Мастерна в классических веках — рядом с Ромео и Джульеттой, Отелло, Макбетом, королем Лиром, ибо ему нужен был не просто человек, а человек — манифест, декларация, программа, человек-символ, свободный от подробности реализма. Быть может, он даже не придумывал бы его, а просто нашел у «какого-нибудь» американского Шекспира. Но у Америки нет такой истории и нет такой литературы, и автору пришлось самому написать своего Мастерна в качестве классического героя. Его судьба служит нравственным камертоном романа.

Век спустя другой, уже современный, герой Роберта Пенна Уоррена — студент-историк и дальний родственник Касса Мастерна Джек Бёрден найдет его дневники и постарается разобраться в его жизни. И странное дело: выводы, которые он будет делать по мере своего исторического исследования, окажутся важны и ему самому. Постигая Касса Мастерна, он постигает и самого себя. И другие герои романа (причем самые разные: Вилли Старк, и Адам Стентон, и судья Ирвин) тоже окажутся родственниками Кассу Мастерну, не по крови, конечно,— по духу, ибо стержнем их существования служит все тот же проклятый «старомодный» вопрос, который когда-то мучил Касса Мастерна: что есть добродетель? Или, выражаясь менее архаическим языком: что есть добро и зло? как соотносятся идеалы и дело? как цели, которые ставят перед собой люди, связаны со средствами их достижения? Все они погибнут — судья Ирвин, и Адам Стентон, и Вилли Старк. Потому что в наше время «от душевных мук» погибают тоже...

Адам Стентон и Вилли Старк. Моральный конфликт этих двух героев составляет в романе главную линию напряжения. Они явные противоположности. Как лед и пламень. Как гений и злодейство. И конечно, гений — это Адам, а злодей из злодеев — Вилли Старк по кличке Хозяин.

Врач по профессии, Адам Стентон отдает всего себя избранному делу. Блестящий специалист, он мог бы разбогатеть, но деньги его не интересуют, с пациентов он не берет ни гроша. И самое главное — он честен, абсолютно честен. Он ни разу не запачкал рук своих сделкой или компромиссом — с людьми или собственной совестью. Он чист, как его библейский предок и тезка. Впрочем, даже чище — тому Адаму ведь было куда легче, он был один, и неизвестно еще, как бы ужился он с людским родом. Да и прародителем человечества тот Адам, как известно, стал не без греха.

Стентон же абсолютно безгрешен. Он смотрит на мир «ясными... льдисто-голубыми» глазами: «...такие глаза и такой взгляд,— как заметит однажды друг его детства Джек Бёрден,— бывают у вашей совести в четыре часа утра».

Но вдруг в какой-то момент вы замечаете, что взгляд этих льдисто-голубых глаз чересчур холоден, ему не хватает обыкновенного человеческого тепла. И вот уже странная мысль лезет в голову: а не слишком ли безупречен Адам Стентон?

Ради работы, дела он отказал себе во всем: в семье, отдыхе, личной жизни. Казалось бы, нет оснований для самообвинений. Но вот вам задачка в духе греческих софистов: профессия врача — самая гуманная из профессий, значит, врач — самый большой гуманист? Эту задачу и пытается решить для себя Адам Стентон. Только он формулирует ее иначе. Как врач он лечит боль — самоотверженно, не щадя себя. Но исцеляет ли он зло? Увы, утвердительного ответа Адам дать не может. Вилли Старк предлагает ему стать во главе новой больницы. Больница хороша, слов нет, возможности Адама Стентона лечить если не зло, то хотя бы боль и уже этим делать добро увеличиваются многократно. Но разве можно иметь дело с Хозяином? И Адам отказывается. (Только пережитый кризис заставит его переменить решение, да и то против воли.)

Конфликт обнажается. Адам стремится делать добро и быть чистым, честным человеком. Он знает, что только так, собственно, и можно делать добро. А если выбор жестче: делать добро или сохранить чистоту,— что тогда? Адам предпочитает остаться безгрешным. В любой момент в этом скопище грязи, каким является окружающий мир, он хочет иметь моральное право бросить хотя бы самому себе: «А я чист!» Прекрасная возможность. Но вот беда: отделившись от «добра», «чистота» превращается в некую самодовлеющую величину. Ракурс смещается, гармония идеала нарушается. И уже не только ироничный Джек Бёрден, но и Анна Стентон, сестра Адама и самый близкий ему человек, упрекает его в гордыне, «в эгоизме и гордости — что он свою гордость ставит выше всего. Выше общей пользы, выше своего долга».

В критические моменты Адаму уже трудно понять, что хорошо и что плохо, его прежде всего волнует: чисто — нечисто. И это опасно. В романе это приводит к трагедии. Анна Стентон полюбит Вилли Старка, полюбит, так сказать, за дело, ибо он единственный в ее жизни и вообще в романе человек, который истово делает дело, но Адам — добродетельный Адам — ее не поймет. Для него Вилли Старк — воплощение всего нечистого, и потому любовь сестры — грехопадение, грязь. А грязь

смывают кровью. И он убивает Вилли Старка и умирает сам.

И все же он прекрасен, этот бескомпромиссный Адам Стентон. Он ошибся, быть может, но ради чистоты идеала он пошел даже на смерть.

...Нетрудно догадаться, что если Адам — герой не без упрека, то Вилли Старк не просто злодей, хотя видимыми, да и не только видимыми, чертами такового обладает в полной мере. Он политик (автор вкладывает самый худший смысл в это слово), то есть человек, который не остановится ни перед чем, чтобы достичь своих целей. Подкупы, шантаж, расправа — вот его обычные методы. Угрызений совести он не испытывает, только практические соображения волнуют его. Что, например, лучше: купить противника или раздавить его? Конечно, раздавить. «Хватит с меня, накупил сволочей. Раздави его — и никаких забот, а купи — и не знаешь, сколько раз еще его придется покупать...»

Любопытно, что в Вилли Старке американский читатель сразу узнал черты Хью Лонга — губернатора штата Луизиана в 30-е годы. Блестящий демагог, диктатор, стопроцентный американский босс, Хью Лонг оставил довольно заметный след в политической жизни США. Еще больше повезло ему в американской литературе. Можно насчитать с полдюжины романов, в которых прототипом героев служит Хью Лонг.

Для социолога или историка прототип — неоценимая находка, он помогает установить ту первичную простейшую связь, которая существует между реальностью и литературой. С критиком, которого в первую очередь интересует постановка в художественном произведении нравственных проблем, дело сложней. Беллетрист все-таки свободен по отношению к истории, он творит по собственному промыслу. В знакомых одеждах нам может явиться совсем иной герой. Внешнее сходство между тем завораживает. Оно невольно подводит к мысли, что и внутренне прототип и герой неразличимы. И в этом смысле прототип может даже затуманить, затемнить восприятие характера героя...

Вилли Старк написан на жизненном материале Хью Лонга. Но он не совсем Хью Лонг, а порою совсем не Хью Лонг. В борьбе Вилли Старк безжалостен и неразборчив в средствах. Но вот интересная особенность. Ни разу его тяжелая рука не поднялась на «хорошего человека». Дубина, которой Хозяин машет направо и налево, расчищая себе путь, довольно аккуратно попадает на головы лишь таких людей, как Крошка Дафи, Гумми Ларсон, Макмерфи, а это бессовестные дельцы, беспринципные политиканы, живущие куплей-продажей всего и вся, в том чис-

ле розничной торговлишкой собственными телами и бессмертными душами,— одним словом, подонки, мразь. И когда их давят, нельзя сказать, чтобы наше нравственное чувство бунтовало. Нам даже кажется, что это, в общем, справедливо.

В этих обстоятельствах нас интересует только одно: а для чего он это делает? Для чего все эти баталии, в которых текут реки грязи и реки крови — все вперемешку. Это, конечно, борьба за власть. Но есть ли это борьба за власть ради самой власти и, следовательно, схватка с себе подобными — «пауки в банке» — или же действует какая-то иная схема?

Давайте вернемся к истокам Вилли Старка — к былому дяде Вилли из деревни. Вот он воюет с «отцами» родного городка, чтобы не допустить жульничества при постройке школы. Эта война ему стоит крошечного поста, какой он в то время занимал, заставляет вернуться на ферму... Довольно странное поведение для начинающего карьериста. Вот он проводит свою первую предвыборную кампанию в масштабах штата, но на встречах с избирателями по простоте душевной всерьез произносит длинные нравоучительные речи, переполненные выкладками, цифрами и пунктами того, что, с его точки зрения, нужно населению. И, конечно, проваливается...

А вот он после ряда драматических событий, уяснив наконец, что есть что в мире политики, становится все же губернатором штата. Что же он практически делает? (Я имею в виду не интриги, не спекулятивную призрачную активность, цель которой власть, а более осязаемую конструктивную деятельность.) Строит дороги, облагает корпорации налогами... Вам кажется, что перечень его дел недостаточно радикален? У вас есть лучшая программа, как осчастливить жителей американского штата Луизиана? Учтите, во всяком случае, что по роману ни один губернатор до Вилли Старка, даже благородный Стентон, отец Адама и Анны, не осуществил ничего подобного.

Уоррен не утопист. Он вполне традиционный писатель. И написал он не политэкономический труд, а роман. Его оружие — образ. Вилли Старк строит больницу. Это единственное его дело, которое не просто названо, а описано, и по тому, как выписано отношение Старка к нему, мы видим, что это дело его жизни, а не просто прихоть тщеславного политика, желающего увековечить себя после смерти. Больница становится символом цели Вилли Старка. Символом дела!

И ради дела Вилли Старк готов на все. На унижение, презрение, потерю достоинства. Собственно, понятия достоинства как такового для него в отличие от Адама Стентона не существует, только интересы дела... Ну хорошо, рассуждает он, стал-

киваясь с вопросами морали, он уступит и будет поступать так, как хотят того радетели чистоты, но ведь тогда он проиграет сразу и выйдет из игры. Совесть его будет чиста, но «мир-то от этого не изменится, черт подери, ни капли». Нет, пусть он лучше будет «таскать помои» и слыть «мерзавцем», но он «расшевелит клячу», будет делать свое дело.

И власть ему нужна не просто сама по себе. Нет ведь ни единого признака, что он ею пользовался для «личной выгоды». Другое дело, что он создан для сферы власти, как актер для сцены. Только в коридорах власти могла раскрыться эта щедро одаренная парадоксальная натура.

Единственную возможность делать дело дает власть. Но как еще можно прорваться к власти и удержать ее в своих руках, если не шантажировать, не подкупать, не расправляться с неугодными?! Это Вилли Старк понял раз и навсегда. И... пошел дальше. Свой опыт он возвел в ранг философии жизни. Он придумал теорию «вселенской грязи», которая заранее оправдывала любые его сделки. «Смешная эта штука — грязь,— сказал Хозяин.— Ведь если подумать, весь наш зеленый шарик состоит из грязи... А что такое бриллиант, как не кусок грязи, которому однажды стало жарко? А что сделал господь бог? Взял пригоршню грязи, подул на нее и сделал вас и меня, Джорджа Вашингтона и весь человеческий род, благословенный мудростью и прочими добродетелями. Так или нет?»

Итак, все есть грязь, а потому к черту радетелей чистоты. Человек творит добро и зло и сам определяет, что есть добро и что зло. Нетрудно представить себе, к чему привели бы подобные взгляды, получи они полное логическое развитие. Раз все относительно и Вилли Старк сам себе судия, то почему бы при необходимости не объявить добро злом, а зло добром и не попытаться навязать обществу силой эту удобную точку зрения. Людей Вилли Старк презирает, они для него быдло. Но «благодетель», считающий народ быдлом, неминуемо превращается в узурпатора. Он начинает с дорог, а кончить может концлагерями. Вот когда Вилли Старк стал бы диктатором любого, самого крайнего толка. Однако события в романе, нравственное развитие самого Вилли Старка неожиданно делают крутой поворот. Впрочем, мы забегаем вперед.

А пока мы остановились на том, что, несмотря на свои грязные методы, а может быть, и благодаря им, Вилли Старк по кличке Хозяин оказался «делателем», человеком дела, каким так и не смог стать Адам.

Весь роман есть в некотором роде развернутый спор между Адамом и Вилли Старком, но вот их очная ставка и букваль-

ный спор. Поскольку это кульминация важнейшей линии романа, мне хочется привести цитату пошире.

«— Да, еще одно. Постой, док,— ты знаешь Хью Милера?

— Да,— сказал Адам,— знаю.

— Ну так вот, он работал со мной... генеральным прокурором — и ушел в отставку. А знаешь почему? — И продолжал, не дожидаясь ответа:— Он ушел в отставку потому, что не хотел пачкать руки. Хотел дом строить, да не знал, что кирпичи из грязи лепят. Он был вроде того человека, который любит бифштексы, но не любит думать о бойне, потому что там нехорошие, грубые люди, на которых надо жаловаться в Общество защиты животных. Вот он и ушел... И хотел он... последней пустяковины... Знаешь какой? — Он пытливо смотрел на Адама.

— Какой? — сказал Адам после долгой паузы.

— Добра. Да, самого простого, обыкновенного добра... Ты должен сделать его, док, если хочешь его. И должен сделать его из зла. Зла. Знаешь почему, док? — Он тяжело приподнялся в старом кресле, подался вперед, уперев руки в колени и задрав плечи, и из-под волос, упавших на глаза, уставился в лицо Адаму.— Из зла,— повторил он.— Знаешь почему? Потому что его больше не из чего сделать.— И, снова развалившись в кресле, ласково повторил:— Это ты знаешь, док?

Адам молчал».

Адам молчал, потому что моральная победа Хозяина была, как говорят в классической борьбе, чистой. Циничный, неразборчивый в средствах Вилли Старк оказался выше стерильно чистого, пунктуально честного Адама.

Но почему тогда Вилли Старк все же пришел к Адаму, почему именно ему предложил руководство своей больницей? Да потому что он чувствовал, что дело его жизни — больница — требует чистых рук, а чистые руки были только у Адама. Так, значит, нужны все-таки чистые руки в этом грязнейшем из миров! Реванш Адама состоялся. Он, собственно, состоялся гораздо раньше, просто мы этого не замечали, оглушенные и, я бы сказал, оглупленные демонстративным цинизмом Вилли Старка — политика.

Да, Старк — делец, политик худшей пробы. И в этом смысле он и Крошка Дафи — близнецы, хотя Хозяин всячески помыкает Крошкой, кличет его не иначе, как вонючкой, Иудой Искариотом, заставляет ползать на животе и умываться плевками. Наблюдательный Джек Бёрден так и отметит для себя: «Странный вывих природы сделал Крошку Дафи вторым «я» Вилли Старка». Но кто в этом случае первое «я» Вилли Старка? Ответ может показаться удивительным: Адам. Тот самый Адам, ко-

торый до сих пор казался его полной, полярной противоположностью и от руки которого ему суждено погибнуть. Но Вилли Старк потому и погиб от руки Адама, что не был его полной противоположностью. У них были разные, действительно противоположные взгляды на средства достижения идеала, но оба они были людьми с идеалами. Адам Стентон не понимал этого, Вилли Старк это чувствовал.

«Ты большой человек, док, — сказал он, — и не верь, если тебя станут в этом разубеждать...» Это Вилли Старк «как бы подводит итог» тому философскому разговору с Адамом Стентоном.

А вот уже в конце романа, получив от Адама пулю в живот, он лежит на больничной койке — на смертном одре, и мучается, и не может до конца понять, почему же Адам стрелял в него.

«— Я ничего ему не сделал,— сказал он...

Он снова умолк, глаза его помутнели. Потом он сказал:

— Он был ничего. Док...

Я ждал, но казалось, что он больше не заговорит... Но глаза снова просветлели. Он сказал:

— Все могло пойти по-другому, Джек...

Он напрягся...

— Ты должен в это верить,— сказал он сипло...— Ты должен,— настаивал он.— Ты должен в это верить... Даже теперь все могло бы пойти по-другому,— прошептал он.— Если бы не это, все могло бы пойти по-другому... даже теперь».

Вилли Старк не был антиподом Адама Стентона, он был его антитезой. Антиподом был Крошка Дафи.

Странный вывих природы сделал Вилли Старка «двуличностью», не двуличным — двуликим в изначальном смысле этого слова, единым в двух лицах. В нем до поры уживались Крошка Дафи и Адам Стентон — кошмарный союз. И что еще более чудовищно, Крошка Дафи обслуживал Адама Стентона. Адам Стентон в Вилли Старке выбирал цель — построить больницу, например, лучшую в стране, «последний бедняк в штате может прийти туда и получить любое лечение задаром...». Крошка Дафи пробивал эту цель.

Но странный вывих природы не мог существовать долго. Крошка Дафи не мог не пытаться нажиться на любом, пусть самом чистом деле, а Адам Стентон не мог этого принять, потому что он понимал, что чистое дело, на котором наживаются, теряет всю свою чистоту. Такова уж природа вещей, как сказал, правда по другому поводу, Вилли Старк. Какая-то из двух сущностей в нем должна была погибнуть, чтобы другая могла без-

раздельно торжествовать. И вот уже Крошка Дафи в Вилли Старке начинает душить в нем Адама Стентона. Ему это нетрудно сделать, потому что политика, которой живет Вилли Старк, это его, Крошкина, сфера и среда.

Логика борьбы за власть не оставляет ничего святого. Чтобы перекупить одного из своих противников — Гумми Ларсона, ибо он не может всех их раздавить, Вилли Старк вынужден отдать ему подряд на строительство больницы. Дело жизни превращается в разменную монету политики, в вульгарное средство подкупа. Вилли Старк предает Адама.

Круг предательства в романе не замыкается. На наших глазах Вилли Старк делает лишь первый шаг. И тут случается непредвиденное: Вилли Старк теряет сына. Трагедия невольно проясняет зрение, отрешает от низких забот. В тяжкий час обретения истины Вилли Старк пытается освободиться от цепкой власти своего внутреннего Крошки Дафи и тем самым от противоестественной «двуличности». Он рвет контракт с Гумми Ларсоном. Развязка наступает мгновенно. В страхе остаться не у дел, Крошка Дафи (уже реальный, а не символический), сыграв на болезненном чувстве чести Адама Стентона (тоже реального, а не символического), вкладывает ему в руку пистолет (почти игрушечный, но уж абсолютно реальный) и заставляет выстрелить в Вилли Старка. В тот самый момент, когда Вилли Старк делает выбор в пользу Адама Стентона, Крошка Дафи одним выстрелом убирает со своего пути обоих. Для заурядного дельца, каким он был, операция почти гениальная...

Адам Стентон погиб в романе из-за невозможности достичь идеала чистыми средствами. Вилли Старк — потому что нарушил нравственный закон, по которому средства достижения цели не могут противоречить самой цели. Грязные средства, к которым прибегал Вилли Старк, должны были убить цель, которую он перед собой ставил. Расплатившись высочайшей ценой — потерей сына,— он попытался вернуть чистоту этой цели. И тогда они убили его самого.

И все же кто виноват? Автор дает классический для поэта ответ, великолепный и недостаточный одновременно,— «страшная негармоничность их века». Двуединая сущность идеала и дела оказалась трагически расторжена. Идеал может воплотиться только в деле. Вне дела он в лучшем случае слово, надежда, звук. Но дело, сам процесс воплощения убивает идеал. Такие времена.

Это очень грустный роман — «Вся королевская рать». В нем почти все герои, близкие автору, погибают. Лишь женщин щадит писатель — он южанин и джентльмен и придерживается

той, в общем-то, здравой точки зрения, что дела на этой земле должны делать мужчины, а женская доля и долг — помогать им, любить, служить тылом. Погибать — это тоже работа мужчин.

И вот они все погибают. Зато здравствуют Крошка Дафи, Гумми Ларсон...

Автор заранее предсказал этот финал. В истории-притче о Кассе Мастерне погибает Касс, а его брат и антипод Гилберт остается жить. Он живет до «94 или 95 лет» — целый век, переживает три исторические эпохи и в каждой из них процветает. Он делец, а дельцы в Америке вечны. Позиция дельца нравственно безупречна: он просто лишен нравственности. Если делец обанкротится, это говорит о том, что он плохой делец, а не о том, что быть дельцом плохо. Плохо быть человеком с совестью, честью, идеалами.

Правда, для Джека Бёрдена — «я» романа, от имени которого ведется повествование,— все кончается идиллическим хэппи-эндом. Он женится на Анне, которую любил всю жизнь, и уезжает. Но это странная и страшная идиллия: хэппи-энд посреди трупов. Выжившим остается уйти. Куда? Неизвестно. Выхода нет. Этот бездушный мир принадлежит дельцам, в нем нет места для человека.

Это очень грустный и все-таки удивительно светлый роман. Симпатии автора безусловны. Для дельцов типа Крошки Дафи, Гумми Ларсона у него есть только одно чувство — брезгливость и одна краска — убийственная сатира. Но, увы, в жизни убивает не сатира и не литературный гнев... Человеку в этом бездушном мире Роберт Пенн Уоррен предложить не может ничего, кроме страданий, мучений, может быть, смерти. И все же он призывает каждого: будь человеком! Поверьте, это единственно достойный выход.

Гуманизм ничего бы не стоил, если бы за него не приходилось платить порой самой высокой ценой.

В ПОИСКАХ ТАЙНЫ ИМЕНИ

Но почему «Вся королевская рать»? Что означает само название романа? Совершенно очевидно, что в нем какой-то смысл, символ, намек. Только какой?

Лучше всех на этот вопрос мог бы ответить автор. Во время своей американской командировки я попытался встретиться с Робертом Пенном Уорреном. Он читал лекции в Йельском университете, что неподалеку от Нью-Йорка. Увы, меня ждало разочарование. Встретил меня лишь профессионально любез-

ный и обстоятельный «public relations' man» — один из тех, кто отвечает за внешние связи этого старейшего колледжа.

Мне было сообщено, что мистер Уоррен получил академический отпуск и находится сейчас в Европе. Увы...

После автора следующим «по рангу» авторитетом, наверное, является переводчик. К слову сказать, блистательный, точный и в букве и по духу перевод Виктора Голышева — одна из причин, почему роман этот сразу же после выхода на русском языке стал столь заметным явлением в нашей духовной жизни. Одному москвичу дозвониться до другого не составляет труда.

— Да нет, конечно же, это не просто так,— был ответ.— Уоррен — писатель образованный. Сложные литературные, библейские и прочие ассоциации в его духе и вообще в духе южной ветви американской литературы, а Уоррен к тому же еще и изысканный поэт. Вряд ли можно дать однозначный ответ, скорее всего, их больше чем один. Но есть след очевидный. Он ведет к «Алисе» Льюиса Кэрролла...

Итак , «Сквозь зеркало»...

Помните считалочку про Хампти-Дампти, или Шалтая-Болтая, как его окрестил по-русски Самуил Маршак? Вот эти строки:

Шалтай-Болтай сидел на стене.
Шалтай-Болтай свалился во сне.
Вся королевская конница, вся королевская рать
Не может Шалтая,
Не может Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!

Тяжелый случай. Впрочем, не только для бедолаги Шалтая-Болтая, выбравшего столь неудачное место для сна... Строки были явно те, на этот счет сомнений не оставалось, но искомый смысл ускользал. Детская считалочка оказалась не так проста.

Правда, заглянув в послесловие к отдельному изданию романа, я увидел, что в нем все замечательно объяснено: «Образ спящего и «разбивающегося» на куски Шалтая-Болтая проходит через весь роман. Это и Вилли Старк, который утратил природную цельность, став губернатором, и Джек Бёрден, другой герой романа, тоже раздираемый противоречиями, да и все современное антагонистическое общество». Шалтай-Болтай — это все современное антагонистическое общество. Исчерпывающий ответ, ничего не скажешь. И все же...

Английский текст тоже не принес ясности. Перевод был корректен. Пожалуй, только имена оставляли какую-то надежду. Прежде всего строка, давшая название роману: «All the

King's Men» — буквально это «Все люди короля»... Шалтай-Болтай (Humpty-Dumpty) звучит прекрасно, но все-таки, что означает Хампти-Дампти? Не будем задавать наивных вопросов, подобно маленькой Алисе: «Разве имя должно что-то значить?» Ибо помните ведь, что ответил ей Шалтай: «Конечно... Возьмем, к примеру, мое имя: оно выражает мою суть! Замечательную и чудесную суть!» (При этом Шалтай фыркнул, отмечает то ли Алиса, то ли автор.)

Насчет замечательной и чудесной действительно можно поспорить, но Хампти-Дампти означает просто коротышка, горбун. Это если прибегнуть не к поэзии, а к словарю. Впрочем, можно прибегнуть и к поэзии:

Меня природа лживая согнула
И обделила красотой и ростом.
Уродлив, исковеркан и до срока
Я послан в мир живой; я недоделан,—
Такой убогий и хромой, что псы,
Когда пред ними ковыляю, лают.
(Перевела Анна Радлова.)

По шекспировской драме таков автопортрет Ричарда, герцога Глостера, а позже короля Ричарда III. Но описание это, между прочим, можно считать и портретом Хампти-Дампти, ибо историческая молва связывает песенку про Хампти-Дампти с Ричардом III. (Не в этом ли признается сам Шалтай Льюиса Кэрролла, когда говорит Алисе, что про него «могли написать» в одной книжке, а именно в «Истории Англии»?..)

Ричард III — фигура примечательная не только из-за горба, особенно в трактовке Шекспира, а для романтика Уоррена, наверное, шекспировский образ более реален, чем само историческое лицо. Урод был еще и чудовищем.

Чем в этот мирный и тщедушный век
Мне наслаждаться? Разве что глядеть
На тень мою, что солнце удлиняет,
Да толковать мне о своем уродстве?
Раз не дано любовными речами
Мне занимать болтливый пышный век,
Решился стать я подлецом...

Прервем на этом классическую цитату и перескажем дальнейшее своими словами.

Решимость стать подлецом, конечно, не самоцель, это средство. У цели было другое имя — корона, власть. И Ричард стремится к ней любой ценой — предательства, подлости, братоубийства. Добивается своего и... оказывается сокрушенным.

...тиран кровавый и убийца,
В крови поднявшийся, в крови живущий,
Не разбиравший средств, ведущих к цели...

Чего больше в последней строке — прозаизма или прозрения? «Не разбиравший средств, ведущих к цели...» Символический фон проясняется. История вознесения и падения Хампти-Дампти — коротышки и горбуна Ричарда III,— пожалуй, ближе подводит нас к ответу.

И все же это еще часть ответа. Другая его часть таилась не в литературе, а в жизни. И нашлась она тогда, когда я не ждал и даже, казалось, не искал ответа.

Это было в Новом Орлеане. Я делал то, что делает каждый журналист, оказываясь в новом месте, особенно если командировка его проходит под знаком «вольной охоты». Я шел по следу.

Новый Орлеан — это порт, второй в стране. Отсюда отправляется многое из того, что родит изобильная земля по обе стороны от царственной Миссисипи или что сработано на предприятиях срединной Америки, а это, худо-бедно, полстраны. И он же главные врата, через которые на американский рынок поступает сырье и товары из Латинской Америки и других районов земного шара. Но сейчас меня не очень увлекали экспортно-импортные грузопотоки — вся эта прорва железа и стали, химикалий и текстиля, хлопка и зерна, нефтепродуктов и молока и то, что поспешает им навстречу: нефть и бананы, животное и растительное масло, сахар и краски... След, который я взял, был, скорее, эфемерен — из области преданий и настроений.

В стране, обделенной историей, Новый Орлеан едва ли не единственный может претендовать на своеобразную уникальность. Конечно, в большей своей части город мало чем отличается от рядовых своих собратьев — то же не без унылости торжество бетона, железа, стекла. Но есть здесь уголок нетрадиционный, на этой земле ни на что не похожий. Архитектурно Французский квартал — скорее, сколок с матушки-Европы, малый и тем более милый. Дома сюда, кажется, переселились прямо из испанской или французской провинции — дворики, портики, анфилады, кружевные чугунные решетки, не очень функциональные, но весьма симпатичные. Улицы же носят не номера, но имена: Тулузская, Бургундская, Дофинская, Бурбонская... Правда, аромат французской истории забивают сочные запахи французской, креольской, латиноамериканской кухни и виски «бурбон», да и цвета Бурбон-стрит определяют не белые королевские линии — красные фонари. Профессия Французского

квартала — «клубничка», по этой части он неплохо оборудован. Днем Бурбон-стрит — улица как улица. С наступлением темноты она превращается в сплошную ярмарку голого тела, «нон-стоп шоу», непрерывную демонстрацию секса, по сравнению с которой даже европейский стриптиз представляется чем-то почти целомудренным, вроде бала без маскарада.

История освоения Луизианы изобиловала разного масштаба драмами и драками. Прозванная в честь Людовика XIV, она сначала принадлежала французам, позже перешла к испанцам, потом снова вернулась к французам, чтобы в конечном счете за 15 миллионов долларов быть проданной Соединенным Штатам. Есть что вспомнить. Но почему-то ныне из луизианской летописи чаще всего извлекают один весьма фривольный факт.

Вскоре после основания Нового Орлеана в 1718 году «отец Луизианы» французский аристократ и колонизатор Бьенвиль получил с матери-родины партию в несколько сот колонистов, львиную долю которых составляли ссыльные каторжане-уголовники. А еще через несколько лет сюда был выписан пароход девиц легкого поведения — надо же было беднякам переселенцам обзаводиться потомством и строить надежный фундамент будущей добропорядочной жизни... Уж не проклятие ли первородного греха висит над этим городом?

Двести лет назад решением отцов города в Новом Орлеане количество таверн, где подавали «путешественникам, больным, мореплавателям и коренным жителям», было ограничено цифрой шесть. В девять вечера под страхом страшной кары вплоть до конфискации имущества все кабатчики должны были закрывать свои питейные заведения. Сейчас в официальном путеводителе по городу значится 1300 баров. Большая их часть сосредоточена во Французском квартале.

Так для чего же нужна история? Практичные американцы лишены предрассудков, порождаемых возрастом. Своеобразная архитектура, исторические реминисценции Французского квартала — чем не задник для всеамериканского секс-шоу?

Я шел по следу новоорлеанских традиций, и он неминуемо должен был вывести меня к джазу. Здесь он родился. Отсюда вышел. Но и остался тоже. Джаз развивался, его противоречивые и всегда полные удивительной жизненной силы побеги захватывали в свой полон все новые территории и поколения... В колыбели же он оставался по преимуществу таким, каким был когда-то.

Жить прошлым или будущим? Сохранять традиции или развивать их? Дилемма для «колыбелей» обычная. Трагедия в том,

что само положение вроде бы обязывает принять сторону консервативную, ибо где, в конце концов, если не у истоков, «беречь в нетленной чистоте для потомков» новорожденное... Дав имя первому направлению в джазе, Новый Орлеан его канонизировал. Из лаборатории джаза он превращается в музей. Впрочем, что плохого в музее?

Путь мой лежал в Презервейшн-холл (Зал сохранности, если по-русски).

Свято место это любопытно уже начиная со входа. Естественный интерес публики, в особенности туристов, к началам джаза облекается здесь в форму обязательной и недорогой благотворительности. Билетов в зал нет, но бросить в шапку сидящего у входа контролера доллар должен каждый входящий. Вроде и невелика разница, но простейшая операция приобретения билета сразу же обращается жертвованием на алтарь искусства.

Пожертвовав доллар на процветание диксиленда, я вошел внутрь и огляделся. Зал сохранности очень мало напоминал зал, да и дела с сохранностью обстояли не так уж хорошо. Это была просто большая и довольно обшарпанная комната. Пучок света от сильной лампы падал на сцену сбоку. Несколько грубо сколоченных скамей да портреты на стенах — вот и вся утварь. Портреты известных джазовых музыкантов прошлого были выполнены в сугубо реалистической манере, на них были изображены в основном худые, изможденные люди.

Оркестр на сцене вполне традиционный. Труба — старый, с седым ежиком волос негр в красном галстуке и белых носках. Банджо — левша. Тромбон — некогда красивый мулат или метис с чертами лица латинского типа. Пожилой ударник. И в довершение всего лихая, почти пародийная старушка («Она старше самого Луи»,— шепнул мне сосед по скамье) за фортепьяно. Единственная белая, к слову сказать. Про себя я ее сразу окрестил Красной Шапочкой, видимо потому, что меньше всего она напоминала сказочную скромницу. Отчаянно красным платьем в горошек и пурпурной шляпкой, а главное, порывистыми, какими-то дробными движениями она, скорее, вызывала в памяти мультипликационную старуху Шапокляк.

Оркестр играл всё известные вещи — «Чаттанугу», «Когда маршируют святые», «На берегу реки»... Играл хорошо, пожалуй, лишь чуть суховато. Впрочем, чего было ждать от пятерки людей далеко не первой молодости.

Я даже не заметил, как наступил перелом. В поведении музыкантов что-то неуловимо переменилось, в музыке зазвучал смех. Казалось, джазмены заиграли для себя. Нет, не заиграли,

а как бы завели друг с другом вольный разговор с подначками и подковырками. Вот банджо бросило несколько шутливых фраз трубе. Будучи джентльменом, труба спела что-то архигалантное в адрес фортепьяно и в тот же миг была осмеяна тромбоном. Тромбон выкинул что-то совсем неприличное, потому что весь оркестр поперхнулся от смеха, а ударник удовлетворенно покачал головой: мол, ох и дали же вы, ребята... После чего труба достала из-под себя каскетку, больше похожую на миску, и, водрузив на голову, начала вроде бы собирать свои причиндалы. Впрочем, тут же выяснилось, что уходить она никуда не собиралась. Напротив, для трубы наступил звездный миг — сольная партия, и труба справилась с ней с блеском и темпераментом, которого трудно было ожидать от бирюковатого старика, каким он был до и снова стал после своего мгновения.

Вот когда началась игра. Пришедшее вдохновение требовало самовыражения, и инструменты заспорили, каждый претендуя на соло. И каждый получил свой шанс. И из вдохновенного этого спора, из индивидуальных импровизаций родилась классическая джазовая гармония.

Но последнее слово осталось за Красной Шапочкой. Когда наступил ее черед, она вдруг обернулась к публике и запела. Красная Шапочка пела, но звука ее голоса не было слышно, хотя все остальные инструменты сразу же утишились,— голоса у нее уже не было. Ее не было слышно, но она пела — это было в и д н о! Видно по отчаянным движениям ярко, не по возрасту накрашенных губ, по тому, как она лихо притопывает ножкой и вся приплясывает на своем крутящемся стуле в такт. Видно! Зрелище это, наверное, могло вызвать смех, но почему-то вызывало слезы. И когда зал увидел, что она кончила петь, то разразился такими аплодисментами, какими не удостаивал никого из ее партнеров. Возраст есть возраст, с ним ничего не поделаешь, но она была звездой джаза и осталась ею — пусть в этом джазе стариков и теней, и зал аплодировал ей за дерзкую верность призванию и себе.

...Историю джаза, его святыни и довольно богатую фонотеку, записи из которой можно тут же на месте прослушать, хранит музей джаза, организованный в 1961 году джазовым клубом Нового Орлеана.

Джаз не был ни чистопородным, ни даже законнорожденным ребенком. Он был порождением новоорлеанской улицы, где счастливо повстречались африканские ритмы и медь европейского духового оркестра. На генеалогическом древе, что изображено в музее, корни джаза извилисты: фанфарная музыка, бал-

лады, религиозные песнопения, рэгтайм, песни креолов, трудовые песни, блюзы, африканская музыка... Если не считать струи блюзовой и спиричуалз, не был джаз и сколько-нибудь респектабельной или хотя бы приличной музой. Совсем наоборот. Его породила вольная стихия многонационального, многорасового, разнокультурного Нового Орлеана, апофеозом которой служит знаменитый «Mardi gras» («жирный вторник») — карнавал-хэппенинг, маскарадное исступление. Другого такого «жирного вторника» нет в Штатах нигде.

Но это еще цветочки. Долгое время полигоном джаза, во всяком случае прибежищем для джазменов, обеспечивающим приют и пропитание, был Сторивиль, а это район специфический. Здесь была столица «веселого бизнеса» и поселение новоорлеанских дев. Нет, проституция не узаконивалась, упаси господь, но она легализовалась весьма своеобразным и характерным для нравов Нового Орлеана документом. Короткая выдержка поможет представить его стиль и смысл: «Да будет постановлено городским советом Нового Орлеана, что раздел первый Уложения 13032-С, во всем прочем сохраняемого в полной силе и неизменности, данным актом поправляется следующим образом: впредь, начиная с 1 октября 1897 года, объявляется незаконным для любой проститутки или женщины, известной отъявленным распутством, занимать, обретаться или ночевать в любом доме, комнате или чулане, размещаемом вне следующих пределов...» Далее назывались границы Сторивиля (названного так в честь хитроумного автора поправки — городского старшины Сиднея Стори). В основном они включали в себя лучшую часть Французского квартала. Так же строго указывалась зона, за пределами которой объявлялись вне закона «кабаре и танцы типа канкана». Как видите, «веселый бизнес» в Сторивиле не разрешался, просто он запрещался в остальной черте города. Трудно не восхититься мудростью и целомудренностью городских голов. Полиция и политики (или, как их называют на местном жаргоне, политические «мальчики») считали своим долгом стоять на страже священной привилегии Сторивиля.

Нет, не был джаз приличной музой, что не мешало ему стать единственным исконно американским искусством. Со своими гениями и божествами, вернее, королями. Королевской клички Кинга за все время царствия джаза на американской земле удостоились немногие. Бадди Болден, Фредди Кеппард, Джо Кинг Оливер...— самые первые короли, избранные из избранных. Останки их былой славы — музыкальные скипетры и державы — выставлены в музее джаза... Ну и, конечно, король королей, кумир Нового Орлеана, несравненный Сатчмо —

Луи Армстронг, официально объявленный «бессмертным в джазе».

Экспозиция, посвященная Сатчмо, самая большая в музее, и начинается она с тех давних времен на заре века, когда не был он ни бессмертным, ни великим, а был просто сыном одной из тех женщин, которым, по известному уложению, не разрешалось обретаться вне пределов Сторивиля,— маленьким черным мальчишкой, предоставленным самому себе и улице. И он воспринял уроки улицы сполна, но, к счастью для паренька, обладавшего задорным голосом (тенорком, между прочим), среди этих уроков были и уроки музыки. На стенде музея первая труба, на которой Луи учился играть. А вот первая труба, принадлежавшая лично Луи,— подарок капитана Джозефа Джоунса, начальника исправительной колонии для цветных подростков, где будущий бессмертный исправлял огрехи уличного воспитания. Тут же бесчисленные трофеи, завоеванные Луи Армстронгом за годы его триумфальной карьеры,— мировое признание того, что капитан Джозеф Джоунс, к счастью, оказался человеком с верным чутьем и хорошим слухом. Спасибо и на этом.

Мир в музее, разместившемся в подвальном помещении отеля «Роял Сонеста», что на углу Бурбон- и Конти-стрит, был тих и покоен. Ни один посторонний звук не проникал сюда. От стенда к стенду одна лишь музыка и никакой политики — что может быть лучше... И в этой благостной тишине я вдруг почувствовал, как гончая, которая есть в каждом журналисте, даже если ему не очень приятно признаваться в этом, встрепенулась. За витриной я увидел лист бумаги, испещренный нотными знаками, со следующими словами, которые прозвучали для меня слаще любой музыки: «Каждый человек — король» («Every man a king»), популярная песенка. Слова и музыка Хью П. Лонга и Кастро Карразо». И тогда я понял, что мои бесцельные блуждания по Новому Орлеану не были так уж бесцельны. Что, сам не отдавая себе в этом отчета, я все время искал. Лихорадочно искал жизненные следы, которые привели бы к тайне названия романа Уоррена: ведь Луизиана и была той почвой, на которой развивались события романа. Что невольно мое пребывание в Новом Орлеане, все встречи и наблюдения оказались окрашены в тона «Всей королевской рати». Что атмосфера города и романа переплелись, перемешались во мне, наполнив друг друга дополнительным смыслом.

Внутренне уже поверив в успех, но из суеверия все еще не желая окончательно в этом признаться, я подошел к единственной смотрительнице музея и спросил, что это за «популярная

песенка» и почему у ее автора те же имя и фамилия, что и у бывшего губернатора Луизианы Хью Лонга.

— Да это он и есть,—любезно ответила женщина,— самый известный наш политический деятель. Он сочинил слова песни, а его друг музыкант Карразо положил их на музыку. Эту песню всегда исполняли на митингах, которые устраивал Хью Лонг. Здесь в Луизиане ее знают все. Кстати, она у него не единственная.

(Позже я обнаружил воспоминания Кастро Карразо о том, как у них с его именитым соавтором протекал творческий процесс. В один прекрасный день в самый разгар предвыборной кампании, вспоминает Карразо, Хью Лонг позвонил из Батон-Ружа, столицы штата. «Приезжай немедленно,— сказал он,— дело неотложное, у меня есть слова, позарез нужна мелодия». Через день Карразо был уже в Батон-Руже, а через два «Каждый человек — король», песня, ставшая гимном Хью Лонга, начала свое победное шествие по всему штату.)

Вот подстрочный перевод этой песенки, впрочем, и в оригинале вирши не отличаются особой изысканностью рифмы или размера. Так сказать, безразмерные вирши.

Не спи, Америка, не унывай,
Земля правдивых и смелых.
Крова и хлеба хватит на всех.
Ведь всему хозяева — вы.

В солнечном июне или в декабре,
Осенью или весной
Будет вечный мир на земле,
Сосед соседу друг,
И каждый человек — король.

Припев:
Каждый человек — король,
Каждый человек — король,
И будь ты даже миллионер,
Другие не должны остаться без доли.
Богатства хватит на всех.

Итак, «All the King's Men» — «Все люди короля» («Вся королевская рать») против «Every man a king» — «Каждый человек — король». Алисина строчка, сама по себе таинственно-многозначная, была еще и формулой-оборотнем, перевертышем по отношению к девизу политика, послужившего прототипом для главного героя романа. Вот вам еще одно доказательство того, что Вилли Старк не совсем Хью Лонг, а в чем-то самом существенном для романиста совсем не Хью Лонг.

А общего у них действительно много — у Вилли Старка

и Хью Лонга, обманчиво много. Факты, даты, вся внешняя жизненная канва — от начала и до конца, вплоть до пули молодого врача, которая поставила точку беспредельным амбициям Лонга. Чтобы убедиться в этом, давайте перелистаем вместе автобиографию Хью Лонга. Кстати, она так и называется: «Каждый человек — король».

ВИЛЛИ СТАРК ПРОТИВ ХЬЮ ЛОНГА

Подобно «дяде Вилли», Хью Лонг был тоже из деревни. Но «голодранцем», «вахлаком» или «мякинной головой» он не был, хотя не упускал случая козырнуть своим «простонародным» происхождением: в то время, да и не только в то, это было выгодно для политической карьеры. Впрочем, богатой его семья не была, скорее, зажиточной. Чтобы получить юридическое образование, Лонг был вынужден на некоторое время податься в коммивояжеры: ходил по домам, собирал заказы на разные товары, а заодно продавал поваренные книги и рекламы ради устраивал соревнования среди домохозяек — кто лучше испечет пирог. Учился он тоже сам — не в университете, а дома, корпя над учебниками по шестнадцать и больше часов в день. Зато когда ему стукнул двадцать один год, штат Луизиана получил испеченного по всей форме юриста.

Первое самостоятельное дело Хью Лонга, строго говоря, не имеет прямого отношения к развитию его политической карьеры или к логике нашего повествования, но было оно настолько колоритно, что, кажется, сошло прямо со страниц южного романа.

В родном городишке Хью Лонга Уинфилде, где он приступил к своим новым обязанностям, проживал некто Коул Джонсон, бездельник и игрок. Впрочем, таким он был при жизни, смерть же все исправляет, ибо «о мертвых — хорошо либо ничего». Только угораздило Коула Джонсона почить в бозе не дома, а в благотворительной больнице, откуда деревенские родичи усопшего и попросили доставить им тело для устройства приличных похорон. Но поскольку жили они милях в шестнадцати, а дороги в город были плохие, то сделали это не прямо, а позвонили Оскару К. Аллену, в чьей лавке покойный имел обыкновение покупать все необходимое, и попросили его передать их просьбу администрации больницы. Что тот и сделал.

Наутро хорошо запакованный труп был доставлен в лавку, а оттуда, как всякий заказной товар, доставлен к месту назначения. Родичи исправно оплакивали тело до четырех утра, пока какой-то светлой голове не пришла идея заглянуть под покры-

вало. О ужас, взглядам плакальщиков открылась фигура джентльмена, очень мало похожего на несчастного Коула Джонсона и к тому же абсолютно чернокожего.

Когда первый шок прошел, плакальщики гурьбой отправились к адвокату.

— Адвокат,— сказали они,— что нам делать, чтобы защитить свои права?

— Что вы хотите?

— Получить тело и возмещение убытков.

— Тело вы получите, но вот убытки... С кого вы их хотите взыскать?

— Не важно с кого... Хоть с больницы.

Выяснилось, однако, что судиться с благотворительными заведениями бессмысленно, ибо закон оберегает пожертвования от иска.

— Как так!— возмутились бывшие плакальщики.— Шестнадцать миль туда да шестнадцать обратно переть этого цветного под видом нашего незабвенного дядюшки Коула, до четырех утра мы сидели с ним, а вы говорите, что нам ни копья за это не причитается?

— Только не с больницы.

— Пусть тогда платит Оскар Аллен. Кто-то же должен заплатить за то, что мы всю ночь просидели над цветным...

Первый юридический совет, который дал Хью Лонг, был, однако, не оскорбленным в лучших чувствах плакальщикам, а Оскару Аллену: пока суд да дело, скрыться от греха подальше «на рыбалку». Весьма предусмотрительно со стороны молодого законника. Оскар Аллен был его приятелем и, как выяснится, останется таким до гробовой доски — на этот раз до гробовой доски Хью Лонга. В будущей камарилье Лонга ему будет суждена заметная роль — ближайшего помощника и первого заместителя губернатора, он займет и губернаторское кресло, когда самодержец Лонг сочтет, что «штат уже можно передать в достойные руки», ибо пора переселиться в Вашингтон, в сенат, чтобы начать более крупную игру. Что-то среднее между Джеком Бёрденом и Крошкой Дафи — вот чем станет Оскар Аллен по своим обязанностям.

Впрочем, в то время до трона было еще далеко. Пока Лонг пробует силы на юридическом поприще. Он выигрывает несколько процессов против корпораций. Это было непросто и требовало всей изворотливости и напора, всей силы его характера, но прибыль, которую он получил, измерялась не одними деньгами. Он обрел образ защитника маленького человека от произвола больших компаний — бесценный капитал для политичес-

кого карьериста. Ставя на колени сильного противника, он показывал свою силу. И может быть, самое главное он понял: большие компании зажирели и могут быть ленивы и нерасторопны, ибо развращены абсолютной властью, их можно доить, если подойти к делу с умом.

На общеамериканском фоне Луизиана в то время была довольно отсталым штатом, и нефтяные, газовые, пароходные монополии привыкли вести себя здесь подобно феодальным сюзеренам. Наступила пора ограничить их произвол, ввести его в обычные капиталистические рамки вроде тех, что существовали в других штатах. Рано или поздно это должно было случиться.

Впрочем, сейчас, с высоты времени, обладая полным знанием того, что было и как было, легко и необременительно давать умные, правильные пояснения. Тогда же нужно было действовать, и никто не собирался списывать личные убытки на счет исторического императива... Можно ли, однако, считать, что Хью Лонг действовал, ибо сразу осознал объективную потребность штата? Вряд ли. На этом этапе он, скорее, учуял золотую жилу, которую будет потом разрабатывать всю жизнь. Очень скоро он занял пост главы железнодорожной комиссии — во всем арсенале политических средств штата, пожалуй, не было лучшего инструмента давления на корпорации. Пост этот стал трамплином, стартовой площадкой.

Ну а как насчет первых разочарований в политике и от политики, холодного, отрезвляющего душа откровений, приводящих к мучительной переоценке ценностей? Помните ведь историю Вилли Старка?

Были они и у Хью Лонга. Он вспоминает: «Однажды (еще в адвокатскую бытность), когда я внес поправку к законопроекту на обсуждение одной из комиссий, председательствующий спросил меня:

— Кого ты представляешь?

— Несколько тысяч простых тружеников,— ответил я.

— Они тебе что-нибудь платят?

— Нет,— ответил я.

— Кажется, они соображают, что делают.

Присутствующие довольно заржали...»

Тем все и кончилось. На этот раз. Да, разочарования были. Но это были разочарования от собственной слабости, неумелости, неповоротливости в «коридорах власти», как мы бы сказали сегодня. И порождали они не столько презрение и ненависть к «старому новоорлеанскому аппарату», в руках которого сосредоточивалось все и вся, сколько честолюбивое до зуда же-

лание прорваться, стать своим, занять «достойное», то есть верховодящее, место в нем.

Что ж, стремление по-своему титаническое. И вот что удивительно: Лонг добился своего. Он выдвинул свою кандидатуру в губернаторы и со второй попытки оседлал местный Капитолий.

В чем состоит искусство политика? Возможно, в том, чтобы уметь предугадывать замыслы противника и каждый раз обгонять его по крайней мере на один ход.

Хью Лонг научился проделывать это великолепно. Вся пресса против него — он открывает собственную газету «Луизианский прогресс» (когда он переберется в Вашингтон, она станет уже «Американским прогрессом»). Противник окопался в Новом Орлеане, оттуда он ведет по губернатору ожесточенный огонь, а Лонг из своей резиденции в Батон-Руже может лишь огрызаться? Не тут-то было. Лонг грузит губернаторские пожитки па машину и эдаким «правительством на колесах» мчит в Новый Орлеан, чтобы дать бой врагу в его логове. В 1930 году Хью Лонг добивается избрания в сенат США, но как оставить штат, когда законный наследник исполнительной власти вице-губернатор Сир вышел из повиновения, начал строить собственные планы! И Лонг, напротив, остается в Батон-Руже. Отныне он именует себя «губернатором, которого избрали сенатором США». Но Сир тоже не лыком шит. Раз штат избрал Лонга сенатором США, то губернатором он быть перестает, не без основания утверждает Сир. А коль скоро пост губернатора оказался вакантным, по конституции его должен занять вице-губернатор, то есть он, Сир. Воспользовавшись непродолжительной отлучкой Лонга, он официально принимает клятву в качестве нового губернатора штата. И тут же получает удар в солнечное сплетение. Лонг отдает приказ арестовать «узурпатора» и «клятвопреступника», как только тот посмеет объявиться в стенах официальной резиденции. Одновременно объявляет свой декрет: поскольку Сир освободил пост вице-губернатора, на этот пост назначается председатель сената штата — сторонник Лонга, естественно. Остальное уже было делом техники.

Вот так-то.

Впрочем, это было позже. Главное испытание поджидало Лонга в самом начале его срока.

Губернаторское положение было хуже некуда, поскольку абсолютное большинство в законодательном собрании штата принадлежало его противникам. Уверенные в своих силах, они попытались провести операцию «импичмент» (после уотергейтского дела вряд ли нужно объяснять, что это своеобразный спо-

соб отлучения должностного лица посредством вотума недоверия). В ответ припертый к степе Хью Лонг применил прием, известный не только в луизианской истории под названием «round robin», что на деле означает «круговая порука»: в былые времена, направляя правителю петицию или требование, недовольные ставили свои подписи кружком, чтобы нельзя было определить, кто из них зачинщик. Чтобы «импичмент» стал реальностью, противникам Хью Лонга нужно было собрать две трети из тридцати девяти сенаторских голосов. Чтобы блокировать «импичмент», Хью Лонгу требовалось минимум четырнадцать голосов. И он добыл свой минимум в виде подписей под заранее заготовленным документом, смысл которого сводился к тому, что данные законодатели обязуются при любых условиях голосовать против «импичмента» и призывают уважаемое собрание разойтись немедленно во избежание пустой траты времени и денег. Как удалось Хью Лонгу сколотить этот круг? В какой дозировке шли увещевания, посулы, выкручивание рук? Автор автобиографии сдержан на этот счет, хотя и упоминает о рейдах к «нужным людям», о тайных встречах и долгих, за полночь, урезониваниях. Но тут уж мы можем смело обратиться к соответствующим страницам романа, не опасаясь сгустить краски.

«...Бывало и так: Хозяин сидит в машине с потушенными огнями, в переулке, возле дома, поздно за полночь. Или за городом, у ворот. Хозяин наклоняется к Рафинаду или к одному из приятелей Рафинада, Большому Гарису или Элу Перкинсу, и говорит, тихо и быстро: «Вели ему выйти. Я знаю, что он дома. Скажи, пусть лучше выйдет и поговорит со мной. А не захочет — скажи, что ты друг Эллы Лу. Тогда он зашевелится». Или: «Спроси его, слыхал ли он о Проныре Уилсоне». Или что-нибудь в этом роде. И вскоре выходил человек в пижамной куртке, заправленной в брюки, дрожащий, с лицом, белеющим в темноте, как мел.

И еще: Хозяин сидит в прокуренной комнате, на полу возле него — кофейник или бутылка; он говорит: «Впусти гада. Впусти».

И когда гада впускают, Хозяин не торопясь оглядывает его с головы до ног и произносит: «Это твой последний шанс». Он произносит это спокойно и веско. Потом он внезапно наклоняется вперед и добавляет, уже не сдерживаясь: «Сволочь ты такая, знаешь, что я могу с тобой сделать?»

И он правда мог. У него были средства».

У Хью Лонга тоже были средства. И все же, если бы он ограничился только шантажом и подкупом, его действия были

бы вполне традиционны, они остались бы в рамках парламентской возни. Но он резко раздвинул сами рамки. Правила игры были не в его пользу, и тогда он навязал игре свои правила. Хью Лонг вывел на улицу толпу. Он, раз уж пошла в ход новейшая терминология, открыл «огонь по штабам», развязал в штате «культурную революцию». Впрочем, в романе это прекрасно описано.

«Импичмент» не прошел.

Хью Лонг не просто умел считать варианты быстрее, чем его противники. Он был гениальным игроком. В чем-то он предвосхитил современные методы ведения политической борьбы в Америке. Опыт продажи поваренных книг и организации соревнований среди домохозяек он возвел в ранг политического искусства.

На заре агитационной деятельности Лонг заметил, что объявления, развешанные на уровне человеческого роста, быстро исчезают. Тогда он начал подруливать на машине по возможности вплотную к деревьям и, забравшись на крышу автомобиля, молотком с длинной рукояткой приколачивал свои плакаты на недосягаемой для рук высоте. Не торопитесь улыбаться наивности сего открытия, все-таки это были 20-е годы. Первым в Луизиане Хью Лонг начал проводить свои кампании в автомобиле. Первым в Америке он установил на своей машине громкоговоритель.

Даже грудные дети на митингах, проводимых Хью Лонгом, не пищали, во всяком случае пищали меньше, чем на других собраниях,— за этим следили люди Лонга, вооруженные сосками. Техника любой кампании продумывалась до мелочей. Вплоть до пустышек.

Не очень, в сущности, образованный человек, Хью Лонг сразу оценил значение письменного слова и наводнил штат своими листовками. Тексты чаще всего писал он сам. Подсчитано, что за период с 1928 по 1935 год в Луизиане было распространено 26 миллионов лонговских агиток (в среднем по 1500 слов каждая), хлестких и одновременно наполненных разного рода статистикой и разъяснениями.

Вот и песенка, с которой началось наше знакомство с Лонгом, не была пустой блажью. Сначала он придумал девиз: «Каждый человек король, но никто не носит короны»; потом укоротил его до «Каждый человек — король», ибо девиз должен быть коротким и хлестким. Потом появилась песенка-гимн, с гимном сподручней продавать себя и идеи развесившей уши публике. Теперь это все азы, но Лонг изобретал их сам.

А песенка эта, коль скоро зашла о ней речь, тоже не так

проста, как может показаться иа первый взгляд. Простота, даже примитивность ее рассчитанные — ведь адресовалась она миллионам: фермерам, рабочим, торговцам. Простому люду, одним словом. И в этом смысле она любопытный документ своей эпохи. Видио, на что делал ставку одии из самых ловких политиков америкаиской сцены, иа каких струнах человеческой души ои играл.

Каждый человек — король,
Каждый человек — король,
И будь ты даже миллионер,
Другие не должны остаться без доли.
Богатства хватит иа всех.

Иидивидуализм, стремлеиие выбиться «в люди», обрести свою «долю», падежда иа то, что земля Америки для этого почва благодатиая,— словом, комплекс мелкобуржуазного оптимизма или, лучше сказать, мелкобуржуазиых иллюзий, столь типичиых для Америки иачала века,— вот что слышится в песенке-простушке. Популистский посул был безотказным орудием Лонга. Недаром свою карьеру в сенате США ои иачал с выдвижения блистательио демагогической программы «раздела богатства».

Помогло ли ему врождеииое чутье или опыт, но Лоиг ясней других поиимал, иа каких двух китах зиждется американская демократия. На умении манипулировать избирательской массой — чтобы «толпа ревела» каждый раз, когда лидеру это иужно... И на железиой оргаиизации. Именио такую ои и создал — жесткую, безотказно эффективиую. До иего оргаиизация демократической партии в штате была примитивно, провинциально авторитариа. Партийными боссами иа местах автоматически стаиовились шерифы, что превращало их в полуфеодальных бароиов. «Банда» шерифов по уговору со «старыми иовоорлеаиескими аппаратчиками» определяла, кому быть губериатором штата. Лонг поломал эту систему. В округах ои ввел «плюралистскую» модель организации. Уже ие один шериф, а иесколько «лидеров» делили между собой местную партийиую власть. Это было тем более удобио, что каждый зорко следил за другими и, чуть что, доиосил Лонгу, причем ии одии не чувствовал за собой достаточио сил, чтобы бросить вызов «верховиому».

Зато каждому деяиию иа пользу партии Лонга соответствовало то или иное вознаграждение в виде хлебного места у кормушки, выгодного подряда или престижного назначения — на любые посты иазначались только свои и только по слову Лоига. Система платы за лояльность была доведена до четкости прейскуранта.

Принцип «плюрализма» в сочетании с раздачей пирогов и пышек работал четко. Однако на случай измены или фронды карманных «комитетчиков» у Хью Лонга была еще одна — и веская — гарантия. Он мог тут же смести их, обратившись к «рядовым избирателям», к низам, к толпе. Низы он контролировал верхами. Верхи — низами.

Хью Лонг рано понял грустную истину XX века: демократия необязательно антипод диктатуре, в умелых руках она — ее средство, респектабельная форма. В совершенстве овладев обоими рычагами американской демократии, Хью Лонг стал совершенным демократом, абсолютным демократом, то есть диктатором.

И когда в дополнение ко всем прочим титулам ему предложили занять и пост председателя комитета демократической партии штата, он поморщился:

— Только, пожалуйста, не надо оппозиции.

Оппозиция исчезла — будто ее и не было.

Правда, вначале у Лонга еще хватает трезвости. В автобиографии он пишет: «Когда твои приближенные начинают отмечать, сколь ты «велик», они не знают удержу». Но это так, отрыжка природной наблюдательности. Ибо очень скоро магия собственного величия завораживает его, перерастает в манию, а порция каждодневной аллилуйи превращается в органическую потребность.

Неразборчивость в средствах отличала Хью Лонга; впрочем, этой же чертой наделен и Вилли Старк. Помните, как Старк расправился с конгрессменом Петитом, позволившим себе нелестно о нем отзываться? «Хозяин не опровергал рассказов Петита, он занялся личностью самого рассказчика. Он знал, что argumentum ad hominem ложен. «Может, он и ложный,— говорил Хозяин,— зато полезный. Если ты подобрал подходящий argumentum, всегда можно пугнуть hominem'а так, чтобы он лишний раз сбегал в прачечную». Буквально так действовал Хью Лонг.

Когда оппозиционная газета «Таймс-Пикайун» допекла губернатора, он не стал опровергать ее. Его «исследовательский отдел» выяснил, что у зятя Э. Фелпса, одного из хозяев ненавистного органа, рыльце в пушку: он получает две зарплаты. Строго говоря, какое отношение имеет рыльце зятя к линии газеты? Но разве в этом дело? И в лонговском издании появляется громкая шапка:

«Родич диктатора «Таймс-Пикайун» Э. Фелпса кормится из двух кормушек — как выяснилось, он числится в двух ведомостях. Губернатор Лонг, зная привычки «Таймс-Пикайун»,

изучает платежные ведомости и обнаруживает, что родственник новоорлеанского Муссолини из «Таймс-Пикайун» загребает тайком денежки штата».

Изысканный стиль, не правда ли?

Еще ближе ораторские приемы Вилли Старка и Хью Лонга. Для иллюстрации два образчика выступлений последнего.

Драматический:

«Вот здесь, под этим дубом, Евангелина ждала своего возлюбленного Габриэля и не дождалась его. Это историческое место, его обессмертил своей поэмой Лонгфелло, но не одна Евангелина ждала здесь понапрасну.

Где школы, которых ждали вы и ваши дети? Их нет и поныне. Где дороги, на которые вы давали деньги? Они не приблизились к вам ни на пядь. Где больницы и приюты для калек и немощных? Евангелина горько плакала от разочарования, но проплакала только свой век. А вы, живущие в этом краю, льете слезы из поколения в поколение. Так дайте же мне осушить глаза тех, кто плачет здесь и нынче!»

И сардонический:

«Так вот, дамы и господа. Китаец, папуас и наш разлюбезный Томас поспорили, кто дольше просидит взаперти с хорьком.

Заперли с хорьком китайца, и он терпел десять минут. Потом попросился на волю. Не выдержал.

Потом зашел папуас, пробыл с хорьком пятнадцать минут и вышел еле живой.

Потом зашел Томас. Пробыл пять минут, и выскочил... знаете кто? Хорек».

Нужно ли разъяснять, что Томас — имя противника Хью Лонга. Как тут не вспомнить «муниципальную вонючку» и другие сильно пахнущие выражения из лексикона Хозяина!

Мы подошли к самому, пожалуй, деликатному моменту. Ну хорошо, методы у Хью Лонга и Вилли Старка одинаковы, а дела? Как ни странно, дела тоже.

Вот некоторые статистические данные о Луизиане.

20-е годы. В штате 300 миль бетонных дорог, 35 миль дорог с иным покрытием, три моста-развязки на шоссе, система образования на положении бедной родственницы, здравоохранение в загоне...

1935 год. В штате 2446 миль бетонных дорог, 1308 миль асфальтированных дорог, около 40 мостов-развязок. Определенные ассигнования выделены на систему образования и здравоохранения, в частности за счет большего налогообложения компаний...

Методы администрации Лонга предвосхищали рузвельтовский новый курс. Они помогли штату сделать рывок в развитии товарно-денежного производства. Фермерам Луизианы уже не приходилось ломать голову, как вывезти тело безвременно усопшего дядюшки из города и, что существенней, как доставить плоды земли своей и рук на городской рынок. С позиций ускорения капиталистического прогресса курс Лонга был эффективен.

Недаром профессор Т. Гарри Уильямс, автор предисловия к одному из изданий автобиографии Лонга, называет его «необычным демагогом». Стоит только оговориться, что «демагогами» по южной традиции называли политиков определенного сорта, которые в острый момент борьбы за власть бросали вызов существующему истэблишменту, апеллировали к массам, «требовали для них более справедливой доли доходов и власти». «Демагоги,— пишет профессор Уильямс,— производили много шума и даже порой выигрывали выборы, но никогда не меняли сколько-нибудь существенным образом природу и структуру власти. Несмотря на их яростные обличения правящих классов, они мало что делали, чтобы поднять массы. Некоторые из них в действительности не были заинтересованы в реформе, их легко было либо выключить из игры, либо принудить к сотрудничеству с существующей иерархией. Те же, у кого была программа, не могли ее осуществить по одной весьма существенной причине — у них не хватало способности, вернее, воли разрушить организацию олигархии, и в конечном счете она их сметала... Лонг тоже был одним из этих демагогов. Он тоже мог, пошумев насчет реформы, кончить обличением негров или янки или приторными воспоминаниями о конфедератской славе в годы гражданской войны и о южных страданиях во время Реконструкции. Не тут-то было. Лонг оказался единственным южным лидером, обратившимся к поддержке масс, который, пообещав что-то, свое обещание сдержал».

Характерная цитата.

Так в чем же разница между Хью Лонгом и Вилли Старком? Оба делали дело, и оба делали его негодными, но вроде бы единственно возможными средствами. Да полноте, есть ли она, эта разница?

Обратимся снова к роману, к весьма поучительным размышлениям, которым предается Джек Бёрден под занавес:

«Теория исторических издержек — можете назвать это так. И выписать издержки против прибылей. Не исключено, что перемены в нашем штате могли прийти только таким путем, каким пришли,— а перемены были большие. Теория моральной

нейтральности истории — можете назвать ее и так. Процесс как таковой не бывает ни нравственным, ни безнравственным. Мы можем оценивать результаты, но не процесс. Безнравственный фактор может привести к нравственному результату. Нравственный фактор может привести к безнравственному результату. Может быть, только в обмен на душу человек получает власть творить добро.

Теория исторических издержек. Теория моральной нейтральности истории. Все это — высокий исторический взгляд на мир с вершины холодного утеса. Может быть, только гений способен его так увидеть. Действительно увидеть. Может быть, нужно, чтобы тебя приковали к утесу и орлы клевали твою печень и легкие,— тогда ты его так увидишь... Может быть, только герой способен поступать соответственно.

Но я...»

Стоп. Вот в чем дело. В этом скромном, но твердом «но я...». В позиции, другими словами. Писатель — на то он и писатель — оценивает свершенное и свершившееся не с позиций абстрактного прогресса, бестелесной морали и безлюдной истории. Ибо для него, представителя литературы, то есть посланца гуманизма, безлюдная история — это бесчеловечная история. А он привык смотреть на мир с точки зрения человека — как он чувствует себя посреди этого абстрактного прогресса, человек, не зябко ли ему?

Вилли Старка и Хью Лонга, героя романа и его жизненный прототип, разнила концепция цели.

У них было равное дело и равные средства. Но цели у них были разные. Высшей, духовной цели у Лонга в отличие от Старка не было.

Лонг был Хампти-Дампти, шекспировским Ричардом, которому драматург вложил в уста такие слова: «Ведь совесть — слово, созданное трусом, чтоб сильных напугать и остеречь. Кулак нам — совесть, и закон нам — меч». Хотя и шекспировского Ричарда убивает все же «совесть робкая», призраки им убиенных, а не только противник во плоти...

Старк был раздвоен. «Дом, разделившийся в самом себе, не устоит». Недаром он мучится и гонит от себя это библейское пророчество. Он и погиб, потому что был раздвоен.

Лонг погиб, потому что его убили. Он не страдал двойничеством.

Читаешь его автобиографию — и ни малейшего следа сомнений, рефлексии. Автобиография — жанр специфический. По части самоидеализации автобиография иного действующего политика может сравниться разве что с мемуарами политика

бездействующего. Немало кокетства и в автобиографии Хью Лонга. Но и тени «комплекса Старка» в книге, вышедшей из-под пера Лонга, не увидишь. Нет, он тоже страдал, Хью Лонг, и временами ему тоже бывало плохо — когда его загоняли в угол... Его целью была власть. И хоть он сделал немало дел, он, скорее, Крошка Дафи, а не Вилли Старк. Крошка Дафи с историческим нюхом. Проницательный Крошка.

Но Пенну Уоррену он послужил материалом для Вилли Старка. Писатель взял Хью Лонга — готового героя политического детектива под названием «Луизианская история» или даже «Американская история» — со всеми его потрохами, потребностями и непотребностями и произвел крошечную операцию сродни демиурговой. Он разрезал фальшивую грудь политика и вложил внутрь бессмертную взыскующую душу.

И тогда из Хью Лонга родился Вилли Старк.

Забавно это или логично? В момент появления романа публика поразилась сходству Старка и Лонга, причем, понятное дело, производной величиной казался Старк. Эта похожесть даже шокировала, в ней кое-кто узрел едва ли не ущербность литературной фантазии, ее неспособность конкурировать с сюжетами, которые порождает сама жизнь. Но вот прошло время — и картина переменилась. Вряд ли найдется хоть один более поздний исследователь Лонга, который в той или иной мере не переносил бы созданный Пенном Уорреном образ Старка на бывшего политического деятеля, коему посчастливилось стать его прототипом. Подобное украшательство чела Хью Лонга литературным лавром происходит не всегда осознанно, но это-то и симптоматично. Время расставило все на свои места. В памяти людской магия образа, созданного литературной волей, оказалась сильней реальных черт.

Кесарю кесарево.

Богу богово.

НОВООРЛЕАНСКИЙ МУЖ

Разговор на крыше Международного торгового центра. От всех прочих он отличался подчеркнуто философическим складом ума собеседника и исключительной высотой позиции — выше здания в городе нет. Далеко внизу начинались портовые сооружения и, казалось, не кончались, уходя за горизонт.

«Ты выглядишь сегодня на миллион долларов...» Говорят, что американцы так говорят. С двадцать девятого этажа здания, находящегося при «впадении» Канал-стрит в реку Миссисипи,

открывался вид на 300 миллионов долларов. Это не метафора, это статистика.

И вид этот был застывшим, как натюрморт. Не для удобства зрителей. Портовики атлантического побережья США бастовали уже третий месяц, и грандиозный порт стоял. Ни единого судна на рейде. Пустота. Вот что поражало не меньше, чем грандиозность панорамы.

В виду остановившейся жизни на крыше двадцатидевятиэтажного небоскреба бродил философ. Он искал человека. Он искал человека, который купил бы у него билет на право пользования смотровой площадкой.

Философ был послан мне самой судьбой, это я понял сразу. За полтинник я приобрел не только право на вид, стоивший 300 миллионов, но и в придачу ответ па кое-какие мировоззренческие вопросы.

— Жадность людская. Это все она,— пробормотал юный торговец перспективой, когда меркантильные вопросы с билетами были улажены.— Жадность движет людьми.

На вершине холодного утеса — крыше высочайшего в Новом Орлеане небоскреба мы были одни.

— Я получаю доллар семьдесят пять центов в час, и ведь ничего, не рыпаюсь. Они же, — по уничижительному взгляду, который мой собеседник бросил с верхотуры вниз, я понял, что речь идет о портовиках, — они же и так зарабатывают в час по шесть-семь долларов, и им все мало. Обычно здесь не протолкаться: весь берег уставлен судами. Пароходы, бывает, сутками толпятся в очереди. А сейчас поглядите — все чисто до горизонта. Нет, жадность погубит эту страну. Вы знаете, коммунисты проповедуют равенство. У нас частная инициатива Но эта частная инициатива из стимула превращается в алчность.

— Так ты за частную инициативу или против? А может, ты коммунист? — неловко пошутил я.

— Полукровка.— Впервые на губах моего философа мелькнуло подобие улыбки. — У частной инициативы должны быть границы.

Тут, видно, парень вспомнил о своих прямых обязанностях — приправлять панораму комментарием. Поправив фирменную фуражку — панорама ведь не была его собственной, он состоял при ней, но принадлежала она владельцам торгового центра, — он сказал:

— Видите мост? Это Больший мост.

— Больший, чем что?

— Ничего. Это он так называется — Больший мост. А еще

дальше самый длинный мост через Миссисипи — мост Хью Лонга.

Круг снова замкнулся. Тень Хью Лонга, видно, решила преследовать меня в своей вотчине. Но раз уж от нее никуда не деться, не продолжить ли свой маленький персональный плебисцит? В блокноте моем скопилось десятка полтора различных, даже противоположных суждений о Хью Лонге. Каждое из них претендовало на правоту, но одно отличалось еще и чеканностью. «Нью-Йорк таймс» в своем «Энциклопедическом альманахе» потратила всего восемнадцать слов на то, чтобы нарисовать профиль противоречивого политика, при этом она ухитрилась дать совершенный автопортрет: «Лонг, Хью П., 1893—1935, убитый американский политический демагог, который фактически приостановил (1928—1935) демократические процедуры в Луизиане».

Но то первая газета Америки, светоч и столп утонченного либерализма; а что думает о бывшем диктаторе Луизианы этот не по возрасту желчный паренек, ежедневно совершающий свой путь наверх за один доллар семьдесят пять центов в час?

— Это был великий деятель. Он приезжал к фермерам и говорил им: «Хотите, я покрою бетоном эту дорогу, — тогда выбирайте меня. Не будете за меня, кукиш получите, а не дорогу». И он строил дорогу, когда его выбирали... Говорят, его убила мафия. А я говорю, его убила не мафия, а конгресс США. Потому что он говорил им в лицо: Луизиана может построить стену вдоль своей границы. Нам не нужны остальные штаты... Знаете, кого они убили потом? Джона Кеннеди. Потому что он тоже говорил им прямо: это моя игра и вы будете играть по моим правилам. И тогда они убили его...

Философия юного торговца видами была не на мелком месте. Внизу текла желто-серая Миссисипи. Любопытно, что такую же точку зрения, едва ли не в тех же выражениях я услышал еще от одного человека в этом городе. От Джима Гаррисона, окружного прокурора Нового Орлеана.

Мне говорили, что встретиться с ним невозможно, прессу он не принимает. Его обвинили во взяточничестве, доверительно пояснили мне. Будничный тон, каким давались пояснения, должен был убедить, что тут это дело обычное.

К слову сказать. В те самые дни в штате разразился другой скандал, тоже связанный с прокурором, только рангом повыше, —Джеком Гремильоном, генеральным прокурором Луизианы. Федеральный суд признал его причастным к крупной финансовой афере, а также виновным в преднамеренном обмане суда и нескольких более мелких грехах. Ну и что? Да

ничего. «Это еще не основание для ухода в отставку, — отмахнулся Гремильон. — Даром, что ли, я занимаю свой пост четыре срока? Суд мне не указ».

Пикантность момента усугублялась еще и тем обстоятельством, что шла предвыборная пора и Гремильон в пятый раз выставил свою кандидатуру на пост генерального прокурора штата. Противники неистовствовали. Сенатор штата и кандидат в губернаторы Джон Швегманн потребовал применить к Гремильону «импичмент», ибо «под угрозой оказались сами достоинство и репутация Луизианы». «Жалкий цыплак и фальшивомонетчик, — в неподражаемом стиле ответил на выпад Гремильон. — Да он скармливает своим курям толченый свинец, чтобы они больше тянули на весах. Я пошлю ему учебник права для шестиклассников — пусть малость разберется в том, как отправляют закон в Луизиане. Я бы прислал ему книгу для девятого класса, но, боюсь, не поймет он в ней ни бельмеса».

Соперники Гремильона в приступе праведного, хотя и небескорыстного гнева требовали его немедленной отставки. Не на того напали. «Мне уходить... Зачем? — искренне удивился Гремильон. — А если моя апелляция увенчается успехом? Лично я чувствую себя невинным, как пташка...» Впрочем, к Гаррисону история с Гремильоном не имела отношения. Я позвонил ему, назвал себя, свою страну и орган печати, который представляю, и тут же получил согласие на интервью.

...Здание суда выглядело вполне классически — массивное, серое, с колоннами. Его основательность еще более подчеркивала желто-красная стекляшка по соседству: «Джим Дэнди. Жареные цыплята». Не от Швегманна ли цыплята?

«Абсолютное отправление правосудия есть фундамент свободы». От надписи на фронтоне здания суда веяло вековечным. Несколько шагов внутрь — и вот уже примета нашего энергичного времени: «Вниманию публики». С 1 ноября, оказывается, установлен следующий порядок:

свертки, портфели, сумки проносить в здание суда строго воспрещается...

все улики следует заранее отдать клерку...

входить в здание в пальто, шубе, плаще строго воспрещается. Если пришел в пальто, будь любезен, сними его и неси через руку. Осмотр по требованию шерифа;

все, кто состоит под судом, но выпущен под заклад, подлежат обыску...

Нелишние, видно, предосторожности.

Улик я не нес. Разве что книгу самого Гаррисона «The

Heritage of Stone» — «Камень в наследство», в которой он излагал свою точку зрения на убийство Кеннеди. В авторском вступлении к ней рука автоматически подчеркнула такие строчки: «Я выражаю глубокую признательность Расселу Б. Лонгу, сенатору США от Луизианы, за мужество, выразившееся в том, что он задавал вопросы тогда, когда мало кто из Вашингтона решался их задавать, а также за его постоянную поддержку наших усилий». Рассел Б. Лонг, между прочим, сын Хью Лонга.

Тоскливая атмосфера казенного дома, царившая во всем здании, в приемной окружного прокурора Нового Орлеана, однако, странным образом сочеталась с претензией на изыск. Увеличенная до размеров стены карта Америки 1690 года. На древней этой карте выделялась огромная Луизиана, граничащая с маленькой Флоридой, скромным конгломератом Новой Англии, другими штатами, а на севере с Канадой... Старинные часы, на сорок пять минут отставшие от бега времени за свой век. Впрочем, рядом висели вполне современные часы, функция которых уже была показывать, а не символизировать время.

— Наша беседа будет короткой, извините. У меня сейчас слишком много дел. Мне нужно защищать себя от своего правительства, которое боится, что я разоблачу происшедший в этой стране военный заговор, — залпом выпалил Джим Гаррисон вместо приветствия, когда я, как и было уговорено, ровно в 15.30 по современным часам вошел к нему в кабинет. — Американцы одновременно легковерны и легкомысленны. Они верят, что заговоры царят где угодно, только не у них... Но послушайте. Пентагон заинтересован во Вьетнаме. Генералам нужно было запустить в Индокитай руки по локоть. На пути Пентагона стал президент Кеннеди. И тогда они убрали его. Это же ясно как божий день... Сейчас они шантажируют меня, но этот номер у них не пройдет. Я собираюсь получить оправдание.

— Прокурор, в чем вас обвиняют?

— Во взяточничестве. Какой вздор! Более подробно я не могу говорить об этом до суда. Да и не о чем особенно говорить. Но они еще пожалеют о своей затее. Ох как пожалеют!

— Но ведь один суд уже был — процесс по обвинению новоорлеанского бизнесмена Клея Шоу в соучастии в заговоре, приведшем к гибели президента. Этот процесс устроили вы сами. Суд, однако, признал вину Шоу недоказанной.

— Если этот процесс и доказал что-то, то только одно: наш уголовный суд просто не готов к рассмотрению дела, связанного с военно-политическим заговором. За последние десятиле-

тия общество наше переродилось, оно находится под пятой военно-промышленного комплекса. Присяжные же уголовного суда не доросли до понимания этой основополагающей истины, они все еще в плену старых представлений.

— За время, что прошло после того процесса, закончившегося не в вашу пользу, у вас, конечно, накопились новые факты, свидетельства, подтверждающие правоту вашей точки зрения?

— Ни в каких новых свидетельствах я не нуждаюсь. Я и так матовал правительство. Я отмел все остальные возможности, так что каждому непредубежденному человеку ясно, что прав именно я. Послушайте, — голос его понизился до доверительного полушепота, — есть два пути доказательства истины. Один — собрать свидетельства, которые можно предъявить в суде. Но есть и другой путь — логическим путем доказать свою правоту. Изучение истории роста военно-промышленного комплекса в нашей стране — только оно дает единственно верный ответ на вопрос, кто убил президента Кеннеди. Задайте сначала вопрос «почему?» — и тогда вам сразу станет ясно «кто?».

Дальнейшие объяснения Гаррисона приняли форму несколько скачущего, но страстного монолога на тему о том, как военная машина совратила страну.

Вторая мировая война была переломным моментом. Раз созданная огромная военная машина, даже когда реальная нужда в ней отпала, вовсе не собиралась самораспускаться. По окончании горячей войны «медным каскам» и «толоконным лбам», военщине то есть, позарез нужна была война холодная, ибо что может быть лучшим «оправданием» контрреволюционных войн против малых народов! Пентагон, а не госдепартамент стал подлинным министерством иностранных дел США. Но когда военные становятся решающей силой во внешней политике, они захватывают контроль и внутри страны. Империализм чреват опасностью тайной диктатуры. Люди не понимают, зачем нужно выбрасывать десятки миллиардов долларов на военные нужды. Объяснить им это невозможно, им можно только заткнуть глотки и прочистить мозги. Супердержава на внешнем рынке и сверхвласть на внутреннем — две стороны одной, военной, медали. Общество разлагается. Милитаристы убирают всех со своего пути. Как только стало абсолютно очевидно, что Роберт Кеннеди будет президентом, в ту же минуту его убрали... За заговором милитаристов следует заговор молчания наверху. Освальд, Рей, Сирхан — «одинокие убийцы». Это все нонсенс. Почерк действительно один и метод заметания следов тоже. Что такое комиссия Уоррена, как не ширма для публики?

После убийства Линкольна было то же самое. Недаром президент Эндрю Джонсон амнистировал преступников. Правда, конгресс выдвинул «импичмент» против Джонсона, не хватило всего одного голоса, чтобы «импичмент» прошел. Да, тогда хоть заботились о репутации, сейчас же и этого нет. Это похоже на «Алису в стране Чудес», на Зазеркалье. Наверху всем все известно, но все связаны круговой порукой и играют в молчанку...

Это, так сказать, большое логическое кольцо Гаррисона. Внутри было еще одно кольцо, поменьше, и оно так же неотвратимо вело к далласской трагедии. Кольцо это называлось Вьетнам. Гаррисон набросал мне в нескольких штрихах историю развития индокитайского конфликта, обрисовав роль основных фигур, замешанных в нем, начиная с Джона Фостера Даллеса и Нго Динь Дьема. Не без удивления отметил я про себя, что картина, по Гаррисону, мало чем отличается от той, к которой мы привыкли.

«Ирония судьбы, дядя Хо был нашим союзником в борьбе против японцев, но с подачи Пентагона мы решили наказать северных вьетнамцев за то, что они «вторгаются» в собственную страну. Нет, вы, русские, правы, не во всем, но во многом, обвиняя нас в империализме...» — эту фразу я привожу дословно, остальное передаю для краткости более бегло — лишь смысл: Джон Кеннеди думал положить конец вьетнамской авантюре Пентагона, и тогда его убрали. И не только его. Все жертвы великих убийств 60-х годов были видными противниками вьетнамской войны.

Гаррисон повторялся, вернее, он вернулся на круги своя. Вскоре я понял, что такова его излюбленная манера — кружить вокруг обсуждаемого предмета, постоянно возвращаясь к внушаемому выводу.

— Прокурор, многие считают, что вы не любите прессу.

— Не то чтобы я не любил прессу. Я стараюсь не встречаться с американскими журналистами — это другое дело. Они просто не могут понять того, что я им говорю. Они слишком испорчены мифологией, у них нет реального контакта с сегодняшней действительностью этой страны. Они не понимают, что мы начали «холодную войну», что мы вторглись во Вьетнам, что всеми делами у нас заправляет Пентагон. Известно, что в Пентагоне подслушивали даже телефон Макнамары. Так кто же командует, спрашивается?.. В Европе могут шире смотреть на вещи.

Так я понял, что чести этого интервью обязан своему европейскому происхождению.

— Что вы собираетесь делать дальше?

— Я буду бороться за то, чтобы рассказывать правду об Америке. Не только об убийстве Кеннеди — обо всем нашем прогнившем и переродившемся обществе. Геометрическая прогрессия лжи — вот с чем мы сталкиваемся на каждом шагу, власть имущие лишь затыкают дыры, в которые может просочиться истина. Но должен же кто-то разоблачать их? Ведь правда, — это слово Гаррисон неожиданно произнес по-русски, — самое важное в наших профессиях, не так ли? Все грамотные люди знают, что главное в работе — конечный продукт. Так вот, мой конечный продукт — правда.

Гаррисон встал — все это время он сидел, временами закинув ноги на стол, — и только сейчас я разглядел, что он высок, метра два ростом, не меньше, и сутул. Глаза его чуть косили вовне. Может быть, поэтому поймать его взгляд было трудно. Вопреки ожиданию он не производил впечатления очень уверенного в себе человека.

Вместо обещанных «минут двадцати пяти» интервью продолжалось два с лишним часа, но сейчас оно подошло к концу. Я понял это по тому, что Гаррисон вдруг выключил тихую, успокаивающую музыку, которая играла все это время. На столе лежала книжка политических комиксов. Впрочем, один необязательный вопрос я счел себя вправе задать:

— Как вы относитесь к Джеку Гремильону?

— Я его не знаю.

— Но ведь он генеральный прокурор штата, можно сказать, ваш шеф!

— Я его толком не знаю. Он, скорее, координатор, а не командир. У него совсем другая работа...

И только когда Гаррисон подошел к вешалке, на которой почему-то висели три шляпы, и выбрал себе одну из них, я вспомнил, что забыл задать еще один вопрос. Насчет «Камня в наследство».

— Прокурор, что вы хотели сказать, дав своей книге такое название?

— Я хочу сказать, что мы развили технику до небес, но по уровню духовной цивилизации остановились где-то внизу эволюционной лестницы. Мы не отличаемся от людей каменного века, которых мало заботило, кто там живет в соседней пещере. Но нас это должно заботить. Потому что люди в соседней пещере — это мы сами.

...Оказывается, добыть факт не самое трудное. Самое трудное начинается после того, как ты его добыл. Как его истолковать?

Кто он, таинственный и сенсационный окружной прокурор Нового Орлеана Джим Гаррисон? Бесстрашный правдоискатель с дурными манерами, которые мешают разглядеть в нем рыцаря без страха и упрека? Эдакий провинциальный доякихот, ополчившийся против государственной и военной машины? Или ловкий мистификатор, делающий себе рекламу на национальной трагедии? Такая точка зрения, кстати, распространена шире, чем первая. Действительно, ведь паблисити у него — человека, ранее известного лишь в своей округе, — стало мировое...

Трудный вопрос. И, признаюсь заранее, я не дам определенного ответа. Для этого как минимум нужно знать всю правду об убийстве Кеннеди и при этом точно знать, что знаешь действительно правду. Боюсь, что для журналиста это сейчас невозможно. Изучение того, что произошло на далласской Дили-плаза 22 ноября 1963 года, уже стало целой отраслью, профессией. Заниматься ею можно всю жизнь...

Другой путь — я отдаю себе в этом отчет — зыбок и неокончателен, но если не категорические выводы, то пищу для размышлений он может предоставить: насколько убедительна не версия Гаррисона, а вся его концепция? Такой анализ более реален.

Так что я не буду разбирать, сколько, по мнению Гаррисона, было выстрелов, откуда и сколько человек стреляло и что делали известные и неизвестные нам люди в тот трагический миг. Не буду цитировать и длинный список реальных противоречий и кажущихся несоответствий в докладе комиссии Уоррена. По Гаррисону, они являются свидетельством того, что доклад заведомо лжив, сфабрикован с начала и до конца с целью навязать публике точку зрения, выгодную преступной стороне. Ибо в противном случае я должен тут же ставить штамп: это так, или не совсем так, или совсем не так. Но передержки у новоорлеанского мужа чувствуются. Легкость, с которой однозначные и безапелляционные выводы делаются отнюдь не из однозначных ситуаций, настораживает.

Вот в самом начале своего расследования Гаррисон вызывает в суд бывшего шефа ЦРУ Аллена Даллеса. Но поскольку юрисдикция Гаррисона распространяется лишь на округ Нового Орлеана, он требует, чтобы его вызов передал прокурор вашингтонский. Тот отказывается, а Аллен Даллес, что в общем можно предположить заранее, по собственной инициативе на суд не является. Вывод из этого у Гаррисона один: ЦРУ боится расследования, ибо оно замешано в преступлении. Я вовсе не исключаю возможности того, что ЦРУ замешано в преступлении, но данного факта для этого вывода недостаточно. Хочешь

не хочешь, а от акции с вызовом «агента 001» веет рекламным душком.

Или вот небольшая цитата о некоем авантюристе Ферри, который, по Гаррисону, имел отношение к преступлению в Далласе:

«...22 февраля 1967 года Ферри был найден мертвым среди пустых и полупустых склянок и ампул. Общий анализ не выявил какого-либо из известных ядов. Причина смерти была определена как естественная — кровоизлияние в мозг. На рояле и письменном столе Ферри были найдены отпечатанные на машинке два письма, в которых он извещал о намерении покончить жизнь самоубийством, причем его подпись под каждым из них была также отпечатана. В городском морге фотографы сделали последние снимки Ферри, который лишился всего — своего мохерового парика, должности пилота регулярных линий, хобби следователя-любителя и, наконец, самой жизни. Поперек его живота виднелся шрам в двенадцать дюймов длиной, след раны, полученной во время последнего тайного полета на Кубу.

Дэвид Ферри был чиновником в полном смысле этого слова. И в то же время он был больше чем чиновником. И именно поэтому он вряд ли смог бы выжить при чрезвычайном положении, созданию которого сам немало содействовал. Из всех частных лиц, подозреваемых новоорлеанским следствием, пожалуй, только Ферри испытывал какие-то угрызения совести по поводу убийства (Кеннеди.) В самом конце его терзали воспоминания о детстве, жизни в семье и годах подготовки к духовному сану. Можно сказать, именно то, что он не утратил до конца человеческий облик, и погубило его...»

Бог его знает, этого Ферри. Человек это был странный до гротеска, с признаками психопатии, о чем пишет сам Гаррисон. Трудно сказать, отчего он ушел из этой жизни и что он делал в ней до того, как ушел. Но объяснение Гаррисона слишком красиво. Ферри ведь не шекспировский Глостер, чтобы его убили призраки.

Литературность, вернее, беллетристическая заданность — вот в чем, пожалуй, дело. Вся концепция Гаррисона грешит этим. «Чтоб умертвить Дункана, Макбету не было никакой нужды выходить за ворота замка. Он оставался в Инвернесе, пока гонец не принес ему известие о внезапной смерти врага, а затем и об убийстве самого убийцы-одиночки. Ни к чему было и Бруту отправляться со своими единомышленниками в сенат, чтобы убить Цезаря. Он также был дома, когда получил весть о гибели Цезаря и расправе римских солдат с убийцей.

Как правило, в переворотах участвуют достаточно сильные люди, не испытывающие ни малейшего страха перед расплатой. Если они не имеют никаких шансов установить свой контроль над государственным аппаратом, то им нет необходимости и подыскивать убийцу народного вождя. Люди потом могут обожествить Цезаря, как это и случилось в Риме, но обезвредить его убийц они не могут. В то же время те, кто добивался его ухода с политической арены, приобретают возможность воздействовать на политику правительства в соответствии со своими целями, оставляя за народом право поклоняться останкам убитого...» — так пишет Гаррисон. Дункан — Кеннеди, это ясно. Но кто Макбет — Линдон Джонсон? техасская мафия? весь военно-промышленный комплекс? Социальный адрес изобличения вроде бы расширяется, однако, несмотря на растущую крепость выражений, острота, как ни странно, спадает.

«Быть может, придет день, когда наши опустевшие улицы зарастут сорняками, когда единственным звуком будет писк крысиных толп, стремящихся сказать свое слово в эволюции. И кто-то издалека, разгребая обломки нашей цивилизации, наткнется на человеческий череп. Быть может, он поднимет его, заглянет в глазницы и увидит вместо кучки серого вещества, способного постигать вселенную, — пустоту.

«Бедный усопший собрат, — скажет пришелец, — ты был, должно быть, незаурядным парнем, с блестящим чувством юмора. Где твои виселицы и орудия? Твоя тайная ненависть и явная жестокость? Что случилось с твоими миллионами, до которых тебе нет теперь никакого дела? С твоими симпатиями и антипатиями и личными планами? Где нынче твоя великолепная невозмутимость?

Теперь ты навеки умолк...»

Бедный Джон Фицджеральд!

И бедный Вильям!

И все же дело не в стиле, хотя стиль у Гаррисона роскошный. Ссылки на классиков перемежаются с цитатами из политиков, администраторов и супершпионов. Извлечения из Шекспира, поэта XVI века Фаррингтона, видного американского политика прошлого Мэдисона, сатирика Орвелла, судьи Эрла Уоррена и даже некоего Вернера Беста — сподручного Гиммлера — образуют причудливую смесь. Впрочем, собственные сентенции Гаррисона ничуть не уступают заимствованным. Скажем: «То, как человек превратился из бедного, но честного животного в нынешнего благородного члена Ядерного клуба, являет собой великую историю успеха. Быть может, эта история успеха ока-

жется настолько грандиозной, что поставит точку вообще на всех историях успеха» («Камень в наследство»).

В устах публициста это признание, возможно, покажется странным, но книга Гаррисона грешит избытком «публицистичности». Судебное дело должно быть строже. Оно должно не столько убеждать, сколько доказывать, убеждать доказательствами, а не эмоциями.

Оговорюсь: некоторые оценки новоорлеанского прокурора мне кажутся резонными, во всяком случае блестящими. «Холодная война коррумпировала Америку», — пишет Гаррисон, и это великолепная формула, емкая и точная одновременно. Или: «теологический антикоммунизм» американской военщины — словосочетание хоть сейчас вставляй в учебник истории... Но боже мой, как все утрировано! То, что являет собой процесс, тенденцию, по Гаррисону, превращается просто в заговор, в тайную деятельность группы могущественных злоумышленников. Из социально-политической драмы, в которой противоборствуют классы, слои, фракции, группировки, в которой закономерность пробивает себе путь через случайность, через миллионы разрозненных воль, исторический процесс превращается в мелодраму, политический детектив, а то и в роман ужасов. «В нашем фольклоре, — пишет Гаррисон, — зло таскало с собой винтовку, нападало в открытую, но бесстрашное сердце и быстрая реакция всегда торжествовали над ним». Правда, далее он оговаривается: «Если когда-нибудь это и было так просто, то не сейчас...» — но по существу гаррисоновская модель общества мало отличается от вышеописанной сцены борьбы добра и зла, уточненной только в сторону роста коварства и могущества зла. Братья Кеннеди, эти рыцари света, сражаются против многочисленных сил ночи и гибнут в неравной схватке. Не сочтите за бестактность, но это миф.

Имя Кеннеди всегда было окружено мифами. Гибель братьев на глазах у всей американской публики окружила их ореолом. По законам памяти последний миг стал единственным. Трагедия, возможно трагическая случайность, превратилась в людском сознании в закономерность. Линия жизни и Джона и Роберта невольно спрямилась. Ретроспективно путь наверх уже выглядел едва ли не осознанным восхождением на Голгофу...

Может показаться, что вспоминать сейчас черты подлинного прошлого Кеннеди — все равно что попрекать мертвого грехами юности. Доля бестактности в этом, наверное, была бы, если речь шла бы не о профессиональных политиках. Политик — фигура публичная, он сам выбирает жизнь в свете юпи-

теров, и пенять на их безжалостный свет ему не приходится.

Вот Роберт Кеннеди. В 50-е годы он восхищался... Маккарти — печально знаменитым деятелем, что стал самым позорным и реакционным «измом» в новейшей американской истории. В 60-е годы он уже один из лидеров американского либерализма. Нет, не всегда можно было обнаружить последовательность в его поведении и действиях. В канун трагедии журнал «Тайм» писал: «Он мог быть... широким и мелочным, безжалостным и великодушным — и все в крайней степени... На каждый шаг в духе Макиавелли у него находился жест благородства, на каждую полуправду или гиперболу — разоружающая откровенность: «Видите, на какие жертвы я иду, чтобы стать президентом. Я даже остриг свои длинные волосы»...»

Не обделена зигзагами и дорога Джона Кеннеди.

Глупо не принимать в расчет идейную трансформацию братьев Кеннеди, развитие их взглядов во времени, обретение зрелости, трезвости. Но есть здесь и другое обстоятельство, более общего характера.

Исконно американской философией является прагматизм, а это, наверное, самая «политичная» философия, недаром основополагающим критерием она ставит не истину, но выгоду. Границы между истиной и выгодой, выгодой и моралью стираются. Разница между беспринципностью и реализмом исчезает. Любая перемена позиции освящается зависимостью от ветров конъюнктуры, угрызения же совести вообще отменяются. Что может быть более удобным для практикующего честолюбца!

Не уяснив прагматистской природы политики и политиков, не понять и парадоксальные виражи в поведении и карьере весьма многих из них. Сколько было таких необъяснимых метаморфоз на протяжении только последних десятилетий. Например, «голубь» Джонсон, расправившись на выборах с «бешеным Барри» (Голдуотером), расправляет крылья и оборачивается «ястребом»... Можно было бы привести и примеры обратной «эволюции». Причины и мотивы столь чудесных превращений обычно лежат в сфере надличностной. Воля президента, сенатора, конгрессмена — чаще всего вектор из политических устремлений различных фракций правящего класса. Да и сам характер принятия решений в таком громоздком монополистически-бюрократическом аппарате, каким является современное американское государство с его миллионами связей, трансмиссий и обратных связей, делает практически невозможной решающую роль одного человека, даже занимающего самое высокое официальное положение.

Сфера морали тут ни при чем. Речь идет не об амораль-

ности. Отнюдь нет. Превращения прагматика могут привести к отрицательным последствиям, могут иметь и позитивный итог — все зависит от того, что в данный момент выше котируется. Котироваться же высоко может и позитивный курс, иногда он даже единственно возможен и, следовательно, необходим все для той же карьеры... Речь о другом. О том, что для морали в прагматистской структуре в принципе не остается места. Умный политик этого сорта может заслужить немало комплиментов, но материала для нимба в его деятельности не найдется. Прагматики и святые — из разных семейств.

Джон и Роберт Кеннеди были молоды, обаятельны, образованны, остроумны. Приехав впервые в Европу, в Париж, только что избранный президент Соединенных Штатов Америки мог заявить на пресс-конференции: «Вы все меня, конечно, знаете... как мужа Жаклин Кеннеди». Роберт Кеннеди с подкупающей искренностью признавался на митинге: «Мой отец всегда говорил: «Сын мой, я не возражаю, чтобы ты тратил деньги, но, ради бога, не покупай больше голосов, чем тебе нужно...» Самое смешное, что это была правда: только при подготовке к своим последним первичным выборам в Калифорнии Роберт Кеннеди потратил два миллиона долларов, но кто еще осмеливался в этом признаться, к тому же с такой дерзостью и вызовом? В братьях Кеннеди было то, что американцы называют «charizma» и что на русский язык можно перевести лишь описательно — «притягательная сила», «божий дар». К тому же они были богаты и удачливы, что тоже немаловажно. И все же экзальтация неоправданна. При всей своей «нетрадиционности», братья Кеннеди были классическими политиками. Американскими политиками. То есть прагматиками тоже.

Можно было бы поспорить и с оценкой Гаррисоном той роли, которую сыграл Джон Кеннеди в развитии вьетнамской драмы. Трудно сейчас с уверенностью говорить о том, каковы были намерения Кеннеди в этом вопросе. Намерения — материя неосязаемая. Какими бы они ни были, им не дано было осуществиться. Но начало эскалации было положено при Кеннеди. Это уже факт. И таким он, увы, останется в истории.

Однако мы отвлеклись в сторону от нашего героя.

Елей и яд, проклятие и аллилуйя сошлись у Гаррисона. Правда, они распределились по полюсам: светлые герои оказались вознесенными до небес, мрачные низвержены в преисподнюю.

Каждому вроде бы свое. Но как могли столь разные средства столь мирно ужиться в рамках одной концепции? Парадокс. Впрочем, скорее, закономерность.

Что предпочтительней — лакировка или безоглядное обличение? Странный вопрос на первый взгляд, ибо что может быть более бесплодным, чем позиция лакировщика, в то время как обличение — эта сестра (или брат? в общем, родственное лицо) критики — может помочь в уяснении каких-то черт действительности. И все же, строго говоря, и то и другое равно удалено от правды, на каком языке ни произноси это слово, ни то, ни другое не может претендовать на право называться анализом — единственно необходимым и достаточным средством в поисках истины.

Правоту свою можно доказывать разными способами, убеждает Гаррисон. Можно собирать факты. А можно мобилизовать логику... Но что за логика без фактов, вопреки фактам? Это будет фикция, в лучшем случае обладающая литературными достоинствами, что, впрочем, для судебного дела абсолютно не важно.

Литература, особенно это умели делать классики XIX века, блистательно создает совершенные модели общества, обходясь двумя-тремя десятками героев. Каждый не просто характер, но воплощенная социальная идея, тенденция, намерение. Из бесчисленного сонма причинно-следственных связей прозорливо выбираются самые существенные и властью писательского гения освобождаются от бремени и проклятия случайности... Но то роман, а не заключение следователя по конкретному делу. Концепция Гаррисона логична и убедительна сверх меры безотказной логикой социально-криминального романа. Вот ведь что, боюсь, можно сказать в заключение. Впрочем, может быть, у нас просто не хватает воображения, чтобы поверить в исключительность исключительных фактов? Или, может быть, цели и средства, движущие и движимые Гаррисоном, запутали нас или даже, спутавшись, запутали его самого? Да и не выплеснуть бы нам ребенка вместе с пенистой водой. Многие социальные выводы о том, что происходит в Америке ВПК (военно-премышленного комплекса) — не просто порождения острого ума...

Прокурорская карьера Джима Гаррисона зашла в тупик — сам он считает, что это месть ЦРУ. Что он делает? Пишет романы. О чем? О заговоре против президента.

«Каждый человек — король, но никто не носит короны...»

ХРОНИКА СКАНДАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Американская мечта приняла новый оборот. Каждый может у нас стать президентом — или убийцей президента. Наша страна — это страна равенства по Сэму Кольту: один человек, один голос, один револьвер.

(Из американского журнала)

Год выборов в Америке называют «сезоном политики». Его можно было назвать также «сезоном скандалов».

Пресса в этой стране всегда заряжена на сенсацию, но в високосный год она проводит генеральную инвентаризацию сенсаций, перетряхивая свои подвалы и чердаки в поисках всего, что может пощекотать нервы. Скандалы новенькие с иголочки и с бородой, как у Ноя. Грязные, очень грязные и супергрязные — чистых ведь скандалов не бывает. Скандалы на каждый день — легкие хлопушки и такие, чью взрывную волну впору измерять тротиловым эквивалентом.

...Где бы ни выступал претендент от демократической партии на пост президента Эдвард Кеннеди, он знал: в толпе непременно появится некто с плакатом. «Чаппакуиддик» — будет написано на нем. Каждый в Америке, кто хотя бы однажды держал в руках газету, понимает, что означает это таинственное индейское слово — имя острова, преследующее последнего из братьев словно проклятие. Мост, ночь после вечеринки, машина, рухнувшая через перила в черную воду, и позже путанные показания сенатора от штата Массачусетс, как получилось, что он выплыл из затонувшей машины, а его молодая секретарша осталась на дне. «Чаппакуиддик».

...Каждый раз, когда претендент от республиканской партии на пост президента Джон Коннэлли давал интервью, он знал, что найдется репортер, который в тысячный раз задаст ему вопрос: действительно ли он не получал взяток от мясомолочной промышленности в бытность свою министром? Коннэлли отмахивался от вопроса как от надоедливой мухи. «Суд оправдал меня», — ворчал он недовольно — пора, мол, забыть об этом. Но в «сезон политики» мухи скандалов не умолкают.

Имена Кеннеди и Коннэлли соединились случайно. Я мог бы назвать других кандидатов в президенты, в том числе и более удачливых, у каждого есть «скелет в шкафу». У американских политиков «всегда что-то есть», как сказал Вилли Старк.

Но сейчас я подумал о другом. Истории уже вольно было соединить эти имена. Когда 22 ноября 1963 года в Далласе грянули выстрелы, президент Джон Кеннеди и тогдашний губернатор штата Техас Джон Коннэлли ехали в одной машине, и пуля, поразившая президента, задела также и губернатора. С тех пор Коннэлли успел подружить с Джонсоном и послужить Никсону, перебежать из демократов в республиканцы, переехать из Техаса в столицу и обратно, и долгое время он надеялся вновь поселиться в Вашингтоне — уже по самому известному в стране адресу, в Белом доме. Впрочем, к тому же рвался и Эдвард Кеннеди, и не он один. Извилисты пути американской политики.

В Белом доме в канун выборов заводятся свои привидения. Вот какие злоключения преследовали команду Картера. То главного помощника президента, фактически начальника его штаба, Гамильтона Джордана обвиняют в том, что он нюхал кокаин... То в печати разворачивается дискуссия о том, не находился ли Билли Картер в непоправимо близких отношениях со спиртными напитками, с одной стороны, и с трезвыми ливийскими нефтяными бизнесменами — с другой, и не пора ли в этой связи непутевому брату президента официально зарегистрироваться в качестве «агента иностранной державы». А когда под угрозой судебного преследования он это сделал, началось расследование, за что получил брат Билли сотни тысяч иностранных долларов —не за спекуляцию ли своим родственным положением и интересами страны... То появляются сообщения о том, что финансовые дела самого Джимми Картера и других членов его дома велись без должной почтительности к закону, попросту говоря, со злоупотреблениями и что, если как следует покопаться, можно обнаружить даже нарушения закона о финансировании избирательной кампании в 1976 году — недаром ведь в 1977 году вынужден был уйти в отставку с поста директора административно-бюджетного управления Берт Лэнс, банкир из Атланты, ближайший друг и личный финансист Картера. На него было заведено дело...

У команды Рейгана в кампанию-84 свои и все те же болячки: финансовые махинации министров и помощников и даже собственный «Уотергейт» задним числом — выяснилось, что люди Рейгана выкрадывали у президента Картера секретные бумаги.

Что это — дремлющая инфекция, которой так или иначе заражен организм американской политической жизни и которая дает вспышки повальной эпидемии, или это комья грязи, которые политические противники швыряют друг в друга? Впро-

чем, как выразился еще великий ученый-материалист, грязь — это просто то, что лежит не на месте. И недаром в истории американской журналистики отмечена плеяда чистых и прогрессивных людей, озабоченных идеей общественного блага, они гордо именовали себя «разгребателями грязи».

С какими бы целями ни пыталась каждый раз сенсационная пресса разворошить угли общественного скандала, сам по себе он может являться лишь очевидной, надводной частью огромного и темного айсберга, уходящего в социальные глубины. Бурлеск порой прикрывает бурю. Вакханалия яростных разоблачений и не менее громких умолчаний — словом, скандальные времена Америки не вчера начались и пока не видно им ни конца, ни краю. А потому не будем замыкаться в рамках високосного года и попробуем выделить из хроники скандального времени нечто существенное.

«УБИВАТЬ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРОВ СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТСЯ...»

Как много безликих памятников... Один из них волею вдовы увековеченного обосновался среди парковой зелени города Хартфорда, уютной и по американским стандартам отнюдь не обойденной событиями столице штата Коннектикут. Памятник как памятник. Нечто среднеисторическое — позеленевшая за десятилетия фигура с пустым взглядом: то ли законодатель, то ли благотворитель, то ли герой, то ли купец. Не прибавляет монументу индивидуальности и кованая надпись посвящения:

«В том самом месте, которое облагородил его вкус, рядом с домом, который он любил, стоит этот памятник, чтобы поведать о его гении, его предприятии и его успехе и о его великом и преданном сердце».

Простим вдове велеречивость. Претензии — к монументалистам. Ибо в металле запечатлен для потомков не кто иной, как Сэмюел Кольт, конструктор и заводчик, изобретатель первого револьвера — пистолета с вращающимся барабаном, знаменитого шестизарядного кольта.

Американский патент был выдан изобретателю в 1836 году. Десять лет спустя, в канун войны с Мексикой, правительство США спустило заказ на первую тысячу кольтов. А далее пушки шли как по маслу.

«Правительственное покровительство,— говоря словами энциклопедии «Мак-Гроу-Хилл», — соединившись с растущей популярностью револьвера на Западе (США), где он идеально подходил к новому кавалерийскому типу военных действий, что велись против индейцев, принесли Кольту финансовый успех».

Бойня № 1 — кровавая кампания, названная «освоением Дикого Запада», оттеснение Мексики и захват Техаса проходили под знаком кольта. Но не только. В какофонии бурного американского прошлого слышен стон еще одной струны, созвучной нашему веку, вернее, отчетливо зазвучавшей в нашем веке:

«Вина за уничтожение бизонов может быть частично возложена на эффективность шестизарядного, оказавшегося в руках охотника в седле». На этот раз мы процитировали «Словарь американской истории» — так сказать, исторически очевидное и элементарное.

Эффективность кольта была выше всяких похвал.

Так наполняются историческим содержанием слова медного посвящения, соединенные друг с другом чисто по-американски: «Его гений — его предприятие — его успех».

Человек и его порождение, человек и его орудие, вырвавшееся из рук и приобретшее собственную биографию и логику. Человек и его ответственность за содеянное — хоть и по неразумению. Избежим искушения повести разговор по этому руслу. «Гений» — определение, конечно, «инфлированное», как любят здесь выражаться (от слова «инфляция», то есть раздутое, вспученное), да и никакой «гений» не способен сотворить то, что смогла маленькая ручная игрушка, извергающая даже не по мановению руки — движением пальца — шесть смертей подряд.

Памятник Кольту — человеку и револьверу... Собственно, это разные памятники. Позеленевшая от времени фигура, этакий медный дедушка на хартфордской лужайке — и монументальный список убийств, расправ и преступлений, освященных и оправданных государственным интересом или личной выгодой. Короткими, не терпящими возражения фразами из шести пуль кольт — револьвер писал историю Америки. Конечно, не Кольт совратил Америку (вроде того, как герой Марка Твена совратил Гейдельберг). Он просто пришелся ей по руке — солдатам и ковбоям, гангстерам и полицейским, тем, кто нападал, и тем, кто защищал жизнь, или честь, или имущество. Совратило Америку насилие.

Насилие было средством колонизации. Гип-гип-ура кольту!

Насилие стало формой ассимиляции. Переплавка в единую нацию шла в тигле вражды, расовой ненависти, национальной розни. В бесконечной и отвратительной дискуссии о том, какой цвет кожи или волос лучше и какая форма носа совершенней. Хвала и благодарение кольту!

В обществе, замешанном на индивидуализме, помешанном на успехе, насилие слишком часто представлялось палочкой-

выручалочкой. Чем-то вроде жизненной прямой, кратчайшего расстояния от сегодняшней бедности к завтрашнему богатству, от тяготящей безвестности к моментальной славе. На колени перед кольтом!

В пьяной ссоре или идейном споре кольт служил последним аргументом. Универсальным средством решения всех проблем. Лекарством от всех болезней. Самый наглядный образ насилия и самое популярное его орудие, он стал образом жизни и мысли.

«Бог создал человека, а полковник Кольт сделал людей равными». Так рекламирует свою продукцию компания «Кольт индастриз инкорпорейтед». «Пистолеты Кольта — правая рука мира».

Ни слова о вдовах! Кольт превратился в культ.

Впрочем, ода Кольту — не более чем увертюра, историческое вступление к современному и совершенно конкретному рассказу.

Некоторое время тому назад конгрессу США был предложен законопроект, запрещающий гражданам США убивать глав государств и правительств...

Да-да. Именно так. И это не один из тех прожектов, которыми заваливают парламенты сумасшедшие и идеалисты. Законопроект — плод анализа и размышлений специальной комиссии сената США по расследованию деятельности разведывательных органов. Текстуально предложение гласило:

«Комиссия рекомендует статут, который объявил бы уголовным преступлением для лиц, находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов: 1) устраивать заговоры внутри или за пределами Соединенных Штатов с целью убийства официального лица иного государства; 2) совершать покушение с целью убийства официального лица иного государства; 3) убивать официальное лицо иного государства».

Вот так. «Убивать чужих премьер-министров строго воспрещается!»

Да полноте, двадцатый ли век на дворе? А что же Устав ООН, элементарные нормы человеческого и межгосударственного общежития, наконец? Оказывается, общепризнанных норм недостаточно.

Увы, это не фарс. Трагедия. Автор законодательной инициативы — сенатская комиссия под председательством Фрэнка Черча — обнаружила и обнародовала по крайней мере пять случаев заговора с целью убийств иностранных политических деятелей. Жертвами покушений становились идейные противники — Фидель Кастро, Патрис Лумумба. Те, кто мешал, к примеру чи-

лийский главнокомандующий, патриотически настроенный генерал Шнейдер. Впрочем, печальный удел ждал и опостылевших марионеток вроде южновьетнамского Нго Динь Дьема или доминиканского Трухильо.

Затяжная тайная война ЦРУ против Фиделя типична как в смысле цели, так и используемых средств. Революцию пытались убить, убив ее лидера. Кто это смеет утверждать, что в ЦРУ — кризис идей? Предлагалось: во время публичного выступления Фиделя по радио распылить в студии некое химическое вещество. Передать ему на трибуне сигару, пропитанную одурманивающими химикалиями. Да что там сигару — лучше целую коробку сигар, на этот раз с ядом, — такой подарочек в начале 1961 года изготовили по спецзаказу в лаборатории ЦРУ. Еще один данайский дар — костюм для подводного плавания, начиненный заразой. В разные моменты планировалось также подложить Кастро авторучку со смертоносной иголкой, подбросить мину-раковину. И прочая, и прочая... А однажды ЦРУ даже нанимало двух хорошо известных в преступном мире гангстеров Джанкано и Росселли для убийства кубинских руководителей. Ставка за «мокрое дело» — 100 тысяч долларов.

Подумать только, какая грязная, низкая и при всем при том убогая фантазия!

Но оставим в покое детектив. Как ни характерны оргдетали, важнее идейный пласт, вдохновлявший заговорщиков, — «амораль» ЦРУ.

В докладе комиссии Черча содержится немало любопытных свидетельств и документов. Один из них просто обескураживает своим откровенным, я бы сказал, бесхитростным цинизмом. Это «производственная характеристика», которую африканский отдел ЦРУ выдал своему агенту в 1960 году:

«В принципе он знаком с понятиями «допустимого» и «недопустимого». В нравственном отношении задание может выглядеть недопустимым в глазах всего света, но если приказ отдаст его непосредственный начальник, оно автоматически станет допустимым и он будет действовать должным образом, чтобы выполнить задание, не испытывая при этом ни малейших укоров совести. Словом, он способен оправдать любые действия».

По мнению ЦРУ, это положительная характеристика. Агент с такими безупречными данными рекомендовался для убийства Патриса Лумумбы.

Жизнь — не литература. Борьба добра и зла редко бывает так явно отретушированной. Но вот ведь, оказывается, бывает. По одну сторону — Патрис Лумумба, чистый и бесстрашный

рыцарь пробудившейся Африки. По другую — человеческий отброс, наемник без стыда, без совести, без морали. Без имени даже — агент WI/ROGUE, как значится в докладе.

Сами за себя говорят и общие рекомендации, что были вынесены на суд сенаторов: как не вести себя в будущем. Публичные документы послеуотергейтской поры вообще отличает некоторая назидательность. Доклад комиссии Черча местами напоминает урок в воскресной школе, проповедь с амвона.

«Мы пришли к заключению, что официальные органы США не должны в своих операциях прибегать к услугам деятелей преступного мира, какими бы уголовными талантами те ни обладали. Помимо разлагающего влияния на само правительство, использование представителей преступного мира сопряжено со следующими опасностями...» (Возможность для преступников шантажировать правительственные органы и т. д. Всего пять пунктов.)

«Правительство — могущественный и вездесущий учитель. Плохо ли, хорошо ли, но своим примером оно учит общественность. Преступление заразительно. Если правительство само преступает закон, оно воспитывает презрение к закону... Стоит признать... что цель оправдывает средства, что правительство вправе совершать преступления... и это обернется ужасными последствиями».

Конечно, Центральное разведывательное управление США — не институт благородных намерений, а ведомство с вполне определенными функциями. Но должен же быть предел падению. Деятельность ЦРУ, послужившая предметом разбора сенатской комиссии, не просто роняла эту страну в глазах мира. Даже в самом практическом смысле, с точки зрения нужд той государственной политики, которую она призвана обслуживать, привычка, превратившаяся в инстинкт, — вмешиваться повсюду с кольтом на бедре и кинжалом под полою — принесла США огромный урон.

«Убивать премьер-министров строго воспрещается...»

Наверное, по-своему полезна любая мера, направленная против преступления. И все же наивность и недостаточность законодательной рекомендации была заведомо очевидна. Покушение на Фиделя Кастро готовил ведь не просто тот сотрудник секретной лаборатории, что изобрел новый сорт антигаванских сигар — с начинкой из яда. Агент WI/ROGUE, быть может, лично ничего и не имел против Патриса Лумумбы. Главное, что и тот и другой представляли ЦРУ — официальное агентство Соединенных Штатов Америки. Да и ЦРУ при всей самопро-

пзвольности не само формулирует стратегические задачи и установки. Недаром комиссия Черча установила, что ряд президентов США имели самое прямое отношение к вышеупомянутым акциям.

Тайная война ЦРУ — это продолжение политики США другими средствами. Так что дело в политике, а не в юриспруденции. Саму политику насилия пора поставить вне закона!

«...Интересно знать, включаются ли в статистику преступлений, составляемую ФБР, преступления самого ФБР?» — такой вопрос направил в редакцию журнала «Тайм» «наивный» читатель.

Скандал не приходит один. Сиамские близнецы могут злобно ругаться и даже пытаться отмутузить друг друга, но сросшиеся спины и единое кровообращение делают их подверженными общим простудам и инфекциям. Вслед за ЦРУ публичный позор разоблачений обрушился на ФБР.

Ниже дна не упадешь. В случае с Мартином Лютером Кингом, однако, Федеральное бюро расследований побило многие рекорды низости. В 1964 году лидер черных получил анонимку: «Кинг, —говорилось в ней, — у тебя остался один-единственный выход. Ты знаешь какой. У тебя ровно 34 дня, чтобы осуществить это... Ты кончёный человек. Другого пути у тебя нет».

Это была недвусмысленная попытка толкнуть Кинга к самоубийству, подкрепленная второразрядным шантажом. Вместе с письмом была прислана записанная «жучком» (подслушивающей аппаратурой) магнитофонная пленка — выкраденный кусочек интимной жизни Кинга, которую «неизвестный доброжелатель» грозил предать гласности.

Черновик подметного письма обнаружили потом в архивах ФБР, так что спора об авторстве не возникает. Вскоре в Осло страстному проповеднику против расизма должны были вручить Нобелевскую премию мира. Срок на самоубийство был отпущен с гарантией, что вручение не состоится.

Кинг пренебрег угрозой, его семья оказалась выше грязных инсинуаций. Борец не отказался ни от премии, ни от принципов, ни от продолжения борьбы.

За кулисами грязной провокации находился Гувер.

В американской прессе стали реалистичней писать о личности человека, который в течение 48 лет был бессменным главою охранки. Печать словно очнулась от полувекового забытья. Несколько новых штрихов к старому портрету дал, в частности, журнал «Тайм».

«Бюрократический гений, который заботился не столько о

борьбе с преступностью, сколько о том, как раздуть свой образ борца с преступностью...»

«Он занимался подслушиванием телефонных разговоров правительственных служащих, составлял досье на политических деятелей, распространял порочащие их слухи...»

«Его шпионы, просочившиеся в экстремистские группы, порою не предотвращали, а вызывали еще большие вспышки насилия...»

«В среде ФБР царила атмосфера глубокого цинизма. Правила нарушались — лишь бы не поймали за руку. Агенты шпионили друг за другом. Даже стенографисток поощряли писать доносы — при желании в анонимном порядке...»

Таково общественное лицо Гувера. А вот черты характера:

«В течение двадцати лет он и Толсон (первый заместитель и единственный близкий Гуверу человек, недаром именно ему Гувер, не имевший ни жены, ни детей, ни подобия семьи, завещал наследство) почти каждый вечер ужинали в одном из вашингтонских ресторанов, где у них был свой столик. Счета им не подавали. Когда новый владелец ресторана впервые прислал месячный счет, Гувер отказался от двадцатилетней привычки...»

«Гувер просто-напросто прикарманил гонорар за изданную массовым тиражом книгу об американских коммунистах, хотя она была написана агентами ФБР в рабочее время»*.

«По каждому поводу и без повода Толсон устраивал среди высших чинов ФБР сбор подношений директору. Тот, кто оказывался недостаточно сообразительным и щедрым, брался на карандаш...»

«В биографической книге «Директор», посвященной Гуверу, бывший замдиректора Салливан дает ему такую характеристику: «Он никогда не читал... У него не было ни единого интеллигентного или хотя бы образованного приятеля. Как и у Толсона. Они жили в своем собственном странном мирке...»

Вот кто преследовал «апостола ненасилия». Мало ему было подметных писем и подпольных подлостей. Он посмел публично обозвать Кинга последними словами. Он лично давал указания «стащить Кинга с пьедестала», не понимая, что в отличие от хартфордского истукана и ему подобных памятник, который воздвиг себе Кинг, нерукотворный. Писали, что даже в мемфисском мотеле «Лорейн», где его нашла пуля убийцы, Кинг оказался не без вмешательства Гувера. Сначала ему сняли комнату в другом месте, но охранка тут же распустила подленький

* Книга, естественно, антикоммунистическая. Речь, однако, о другом: антикоммунист был еще и нечист на руку.

слушок, что тем самым лидер черных якобы тайно поддерживает белых хозяев гостиницы. И ему пришлось съехать.

Доказательством того, что ФБР стремилось «убрать» Кинга, служит не только «приглашение к самоубийству». В заключительном докладе комиссии Черча, в частности, содержится следующее признание:

«Еще в начале 1963 года центр (ФБР) дал на места указание уничтожить д-ра Кинга, рассматривая его как потенциального «мессию», который мог «объединить и возбудить черное националистическое движение». «Действительно, для ФБР, — говорится далее в докладе, — Мартин Лютер Кинг представлял потенциальную угрозу, так как мог «отказаться от своей предполагаемой приверженности белым либеральным доктринам (ненасилию)». Другими словами, чтобы сторонник «ненасилия» не отказался от ненасильственных методов, его следовало уничтожить».

Убийственная логика!

Борьба добра со злом, к сожалению, слишком часто приобретает весьма односторонний характер травли добра злом Благородство не позволяет опуститься до грязных методов противника. Да и по-другому нельзя, иначе неминуемо поражение еще худшее — перерождение. Что, впрочем, служит слабым утешением в реальной жизни. Крысиная возня ФБР отнимала силы и время, убивала Кинга. Но он оставался выше гуверовской грязи и интриг. У него была другая, более грандиозная цель — равенство, ибо у его народа был другой, куда более могущественный и всепроникающий противник, чем даже ФБР, — расизм. И в этом — величие Мартина Лютера Кинга.

Давайте не пожалеем времени и еще раз вдумаемся в формулу столкновения.

Мечтатель, борец, одухотворенный большой идеей, пророк — на одном полюсе. Человек, которому ничто человеческое не было чуждо.

А на другом — профессиональный и принципиальный держиморда, садист. Человек с патологическими отклонениями в политике и быту.

Как могла Америка пасть до такого конфликта? А точнее, как могла допустить, чтобы ее официальный образ узурпировали преступившие закон юридический и моральный? Чтобы ее совесть и честь хладнокровно растаскивали на глазах у страны и мира? Как могла спутать свою славу и свой позор?

И как, наконец, человек, полвека тому назад назначенный на свой отнюдь не самый великий пост, мог в демократической стране забрать такую власть, что его боялись и президенты?

Механика известная — он шантажировал всех, включая первых лиц государства. На каждого он собрал досье, которое мог пустить в ход при первом признаке угрозы собственной карьере.

(Показательна судьба этих досье. По личному распоряжению Гувера они хранились в здании загородного клуба, где высшие чины ФБР играли в покер с высшими чинами ЦРУ — вот уж, наверное, мировое было первенство... После того, как «Директор» умер, непоколебленный на своем посту, документы сожгли в каминной печи клуба. Нужда в них отпала. Гувер уже не мог греть на них руки. Однако, видно, одного сожжения показалось мало, и в воскресную ночь, перед тем как в клуб для знакомства с архивами собралась нагрянуть комиссия конгресса, дом сгорел. Дотла. Причина пожара, естественно, «не установлена».)

Гувер держал по персональному камню за пазухой против всех, от кого зависело непрерывное благоденствие его самого и агентства, которое он возглавлял. И все же шантаж против конкретных лиц — только маленькая частность, как бы ни был велик его масштаб. Десятилетиями Гувер шантажировал всю Америку. Орудие, которым он пользовался с неизменным успехом, называлось антикоммунизм. Лучшего жупела, начиная с конца второй мировой войны, и даже первой — и до наших дней, было не найти.

В докладе сенатской комиссии содержится следующее характерное признание: «Заговоры (с целью убийства иностранных руководителей) имели место в обстановке холодной войны...»

Это, собственно, название целой главы доклада. Вот что в ней говорится:

«Комиссия полностью осознает, что заговоры с целью убийства важно оценивать в том историческом контексте, в котором они имели место. В предисловии к этому докладу мы описывали представление, которое было широко распространено в Соединенных Штатах в годы холодной войны — о том, что нашей стране противостоит монолитный враг в лице коммунизма. Это представление помогает объяснить природу вскрытых нами заговоров с целью убийства, хотя оно не оправдывает их. Тем не менее представляется, что лица, замешанные в заговорах, верили в то, что они действовали в интересах своей страны».

Так, пытаясь хотя бы частично реабилитировать исполнителей из ЦРУ, доклад сенатской комиссии фактически вынес моральный приговор «холодной войне». Каковы бы ни были лич-

ные намерения тех или иных деятелей, «холодная война», антикоммунизм, логика конфронтации приводят в конечном счете к чудовищному ослеплению, потере ощущения реального, а это особенно опасно для тех, кто прокладывает курс государственного корабля.

«Холодная война» размывает общественную мораль. Признать убийство в качестве средства проведения политики! — подобное не проходит бесследно.

Еще в 50-е годы другая специальная комиссия вынесла президенту США такие официальные рекомендации по вопросам, связанным с тайной деятельностью: Соединенные Штаты могут применять тактику «более безжалостную, чем та, которую применяет противник»... «Традиционное американское правило честной игры должно быть пересмотрено».

Но, может быть, есть две морали — одна на вынос, а другая для внутреннего употребления? И закрывая глаза на преступления за рубежом, американцы могут наслаждаться плодами «честной игры» у себя дома? Вечная иллюзия обывателя. Ибо нельзя быть чистым наполовину. Преступления ФБР против американцев — вторая половина той истории, первую половину которой составляют преступления ЦРУ против мира. Это одна монета.

ЦРУ и ФБР. Орел и решка.

Охоту на Кинга представитель ФБР Эдемс в заявлении сенатской комиссии объяснил намерением «определить, не оказывалось ли на него коммунистического влияния». Ну и как, спросил Черч, удалось ФБР обнаружить, что Кинг коммунист? Сенатор не собирался шутить, однако слова его прозвучали неприкрытым сарказмом. «Нет, не удалось», — тоскливо промямлил Эдемс.

«Ни одно собрание, как бы немногочисленно оно ни было, ни одна группа, даже самая незначительная, не обходились без внимания ФБР», — заявил член комиссии сенатор Мондейл. Вот цифра, дающая представление о размахе операций внутри страны. С 1956 по 1971 год ФБР в соответствии со своей контрразведывательной программой осуществило 2300 акций, объектами которых стали сотни тысяч граждан. «Оправданием» грубейшим нарушениям демократических прав служил антикоммунизм.

В ревизованных прессой житиях Эдгара Гувера проскользнула на первый взгляд неожиданная мысль о том, что «Директор» вовсе не был убежденным антикоммунистом, он просто спекулировал на «коммунистической опасности». Трудно сказать с определенностью, так это или не так. Но, если это так,

тем хуже для Америки. Ее не просто сбили с толку идеологические фанатики, ее обвели вокруг пальца люди, сами не верящие ни во что. Провели на мякине антикоммунизма.

У Марка Твена в «Янки при дворе короля Артура» есть сцена, вдвойне забавная в контексте этих заметок. Герой приезжает в монастырь, где встречает толпу неумытых монахов. Давным-давно святой колодец прохудился. Вместо того чтобы починить источник, монахи удовлетворились таинственными пояснениями старого шарлатана и мистификатора Мерлина. И все настолько заворожены намеками на потусторонние силы, что даже и трезвому янки приходится многозначительно изречь: «Правда то, что этот колодец действительно околдован духом с русским именем...»

«Дух с русским именем...» В годы «холодной войны» именно так объясняли истоки проблем внутренних и внешних профессиональные либо добровольные отравители колодцев. Причем жертвами мистификации оказывались в конечном счете не только неумытые послушники. Газета «Нью-Йорк таймс» свидетельствует: президенты США Джонсон и Никсон в свое время поручали ФБР разобраться, «не стоят ли тайно русские за гражданскими беспорядками в США». Вряд ли подобный «духоборческий» подход способствует устранению реальных причин «гражданских беспорядков».

Счет «холодной войне» в том, что в XX веке она возродила климат средневековья с его невежеством и ненавистничеством, возвращала людей в предрассудочное состояние.

И вот откуда, в частности, беспредельная власть Гувера. Если во всем виноват «дух с русским именем», «коммунистический дьявол», «красная опасность», то изгоняющему дьявола не прекословят, какую бы дикость он ни предложил. Он может творить, что бог на душу положит.

...Ну а как же с законодательными предложениями, содержавшимися в выводах комиссии Черча? «Давно прошли времена возмущенных обвинений в эксцессах по адресу американской разведки, которые характеризовали слушания этой комиссии во главе с Черчем, — меланхолично заметил журнал «Бизнес уик» в последний день 1979 года. — И самые решительные критики ЦРУ в этой комиссии успокоились...» А газета «Нью-Йорк таймс» тоже под занавес уходящего года предоставила свои страницы экс-разведчику, а ныне «ученому» Рею Клайну. Что же предлагал этот бывший практик и сегодняшний академик темных дел?

«Во-первых, отказаться от названия ЦРУ». «К сожалению, — сетовал он,— это название стало для нас обузой за границей».

Прекрасно, а во-вторых? В-третьих и так далее? «Довести до нового совершенства» подразделения в нескольких разведывательных органах... «Те, занимающиеся сбором разведывательных данных ведомства, которым часто приходится нарушать законы других стран, должны быть оформлены в качестве независимых организаций в государственном департаменте, в министерстве обороны или в других министерствах кабинета, связанных с деятельностью нашей страны за рубежом, как, например, министерствах финансов, торговли, сельского хозяйства». «Такие виды деятельности, как проведение зарубежных операций с участием тайных агентов, перехват радиосообщений, а также воздушная и подводная разведка с применением технических средств, должны проводиться исключительно профессионалами... Зарубежный персонал таких организаций должен быть обеспечен солидным дипломатическим прикрытием».

Комплексы стыдливости прошли уже при Картере. При Рейгане разведывательное «сообщество» реваншировало окончательно. «Тайные операции являются составной частью деятельности властей.— Этот президент был откровенен как никто из его предшественников.— Страна, полагающая, что ее интересы наилучшим образом обеспечиваются проведением тайной деятельности, имеет право на такую деятельность». Убивать премьер-министров уже не возбраняется... И словно бы выданной индульгенции показалось мало, один из летних дней Рейган объявил своеобразным профессиональным праздником — Днем ФБР. По-видимому, остальные считаются Днями ЦРУ.

«УОТЕРГЕЙТСКОЕ» НАСЛЕДСТВО

Что лучше: когда скандалы — редкость или когда они следуют непрерывной чередой? Странный вопрос. Но не торопитесь с выводами. Новый шум плох, но он уже тем хорош, что заглушает старый. Как сказал поэт, «былая страсть поглощена могилой — страсть новая ее наследства ждет». Страсти вокруг тайной деятельности бизнеса и явной — разведки делили «уотергейтское» наследство. «Уотергейт» не похоронен. И без него хроника скандальных времен окажется не просто неполной — лишенной важного измерения. Недаром все последующие скандалы равнялись на него: «Кореягейт», «Ирангейт», «Биллигейт», «Рейгангейт»...

В разгар избирательной кампании 1972 года, в ночь на субботу 17 июня, молодой черный охранник обнаружил непорядок в одном из помещений Уотергейта — комплекса гостиничных номеров и административных помещений, сдающихся в наем.

Он вызвал полицию... Говорят, что так началось «Уотергейтское дело». Или «дело о водопроводчиках», так как пятеро задержанных принадлежали к секретной команде, обязанной не допустить утечки информации о деятельности руководства республиканской партии. Или дело о подслушивании в штаб-квартире демократов, которая находилась в этих помещениях. Те, кто нанял «водопроводчиков», решили во избежание утечки своей информации провести канал к информации чужой, для чего в святая святых партии конкурентов установили подслушивающую аппаратуру. Что-то в ней забарахлило, и в тот тихий час срочно вызванная бригада «водопроводчиков» ее ремонтировала — естественно, без ве́дома хозяев квартиры. Ох и отольется честной компании этот неназойливый ночной сервис...

К слову сказать, дальнейшая судьба черного охранника сложилась было незавидно. Несколько раз он оказывался на улице. Хозяева решали, что известность, которую он поневоле приобрел, превышает его скромные функции. Так появилась еще одна — косвенная — жертва «Уотергейта». Правда, в конечном счете, которым оказывается банковский счет, молодой охранник вполне в духе американской традиции сумел претворить тронувшую его удачу в более ощутимые крохи. Так что жалеть его не приходится. Как впрочем и большинство прямых «жертв» «Уотергейта», не оставшихся в накладе от своего позора. Все они с одержимостью старателей бросились писать книги, выступать с лекциями, делиться покаянно-морализующими воспоминаниями о происшедшем, виновниками которого им посчастливилось быть. Спрос на «уотергейтские» мемуары оказался огромный, а им вроде бы и карты в руки, они ведь стояли у «истоков». Чем ближе к позору, тем дороже. Бесславие — та же слава, только с другим знаком, что, впрочем, ни на качестве, ни на количестве денежных знаков не отражается. Преступники превратились в первоисточники.

Ну а если бы охранник не заметил плохо закрытой двери, прозевал бы свой звездный миг — что тогда? Не было бы эпидемии падучей, поразившей высший аппарат исполнительной власти США? Не было бы отставки президента под угрозой неминуемого «импичмента» сначала и последующего уголовного преследования потом? Не было бы гигантского политического скандала, получившего название «Уотергейтского дела»? Впрочем, в вопросе этом в действительности два вопроса: чего не было бы — личной драмы политика Никсона или социально-политической драмы Америки? В первом еще могут быть сомнения, второе выглядит неизбежностью. Хотя и первое обрело характер необратимый в тот момент, когда Ватерлоо Ричарда

Никсона стало формой поражения (но и «искупления»!) системы.

Впрочем, об этом позже, а пока зададим наивный вопрос: а что, собственно, произошло непривычного для этой страны? Ну да, ближайшие сотрудники президента скомандовали установить «жучки» у конкурентов, а президент потом старался замазать это дело. Не очень чистое дело, ничего не скажешь, но американская политическая история знает ситуации похлеще.

И кстати, если уж раскапывать уотергейтскую историю, стоит вспомнить, что первоначально публика на нее вовсе не прореагировала. За месяц до выборов 1972 года институт Гэллапа провел опрос. Его итоги резко контрастируют с хрестоматийной ныне картиной вулканического возмущения, охватившего Америку. По тогдашним сведениям, 52 процента опрошенных слышали об «Уотергейте» и республиканских денежных махинациях, однако каждые четверо из пяти не считали это достаточно веской причиной, чтобы не голосовать за Никсона.

То, что в момент свершения не было сочтено даже за преступление, позже единодушно было осуждено как заслуживающее высшей меры наказания.

Задним числом, вспоминая последние полтора года нахождения в Белом доме Ричарда Никсона, видишь, с какой неотвратимостью сжималось вокруг него кольцо, с какой последовательностью выбивались подпорки из-под его кресла. Один за другим и чем дальше, тем выше — целый эшелон сотрудников Белого дома, включая всесильных помощников президента Холдемана и Эрлихмана, а также бывший министр юстиции Митчелл, были обвинены в причастности к «Уотергейту», признаны виновными и получили различные сроки заключения. Под тяжестью уголовных обвинений ушел в отставку вице-президент Спиро Агню, бывший рупор Никсона и одна из главных надежд республиканцев в преддверии следующих выборов. Тут же обвинение во взяточничестве оказалось выдвинуто в адрес Коннэлли, которого прочили в вице-президенты на место Агню. Для Никсона это был даже не последний звонок, а отпевание при жизни. Следующей жертвой должен был стать он сам.

Кто стоял за всей этой гениально спланированной и безупречно проведенной — именно такой она представляется в ретроспективе — кампанией? Кто превратил традиционный скандал в национальную драму?

Два молодых репортера из той породы, которую ноги кормят, Карл Бернстайн и Боб Вудворд раскопали с л у ч а й в Уотергейте. Газета «Вашингтон пост» превратила случай в п р о и с ш е с т в и е. Под нажимом зашумевшей прессы конг-

ресс США сделал из происшествия «д е л о». Телевидение придало судебному делу размах общенационального с о б ы т и я. И так далее... Накопление взрывчатого материала шло лавинообразно, пока масса не стала критической. Случай в Уотергейте вылился в «Уотергейтский к р и з и с». Однако атомного взрыва удалось избежать: общественная реакция оказалась в итоге все же управляемой. «Уотергейтский кризис» удержали на стадии «Уотергейтского дела», превратив его в з р е л и щ е. Ежедневными заклинаниями, массированным внушением телевидение и пресса вдолбили в сознание американца, что он не участник социального катаклизма, а зритель личной драмы президента, кстати, весьма увлекательной, хватающей за живое. Общественность низвели в публику. Объективное подменили субъективным.

Конечно же, кратчайший путь к истине следует искать в сфере надличностной, но раз так, попробуем организовать поиск с другого конца, отталкиваясь от личности самого падшего президента.

Ричард Милхауз Никсон... Во всей американской истории мы, наверное, не найдем другого политика, которого бы так трепали штормы политической жизни. Амплитуда колебаний в его карьере просто поразительна. Взлеты и падения чередовались с ошеломляющей частотой и закономерностью. Не раз ему приходилось заявлять, что с него хватит, что отныне он выходит из игры. И даже книгу о своей жизни он назвал «Шесть кризисов», не зная еще, что и самая крупная его победа и самое крупное поражение — на этот раз последнее — впереди. Быть может, можно найти прецеденты в этой стране, исповедующей культ Успеха, чтобы политик с такой репутацией неудачника выиграл президентские выборы. Но беспрецедентно, чтобы политик, выигравший двое президентских выборов, был вынужден уйти в отставку.

Самая знаменитая книга об «Уотергейте» сошла с машинки Бернстайна и Вудворда, отныне вознесшихся если не в пантеон американской журналистики, то в «пентхауз» — на высшие ее этажи, что, естественно, более удобно. И называется она «Вся президентская рать». (Кстати, сначала книга вышла кусками в журнале «Плейбой», вложившем таким образом свою лепту в падение Никсона, а позже даже была экранизирована. По первому классу. Вудворда играл Роберт Редфорд, Бернстайна — Дастин Хофман, суперактеры современного американского кино. Дальше уже было некуда. Возведение в «звезды» стало зримым фактом). Книга, естественно, документальная, но в названии — очевидный переклик со «Всей королевской ратью».

Политика и мораль, сочетание целей и средств — ход рассуждений подсказан.

Вся президентская рать...

Конечно же, такая характеристика будет неполной, и все же. Успехи и поражения, все беды и победы Ричарда Милхауза Никсона проистекают из одного и того же корня. Он был прагматик до мозга костей, он поступал только так, как выгодно. Но поскольку прожил он в политике долгую жизнь, понятия того, что выгодно, менялись не раз. Вместе с ними менялась и его позиция. Во время избирательной кампании 68-го года в прессе появилось определение «новый Никсон» в отличие от «старого Никсона», каким он был во времена своего конгрессменства, а затем вице-президентства при Эйзенхауэре. Терминология эта должна была объяснить, как политик, сделавший карьеру на оголтелости — маккартизме и антикоммунизме, в конечном счете подошел к внешнеполитическому реализму, к признанию разрядки. Она не могла этого объяснить, но видимость объяснения в виде термина давала. Так, кстати, часто бывает: вместо того, чтобы вскрыть причины и истоки явления, ему дают прилипчивое название, и публика уже не считает себя обделенной. С «Уотергейтом» случилось именно так.

О «беспринципности» бывшего президента, о зигзагах и поворотах его пути писали, как о чем-то беспримерном. В Англии даже поставили пьесу по мотивам шекспировского «Ричарда III», осовременив ее за счет фигуры нового американского Ричарда и уотергейтских деталей. Но ведь зигзаги и повороты были свойственны Никсону всегда, просто внимание публики на этом не акцентировалось, тем более столь массированным способом. В 1971 году, помнится, в Нью-Йорке шел документальный фильм «Милхауз», жанр которого многозначительно определяли слова подзаголовка: «Белая комедия». Ричард Милхауз Никсон — главный и единственный герой ленты. Авторы использовали простой, но безотказный прием — собрали речи Никсона, произнесенные в разные времена, и столкнули их. Эффект оказался убийственным. Слова противоречили друг другу и, главное, следовавшим за ними делам. Клятвы торжественно произносились, чтобы тут же оказаться нарушенными. И все же по-своему это было логичное поведение. Политика Ричарда Никсона всегда отличало великолепное чутье на конъюнктуру, он чувствовал, «что надо», что требуется именно в данный момент. А в каждый данный момент требовалось неодинаковое, а порой и просто противоположное тому, что требовалось еще вчера. Во время, совпавшее с последним этапом его карьеры, прямая конфронтация между Западом и Востоком,

между США и СССР стала слишком опасной. Нужен был реализм. Его диктовали сложные интересы экономики, внешней политики, политики внутренней, наконец. И Ричарду Никсону пришлось взглянуть в глаза новой действительности. Факт признания разрядки администрацией Никсона останется в мировой истории, как впрочем останется в американской истории и «Уотергейт».

...Однако то, что составило его силу, предопределило и слабость Никсона. Каждый поворот порождал не столько новых союзников, сколько новых противников, в том числе из старых союзников.

Против республиканского президента были, естественно, демократы, жаждущие посрамления конкурента и реванша.

Против президента, игнорировавшего конгресс, тем более что большинство в нем принадлежало представителям чужой партии, выступили конгрессмены. Конгресс не желал быть задвинутым на второй план.

Мало того, против президента, создавшего аппарат все решающих и, главное, на все готовых помощников — эдаких «Крошек Дафи», выступили те, кто увидел в этом «теневом кабинете» ущемление прав законного правительства. Заговорили в полный голос об «имперском президентстве».

Против консервативного политического деятеля всегда была настроена либеральная интеллигенция. Она не забыла «охоты за ведьмами» бывшего конгрессмена от Калифорнии, как не забыла и грубых нападок на интеллигенцию более позднего времени, правда, осуществлявшихся главным образом устами Спиро Агню. Это еще можно было пережить, но...

Против президента оказались и многие консерваторы, решившие, что их обманули. Они не приняли реалистических шагов, а прагматизм сочли за предательство.

Против президента оказалось влиятельное «произраильское лобби». В переговорах с Советским Союзом, а также в попытке ввести в ближневосточную игру Вашингтона арабские карты они узрели опасность для своего клиента.

Против президента были настроены черные американцы. Политика администрации в расовом вопросе отличалась реакционностью...

И так далее.

Какой принцип мог объединить эту разношерстную компанию? Никакой. Только общность цели, определяемой различными, даже взаимоисключающими посылками. Ричарду Никсону суждено было погибнуть от собственного меча. Одни принимали внешнюю политику Никсона, отвергая его внутреннюю по-

литику. Другие, напротив, отвергали внешнюю политику, принимая внутреннюю. И даже не так просто, а гораздо более фракционно, дробно... Но конкурируя друг с другом за власть, разные силы сошлись в одном — в отвержении Никсона. И тогда скальп президента стал призом в схватке политических племен. Только кому он достался?

Кому это выгодно? В конечном раскладе вопрос свелся к своей классической постановке. И тут пора высказать долю сомнения: а там ли мы ищем? В драмах американской жизни, действительно обладающих, как правило, тугим острозакрученным сюжетом, — мы слишком часто ищем непременно «детективной» развязки. Самый яркий пример этого рода — трагедия другого президента США — убийство Джона Кеннеди. Вот уже два десятка лет прошло с того дня, а публика все ждет, когда же скажут правду об «убийстве века». Под «правдой» имеется в виду, конечно же, разоблачение конкретного «заговора»... Официальный доклад комиссии Уоррена не удовлетворяет. В самом деле вывод об «одиноком убийце» Ли Харви Освальде выглядит таким простецким. А публицист Уильям Манчестер, так тот в книге, переведенной на русский язык, пишет вообще смехотворные вещи, опираясь на приговор комиссии Уоррена. О том, что в критический миг убийцей двигало... желание доказать жене и миру, что он — Мужчина! (Дескать, уязвленное самолюбие мужа, отвергнутого собственной женой, наложилось на крайнюю оскорбленность человека, которого мир не понимает, и... произошел взрыв.)

В выводах комиссии Уоррена действительно немало неясностей и противоречий. И если завтра выяснится, что за убийством Кеннеди определенно стоит заговор — нефтяных магнатов или неких «ультра» или «мафии», это был бы действительно факт огромной разоблачительной силы. Но ведь вывод комиссии Уоррена, в сущности, куда страшней, если только расшифровать истинный его, хотя и невольный, социальный смысл. Если все действительно так, как нам сообщили официально — именем самой американской власти, то, значит, любой «одиночка» — фашист или маньяк по какой-то одному ему известной и потому абсолютно непредсказуемой причине вплоть до действительно самой вздорной, может в любую секунду перекроить историю. Как? Очень просто — нажав курок. Так получается... Ситуация словно заимствована из мрачноватого романа-предупреждения: общество, постоянно находящееся под оптическим прицелом. Никогда не известно, с какой стороны грянет выстрел и кого он поразит. Это, однако, не фантастика, но оборотная сторона «равенства по Кольту». Вспомним: когда су-

масбродка· Алиса Фромм по кличке «Пискля» пыталась осенью 75-го года выстрелить в Джеральда Форда, но по неопытности не совладала с «машинкой» — кольтом 45-го калибра выпуска 1914 года, в прессе появилось сообщение о том, что в ФБР имеется список в 47 тысяч человек, признанных опасными для президента США. Жуть какая-то. Но самая жуть ведь заключается в том, что стрелявшая «Пискля» в этот 47-тысячный список не входила... Заговоры — штука опасная, и все же с заговорами можно бороться. А как бороться вот с этой неразличимой и многоликой, из любой дыры сочащейся опасностью? При всех гигантских достижениях в разных областях американское общество предстает перед миром организмом, в котором под оболочкой политической цивилизации обнаруживается агрессивная, темная, кипящая стихия.

Низвержение Ричарда Никсона, наверное, можно назвать «политическим убийством», но формальным этим образом параллели исчерпываются. Правда, остается вопрос о подходе: где, в какой сфере искать виновников. Искать ли заговор или попробовать приподняться над путаницей бесчисленных следов. Кому это выгодно?

Как ни странно, ответ будет прост: наверху — всем! Ко дню отречения у Никсона уже практически не было сторонников в «коридорах власти». Но ведь совсем недавно, в 1972 году — когда, кстати, и произошел сам уотергейтский взлом,— он выиграл выборы с небывалым преимуществом, завоевав большинство в 49 из 50 штатов. Формально есть основания говорить о «невиданной популярности» Никсона, но не будем столь наивны и сделаем более корректный вывод: значит, тогда он был нужен — почти всем, большинству обитателей могущественных «коридоров». Меньше чем за два года триумф обернулся катастрофой. Почему? Из «спасителя отечества» Никсон превратился в его «погубителя», в анафему общества, но сам-то он не изменился ни на йоту. Следовательно, круто изменилось что-то другое. Этим «что-то» была вся обстановка. Кризис, который долго вызревал в недрах американского общества, разразился.

ЗАКАТ ИМПЕРИИ, ИЛИ ПИСЬМЕНА НА СТЕНЕ

Но какой кризис? Его симптомы:

Во внешней политике два совершенно очевидных и недвусмысленных.

Несостоятельность голой силы. СССР и США достигли состояния «стратегического равенства» — вот что переменило всю международную обстановку. И это в условиях, когда каждая из

двух стран обладает ракетно-ядерным потенциалом, способным превратить в костер эту небольшую планету. Наступил качественно новый этап. Большая война перестала быть альтернативой миру даже для тех, кто непрочь ее испытать как средство достижения империалистических целей.

Война — продолжение политики иными средствами. Это было сказано в другом веке. Ядерная война — крах всякой политики.

Но все вышесказанное подводит и к выводу о принципиальной несостоятельности «холодной войны». Сильный слабого может шантажировать. Равный равного — нет. В создавшихся условиях стратегического равенства разум подсказывает: единственное направление движения — разрядка.

Вслед за провалом глобальной «холодной войны» — фиаско США в локальной «горячей» вьетнамской войне. Из поражения можно извлечь верные и на будущее полезные уроки, оно может привести к очищению, катарсису, но болезненные скачки температуры неминуемы. Реакция Америки была лихорадочной. Ее бросало то в жар, то в холод.

«Это была ошибка», — скажет Генри Киссинджер. Сколько противоречивого смысла и даже взаимоисключающих смыслов впитает в себя эта официальная эпитафия долгосрочной политике Вашингтона. Годы тянулась вьетнамская война. 46 тысяч американских жизней (и миллион вьетнамских, но чужих в Америке не считают), 300 тысяч раненых. Сотни тысяч беглецов, не желавших воевать в далеком Индокитае — из принципа, из жалости к себе или даже из страха, но не желавших и потому разошедшихся со своим государством. Миллиарды долларов на «свинцовый ветер», как говаривал Уленшпигель. Таковы человеческие и материальные убытки.

Велик и моральный дефицит.

Все эти годы официальная пропагандистская машина с упорством и изобретательностью работала на оправдание грязной войны. Доводы приводились самого высокого порядка. Мировоззренческие — «идет борьба миров», «во Вьетнаме Америка защищает свободу и демократию». Патриотические — «гордость за свой флаг», «права твоя страна или не права, но это твоя страна»... Не говоря уже о низком жанре — шовинистических и расистских шапкозакидательских лозунгах. Чего стоили все эти дорогие заветы и дешевые заповеди? Выяснилось, ничего! «Это была ошибка». Не «преступление» — на такое признание рассчитывать не приходится, да прагматики и не знают нравственной меры,— и все же «ошибка»! Ставка на силу обернулась бессилием.

Что должен был чувствовать «ура-патриот», вскормленный на мысли о том, что Америка — самая богатая, сильная и всемогущая страна, и оказавшийся у разбитого корыта? Или человек, искренне веривший, что он живет в самой свободной стране, и увидевший, как его обманули? Или... Такие вопросы можно задавать бесконечно и ответы будут бесконечно разнообразны. В осадок выпадет и горечь, и разочарование, и блестки надежды, и ярость отчаяния, и реализм, и шизофрения. Жизнь — мир вокруг — заставляла взяться за ум, но это было банкротство, а банкротство никогда еще и никому не доставляло радости.

Внутри страны явились свои письмена на стене. «Великие убийства» 60-х годов повергли страну в шок, но «изолированными эпизодами» они не были. Вся система власти сотрясалась от глухого грозного гула. Подземные толчки ощущались на высшем уровне, недаром ни один из последних президентов «добром» не кончил. Кеннеди убит. Джонсон, дотянув срок, вернулся на свое ранчо в Техасе разочарованный, запутавшийся, обессиленный. Никсон вообще едва «унес ноги». Не нажил капитала в Белом доме и Форд. Провалился Картер. Чудовищную роль сыграл Рейган.

Это был кризис. Морально-политический кризис. Курс, которым так долго и упорно шла Америка, оказался исторически несостоятельным, тупиковым.

Америка всегда стремилась к величию. Играть значительную роль в делах человечества... Стремление естественное и законное, вопрос в том, какое понятие таит в себе слово «величие», какой идеал? И какими средствами его пытаются достичь. Экскурс в глубь истории — все же роскошь, а потому ограничимся тезисами.

200 лет назад, провозгласив революционную Декларацию независимости, Америка явилась миру полным молодых сил буржуазно-демократическим государством, воплощением прогресса и свободы. Ныне это империалистическое государство — могучее, но обрюзгшее, со следами старения на лице, включая физическое отвращение к переменам. Опора реакционных режимов повсюду, где обнаружится продажный диктатор или парочка генералов-авантюристов, где водятся «гориллы». Стремление к величию оборотилось погоней за мировым господством — манией величия. Когда же это случилось? Может быть, в преддверии XX века, когда за океаном наперебой заговорили о грядущем «Pax Americana» — «Американском мире»? «Это была эпоха ура-патриотизма и завиральных идей относительно

создания Американской империи» — так позже напишет не политик — писатель Луи Бромфилд.

9 января 1900 года — на заре столетия — сенатор Альберт Беверидж заявил в конгрессе: «Декларация независимости не запрещает нам выполнять нашу роль в духовном возрождении мира. Если бы она запрещала это, Декларация была бы ошибочной... Он (Всевышний) одарил нас духом прогресса, чтобы мы могли одолеть силы реакции во всем мире. Он сотворил нас сведущими в вопросах управления, чтобы мы могли управлять дикими и пришедшими в упадок народами. Не обладай мы такой силой, весь мир вновь впал бы в варварство и темноту. И из всей нашей человеческой расы он выделил американский народ как нацию, избранную в конечном итоге руководить духовным возрождением мира. Такова божественная миссия Америки». Ему вторил президент Теодор Рузвельт по прозвищу Большая дубинка. В своем послании конгрессу от 6 декабря 1904 года он писал: «Любая страна, народ которой ведет себя хорошо, может рассчитывать на нашу чистосердечную дружбу. Если нация демонстрирует, что она знает, как действовать с разумным умением и приличием в социальных и политических вопросах, если она соблюдает порядок и выполняет свои обязательства, ей не следует опасаться вмешательства со стороны Соединенных Штатов. Непрекращающиеся незаконные действия или проявления бессилия, приводящие к общему ослаблению уз цивилизованного общества будь то в Америке или где бы то ни было, в конечном итоге требуют вмешательства со стороны какой-либо цивилизованной нации. В Западном полушарии соблюдение Соединенными Штатами «доктрины Монро» может вынудить их, возможно и против своей воли, в вопиющих случаях таких нарушений законности или проявления бессилия, к выполнению обязанностей международной полицейской державы».

После второй мировой войны этот высокомерный, великодержавный, жандармский посыл уже адресовался действительно «любой стране», любой нации в обоих полушариях. В упоении своей атомной мощью, свысока поглядывая на разграбленный войной мир, Америка вплотную приступила к возведению глобальной антикоммунистической империи под своей эгидой. «Вьетнам» был не «ошибкой», но закономерным шагом на этом пути. Он стал и символом его столь же закономерного краха. Рано или поздно «завиральные идеи» лопаются с треском.

Произошло крушение и «Американской мечты» — этого внутреннего духовного стержня Америки, надежда на «равные воз-

можности» для любого иммигранта из Старого Света не оправдалась. Общество «равного старта» выродилось в «общество насилия», в «равенство по Кольту».

Закат великого предприятия и идеи. То, что было когда-то буржуазно-демократической революцией, пройдя все классические стадии развития и роста — от «якобинства» до «империи» — обернулось реакцией. В 60-е, 70-е, 80-е годы у нас на глазах империя затрещала по швам.

В отличие от стародавнего девиза иезуитов «цель оправдывает средства...» лозунг современных прагматиков, скорее, иной: «Результат оправдывает цель». Только тогда, когда империя начала приносить не богатство, а банкротство, американцам и наверху и внизу узрелась ее несостоятельность. Не всем. И чаще всего не в принципе, а лишь в той или иной конкретной форме. И все же, видимо, большинству мыслящих американцев. И тогда прорвало.

Но что делать? Лезть напролом, пробивая головой стену? Оглянуться назад? Свернуть влево, вправо? Система, разные ее составляющие заметались в поисках выхода...

Конечно же, не стоит списывать субъективные свойства Никсона как нечто постороннее происходящему. Однако его возмутительные смены позиций по-своему отражали смятение «американского духа», метания разных сил, лихорадочный поиск выхода из тупика. Кризис пришелся на время президентства Никсона — вот в чем состояла объективная сторона — и... прошелся по нему, как смерч. И тогда все остальное вмиг потеряло значение. Недавний национальный триумф на выборах. Сила аппарата. Ставшая притчей во языцех политическая ловкость... Напротив, любая червоточина, погрешность, недогляд теперь были смерти подобны. Так было «надо».

Кажется удивительным: из всех действующих лиц «уотергейтской драмы» Никсон производил впечатление самого бездействующего. На самом деле ничего удивительного не было. Ему выпала роль щепки, которую закрутил и понес поток событий. Близко наблюдавшие его свидетельствуют: Никсон все больше выглядел человеком «не от мира сего», в самые последние дни, когда всем уже все было ясно, он, не понимая, что же происходит, все на что-то надеялся и странно суетился. Это Никсон-то «не от мира сего» — опытнейший политик, битый-перебитый, прагматик до мозга костей, «манипулятор» и «трюкач Дик», как его давно уже окрестила пресса. Он действовал, как привык действовать, делал все, как всегда, однако его обычно столь тонко рассчитанные, изощренные ходы на этот раз не достигали цели и в самом деле оборачивались мельтешением

и суетой. Никсон попал под колеса истории. С этим уже никто ничего поделать не мог.

Ибо «Уотергейтский скандал» стал, как это ни странно, формой выхода из Кризиса. Иллюзорной, но тем более необходимой Системе. Суррогатом Катарсиса. Выдав толпе на растерзание несколько заметных и действительно одиозных фигур, бросив в последний момент с раската даже тело президента, Истэблишмент вышел из смуты гораздо менее пострадавшим, чем можно было подумать, а в чем-то и окрепшим — в публике зародились новые иллюзии по поводу его способности к самоочищению. За такой итог «уотергейтская» цена, согласитесь, не так уж и высока.

Вот чего так и не смог понять Ричард Никсон. Себя как личность и как титул он считал не просто важной, но неотъемлемой, неприкосновенной частицей Истэблишмента. Но неотъемлемых, как выяснилось, не бывает. Если надо, Истэблишмент может пожертвовать и священной коровой, и первым жрецом.

Так «кому же это выгодно»? Всем, если понимать под этим словом Систему. Вот что надежнее тайного сговора вмиг объединило разные, в обычных условиях несочетаемые силы, делящие между собой власть. Скандальные времена были в действительности Временем Великой Смуты, критическими временами...

Впрочем, почему были? Кажется, журнал «Нью рипаблик» предчувствовал наш вопрос. В передовой статье, увидевшей свет летом 1979 года, он написал: «Историки будут задавать себе вопрос о том, какая обстановка царила в Вашингтоне... при Джимми Картере. Это была обстановка хаотичного, подспудного множественного кризиса. Это была обстановка раздражения, отчуждения и растущей неуверенности. Это был не просто кризис, а 343 кризиса сразу».

Как-то Картер выступал в Куинз-колледже в Нью-Йорке, и молодой американец Стюарт Уэйнберг в сердцах задал ему вопрос. Послушайте этот вопрос, он, право же, заслуживает того. Только наберитесь терпения.

— Господин президент, — сказал рассерженный американец,— я был активным участником вашей предвыборной кампании в 1976 году и прошу вас принять это во внимание, когда я задам свой вопрос.

Учитывая обещания, данные вами во время этой предвыборной кампании;

учитывая, в какой мере претворены в жизнь идеи и программы, о которых вы тогда говорили;

учитывая стремительное падение курса доллара;

учитывая рост инфляции, нефтяной кризис, очереди за бензином, подорожание нефти для отопления домов;

учитывая крайне нестабильный характер вашего кабинета с его постоянно меняющимся составом;

учитывая, что экологическая система продолжает ухудшаться в результате выбросов в атмосферу ядерной энергии и нефтяных выбросов;

учитывая, что у нас, по существу, отсутствует какая-то всеобъемлющая национальная энергетическая программа или программа медицинского обслуживания;

учитывая, что я, молодой человек, закончивший колледж, вот уже три месяца не имею работы, что меня очень удручает;

учитывая все, о чем я здесь упомянул, пожалуйста, объясните мне, почему я должен поддерживать вас и помогать вам добиться переизбрания? Что заставляет вас думать, что ваши заслуги в течение первого срока полномочий позволяют вам претендовать на переизбрание? Я хочу знать, следует ли мне во второй раз принять участие в вашей предвыборной кампании и если да, то почему?

Ответ президента был в четыре раза короче, и в 343 раза менее содержательным. Впрочем, ведь и сам Картер говорил о кризисе доверия, который «поражает самое сердце, душу и дух нашей национальной воли».

Морально-политический кризис, потрясший Америку, не преодолен. Откуда ни гляди на эту страну — извне или изнутри,— истинные решения не приняты. Концепции новой роли США в изменившемся мире не предложено. Не обуздана и ни одна из социально-экономических напастей: высокая безработица стала нормой, инфляция неодолима, беременные катастрофами большие города вопиют о помощи. «Общество насилия» собирает с американцев ежедневную дань кровью и страхом... А тем временем гонка вооружений подкралась к чудовищному витку. Сообщали, что подводная лодка «Трайдент» должна стоить миллиард долларов за штуку. Это по предварительным данным. В ходе строительства выяснилось, что и эта астрономическая цифра сильно занижена... Бомбардировщик «Б-1» — голубая мечта Пентагона — сто миллионов долларов, и ВВС сразу возжелали заказать стаю из ста таких птах. За этим порогом можно расстаться со многими надеждами. Гонка вооружений подметет ресурсы под метелку.

Было бы странной претензией пытаться извне выписывать рецепты решения внутриамериканских проблем. Но внутреннее смыкается с внешним. И сама обстановка подсказывает звено, потянув за которое можно надеяться вытянуть обе цепи — внеш-

нюю во всяком случае, что облегчит тяжесть и внутренней.

Разрядка! Это не пропагандистская фраза. Другого пути действительно нет.

Казалось бы, это ясно каждому здравомыслящему и непредубежденному человеку. Непредубежденному — да! Однако, когда поиск всечеловеческой истины и общественной пользы оказывается подмят и раздавлен вечной американской схваткой частных интересов, когда место здравого смысла занимают безумная гонка за прибылью и миражами военного превосходства, галлюцинации из несбывшихся снов об «Американском веке», ситуация резко меняется.

И она изменилась самым драматическим образом.

АМЕРИКАНСКИЕ ЗАЛОЖНИКИ

Январским утром 1980 года в Вашингтоне грянули колокола. Странные это были колокола. Мотив траурный, погребальный, но не было в нем достоинства, а была истерия, и не было печали — один захлеб.

«Разрядка умерла»,— спешили высказать заветное сенаторы и министры. «Разрядка умерла»,— разносила весть пресса. «Разрядка умерла»...— в Вашингтоне это стало как пароль, или причастие, или слова загово́ра собственной нечистой совести.

Стук могильщицких молотков — самый душераздирающий из всех человеческих звуков — разнесся в Вашингтоне. Только на этот раз не слышно в нем было даже привычного равнодушия кладбищенских профессионалов — одна лихорадочная преступная торопливость.

В Вашингтоне хоронили разрядку.

Официальная литургия больше напоминала канонаду. Деланноскорбные лица были обращены к востоку, как если бы мусульманские заповеди вдруг вытеснили христианский обычай, точнее, к Среднему Востоку, еще точнее, к Юго-Западной Азии — в Афганистан. Судьбы ислама в этой вчера еще всеми богами Запада заброшенной стране — вот что вдруг больше всего на свете стало волновать Белый дом. Вмиг был забыт антиамериканский шквал, пронесшийся по мусульманским странам. Даже эти «исчадия ада» — тегеранские студенты, задерживавшие заложников из американского посольства неделю за неделей, из «воинственных мусульман» в одночасье превратились, по словечку Гамильтона Джордана, главного помощника президента, в «марксистов». Никто уже больше не ворошил пепел сожженного демонстрантами посольства США в Равалпин-

ди. Еще недавно само слово ислам трактовалось в западной «мэсс-медиа» синонимом средневековой дикости и фанатизма, а тут Збигнев Бжезинский начал публично расшаркиваться перед учением другого пророка — Магомета, что для него совсем уж непривычно.

Историки современности могут отметить: на заре 1980 года в Вашингтоне протрубили начало самого неожиданного из крестовых походов за всю историю христианской цивилизации — крестового похода во имя ислама.

«Разрядка умерла. Даешь «холодную войну»!» Ухали колокола в Вашингтоне, и в их гулком гуле был слышен гром «медных касок».

Но при чем тут «Афганистан», как бы ни относиться к сути того, что произошло непосредственно в этой стране?

Давайте вместе ознакомимся с одним репортажем из американского журнала «Нью таймс». Эндрю Копкайнд вел его из столичного Вашингтона. Подошло к концу лето каникул и отпусков, чиновный державный город — в полудреме. Автор с трудом нашел себе собеседника — это «помощник сенатора со Среднего Запада, не пожелавший, чтобы его имя стало достоянием гласности». «Пусть эта мирная обстановка и тишина вокруг не вводит нас в заблуждение,— предостерег он меня шепотом...— Началась война».

«Война, которую он имел в виду и которая сейчас сильно беспокоит многих в официальном Вашингтоне, проходит без единого выстрела,— продолжал журналист.— Никто не обшаривает локаторами небо в ожидании ракет с Востока. Дело обстоит иначе. Здесь растет опасение, что Америка вступает в новую «холодную войну», повторение того эпохального конфликта, который держал человечество в постоянном страхе на протяжении двух опасных десятилетий с момента распада союза военного времени и до начала процесса разрядки, с наступления заморозков Трумэна и до оттепели Никсона».

Время в репортаже важно так же, как и место. Заметим: репортаж был опубликован в октябрьском номере журнала за 1978 (!) год, а разгар событий — взрыв того, что автор назвал «второй холодной войной» и охарактеризовал словами «настоящая эпидемия» и «лихорадка»,— пришелся на июль — август того же, 1978 года.

А год спустя — в сентябре 1979 года панически зазвучало еще одно заклятие: «советская военная бригада на Кубе». Об этом кричали с таким неподдельным возмущением и ужасом, как будто бы американскому развед-оку только что открылась неизвестная и страшная картина. Это было вдвойне глупо. Со-

ветский военный учебный центр на Кубе существовал уже полтора десятка лет. Ничего нового не произошло, статус-кво не переменилось — страх и сенсация были дутыми, что вскоре было публично и не без стыда признано. Зато вспышка «холодной войны» оказалась вполне реальной, и под ее раскаты американская военная машина успешно разродилась кое-чем вполне горячим — силами «быстрого реагирования» в Карибском бассейне.

А сколько раньше случалось приступов истерии, вспышек «холодной войны»! Их кодовые имена «Ангола», «Эфиопия», «Южный Йемен» или даже шире — «Дуга неустойчивости». И каждый раз вашингтонские гробовщики-энтузиасты торопились похоронить разрядку, а бравые патриоты бухали во все колокола, куда, мол, катится Америка, и пускались во все тяжкие, требуя «наказать» Советы, а вампиры из ВПК (военно-промышленного комплекса) алкали свежей крови — если не в виде свежей крови, то уж безусловно в виде новых ассигнований, и ОСВ-2 тут же подвязывался к любой конкретной и по сути далекой от проблематики ограничения стратегических вооружений проблеме и ставился в прямую зависимость от очередного американского каприза. С самого начала эта игра в «американку» имела свою логику: ее порождали американские аппетиты, расплачиваться же должно было миром.

А затем произошли известные события в Афганистане. И президент Картер протрубил крестовый поход. Придумал ли он что-нибудь новое — хотя бы в деталях?

Тот же журналист, чей репортаж мы уже цитировали, пишет, что еще в июле 1978 года сенатские приемные были завалены кипами писем следующего содержания: «Уважаемый коллега, я призываю вас вместе со мной разоблачить это, осудить то, критиковать, выразить беспокойство, бойкотировать балет, требовать отмены Олимпийских игр, отказаться от поставок электронных вычислительных машин, добиваться строительства бомбардировщика «Б-1»...»

Чем реакция Джимми Картера отличается от этого гротескно-реалистического рассказа? Абсолютно ничем. Американская реакция давно уже прорабатывала этот сценарий, ей нужен был только повод для того, чтобы привести его в действие. Когда очень хочется, хватаются за любой предлог, каким бы вздорным он ни был,— так поступают не только в быту, но и в политике. Вспышки «холодной войны» под разными предлогами-именами были фактически репетициями ситуации, разразившейся в високосном 1980 году. И точно так же в преддверии ви-

сокосного (выборного!) 1984 года все по тому же сценарию разразится кризис с южнокорейским самолетом.

Если бы «Афганистана» не было, его надо было бы выдумать. «События в Афганистане помогут нам». Это высказывание «одного генерала» приводит «Вашингтон пост».

Читаем в той же газете: «События в Афганистане, по словам военных руководителей США, не только подчеркнут необходимость обеспечить Соединенным Штатам базы в районе Персидского залива, но и помогут избавить американскую общественность от порожденного Вьетнамом синдрома — «никогда больше не воевать за границей...».

Так вот в чем дело! Какими бы ненасытными ни были пентагоновские аппетиты, метода их удовлетворения проста. Пентагону что-то нужно. Чтобы получить это что-то, стоит только посетовать для приличия на признаки «американской слабости» и сослаться на «русские козни»... В данном случае Пентагон возжелал базы в районе нефти. Но если бы только базы!

Упоминание о Персидском заливе следует в зловещей компании. Его сопровождает тень вьетнамской войны. Наглое посягательство на географию бледнеет перед замыслом куда более грандиозного преступления — посягательства на историю, попытки переиграть ее наново, вычеркнуть из американской памяти и совести этот урок, венчавший другие уроки реализма, так трудно давшиеся Америке и такие жизненно необходимые в наш стремительный и ядерный век. Теперь горький урок Вьетнама называют болезненным словечком «синдром» и призывают излечиться от него. Лечиться от трезвости — что за безумная идея?

В любом безумии, однако, есть своя логика. Вьетнам мешает тем, кто не смирился с его исходом и не принял его выводов. Тем, кто хотел бы вернуть Америку в довьетнамскую пору, когда официальная вера в кулак и кольт еще не подверглась схизме и ревизии реализма. Вьетнам, каким он был,— проклятие для тех, кто грезит новыми Вьетнамами, нарисованными их воспаленным воображением: удачливыми агрессиями, успешными интервенциями, «политикой канонерок», разросшейся в политику авианосных армад, ролью мирового полицейского. Навязчивая идея «Американской империи» возвращается.

Но ведь «Американский мир» — это не более чем американский миф. В век крушения всех империй «Pax Americana» — нонсенс, маниакальный бред. Таков диагноз истории, и сокрушительное американское фиаско во вьетнамском финале удостоверяет его точность. Перечеркнуть его нельзя, можно только заглушить голос разума взрывами истерии, закружить головы

бумом психологической войны. Тем, кто тоскует о былой горячке «холодной войны», трезвость действительно ни к чему.

В Америке идет борьба. Она сложна и противоречива, ибо захватывает разные слои и классы, верхи так же, как и низы. Она нарушает привычные границы политических партий и делит по иному принципу: партии реализма противостоит старая имперская партия, партия конфронтации и вражды, ставки на силу. Эта борьба идет с переменным успехом. В 60—70-е годы казалось, что в благоприятном коптексте мировых событий партия реализма берет верх. Тому было немало впечатляющих свидетельств, последнее по счету — подписание в Вене Договора ОСВ-2.

На рубеже десятилетия 80-х, однако, партия оголтелой силы в Америке пересилила партию разума. Она не теряла ни минуты даром — эта партия вчерашнего дня, претендующая на завтра. Оправившись после поражений, она перегруппировала ряды (странное дело, удивлялась американская пресса, многие патентованные либералы оказались в одном стане со своими противниками-консерваторами), мобилизовала все что можно во всех эшелонах власти — в конгрессе, в правительственном аппарате, в группах давления, в печати — и бросилась на решительный штурм. То, что это бой не на жизнь, а на смерть, можно было понять, наблюдая многомесячную процедуру сенаторских издевательств над ОСВ-2. Живое тело договора пытались разъять на части поправками — «убийцами» (американское выражение), хирургическими оговорками, экзекуторскими толкованиями. Ратификацию превратили в распятие.

А потом Америка через своих союзников по НАТО навязала Западной Европе решение об установке около 600 новейших ракет средней дальности. И в тот же день Картер объявил планы жестокого военного пятилетия. Он призвал американцев принести жертвы («жертвы» — это его слово) на алтарь милитаризма. Картер побожился, что военные ассигнования будут расти в реальном исчислении ежегодно на 4—5 процентов, в абсолютных же цифрах — на 20 миллиардов долларов. И это добрый баптист Джимми Картер, который четыре года назад обещал американцам сократить ежегодную дань Пентагону на 5—7 миллиардов долларов и еще бил себя в грудь: «Я никогда не буду лгать вам».

Характерная метаморфоза. На первых выборах политик клялся простым американцам: изберите меня и вы получите облегчение от военного бремени. На вторых тот же самый политик заклинал военно-промышленный комплекс и партию шовинизма и кулачного права: оставьте меня на второй срок и в тече-

ние всего моего правления и даже после меня еще год вам на заклание будет отдано все. Деньги без счета. И весь мир впридачу. Ибо «доктрина Картера» фактически объявила: «Pax Americana» — этот агрессивный американский миф возрождается. Как иначе прикажете толковать роль спешно создаваемого «корпуса быстрого развертывания» с его «правом на вмешательство» в любой точке земного шара?!

В те же дни Картер «потребовал» от сената то, что сенат давно уже сделал: заморозить ратификацию ОСВ-2. Договора, который он подписал и который он должен был защищать во имя интересов страны, человечества и собственной чести. Это даже не то же самое, что — умыть руки. Это значит поспешить вбить гвоздь в ОСВ-2 собственными руками.

Распинаться при этом можно о чем угодно...

«Американские заложники»... Если не считать «Афганистан», эти два слова чаще всего звучали в американской прессе в начале 1980 года. По версии, исходящей из Вашингтона, они должны были многое объяснить в бурном течении событий. А впрочем, согласен: в утверждении этом есть истина. Только кто похитители и кто жертвы? Кто они — «американские заложники»?

«В разгар вьетнамской войны,— свидетельствует «Нью-Йорк таймс»,— рабочие на некоторых оборонных предприятиях западного побережья носили на лацканах пиджаков значки с надписью: «Не троньте войну, которая вас кормит...»

Эти рабочие были заложниками грязной войны.

«В наши дни в Гротоне, штат Коннектикут,— продолжает газета,— в городке, вся хозяйственная жизнь которого зависит от верфей одного из филиалов компании «Дженерал дайнэмикс», дети бегают в майках, на которых гордо написано: «Мой папа строит «Трайденты».

Эти дети, как и их папы,— заложники военной промышленности.

Заложники — американские ура-патриоты, которые старый комплекс имперской неполноценности пытаются излечить новыми комплексами военного превосходства. И заложники — политики, делающие себе карьеру на том, что «грозят пальцем русским». Своих страхов и честолюбий, социальных предрассудков, политиканской игры. В конечном счете — военно-промышленного комплекса.

«Мы не должны играть в политику с ядерными арсеналами...» Еще недавно президент Картер говорил так. (Он имел в виду предвыборную борьбу и игру.) И еще он говорил, что если Америка не ратифицирует ОСВ-2, то в глазах всего света она будет выглядеть «поджигателем войны». Справедливые слова.

Однако потом президент уже говорил и, главное, делал все прямо противоположное. Видно, в Белом доме тоже появились свои заложники. Заложники гонки вооружений и обанкротившихся мифов.

Как просто и как цинично. ВПК захотелось большей доли национального пирога. Что для этого требуется? Гонка вооружений на новых оборотах. Приводные ремни послушной политики сработали как надо. И тогда, чтобы «оправдать» новый тур гонки вооружений, была спровоцирована вспышка «холодной войны».

В кабинете помощника президента Рейгана по вопросам национальной безопасности Уильяма Кларка в Белом доме на видном месте был выставлен кольт 45-го калибра, принадлежавший его деду, калифорнийскому шерифу. Американские претензии на роль мирового шерифа не всегда столь мелодраматичны, но весьма реальны. Военно-промышленный комплекс хотел бы держать всю Америку в качестве заложников. Американская империя — весь мир.

Исторический оптимизм не то же самое, что дежурный оптимизм. Он не терпит легкомысленного бодрячества. Надо видеть: на изломе десятилетий разрядке, реальным надеждам на разоружение нанесен удар под дых. Но и сжимая зубы, стоит повторить: для 80-х годов иного пути (если только говорить о разумных путях) нет.

Разрядка!

В конце концов, если кольт появился в первом акте, то, чтобы он не выстрелил во втором или третьем и не превратил его в акт последний, есть только одно средство: кольт нужно разрядить.

САЛЕМСКИЕ КОЛДУНЬИ И ПРЕЗИДЕНТ

С 1484 по 1782 год в Европе на кострах святой инквизиции были сожжены 300 000 ведьм.

Из средневековой Европы очищение от скверны огнем перекинулось в Новый Свет. Имя «салемские колдуньи» стало нарицательным, но это реальный эпизод американской истории, имевший место в конце XVII века. В энциклопедии «Американа» он описывается так:

«Безумие с салемскими колдуньями разразилось в доме преподобного Сэмюела Пэрриса, без чьего наущения борьба с чарами, повлекшая за собой принесение в жертву невинных жиз-

ней, не получила бы такого толчка. Девочки вдруг повели себя странно: начали лаять по-собачьи и рычать на что-то невидимое. Старуху индеанку из прислуги обвинили в том, что она их околдовала. Возбуждение росло, и множились обвинения. Был создан специальный суд, чтобы пытать обвиняемых, в итоге тюрьмы быстро заполнялись и многие были осуждены на смерть. Выражать сомнение в вине заключенных было небезопасно. 45 человек подверглись пыткам, 20 были казнены, прежде чем наваждение рассеялось».

Американская энциклопедия уточняет, что безумие это произошло в атмосфере крайнего возбуждения, вызванного проповедями и писаниями пуританской святой, известной под именем Хлопковой Матери, глубоко верившей в потусторонние силы.

Однако к чему бы эти предисловия про святые костры и салемских колдуний? А вот к чему.

Артур Шлезингер, историк и публицист, публично посоветовал Рональду Рейгану, президенту США, почитать на сон грядущий притчу Достоевского о великом инквизиторе.

Поводом послужила речь Рейгана в Орландо (Флорида). Произнесенная перед американскими евангелистами, она поразила всех своей «черносутанностью», скажем так.

Далее я процитирую Артура Шлезингера — без скопидомства.

Эта речь «знаменует собой возрождение оценки холодной войны как священной войны,— пишет историк.— Именно так Джон Фостер Даллес объяснял холодную войну 30 лет назад. Но американские президенты в эпоху после Эйзенхауэра — Кеннеди, Джонсон и даже Никсон (по крайней мере пока он был в Белом доме) — считали достаточным рассматривать холодную войну как идеологический конфликт и конфликт между державами. Президент Рейган теперь вновь рисует ее в мрачных пророческих выражениях, как «борьбу между добром и злом, между справедливостью и несправедливостью». Советский Союз, утверждает он, есть «зло в современном мире». Когда в мире есть такое зло, «по велению священного писания и Иисуса Христа, мы должны противиться ему всеми силами», заявляет президент».

«Если только президент не шутит,— видно, и умудренный историк не может до конца поверить, что это говорится всерьез,— такая концепция холодной войны порождает проблемы. Она исключает, например, даже саму мысль о примирении или компромиссе. Она исключает идею сосуществования, ибо как можно идти на компромисс или сосуществовать со злом? Она не предлагает никакой другой перспективы, кроме проти-

водействия «всеми силами» и войны до последнего вздоха. Она зовет истинных верующих на «джихад» (священную войну), крестовый поход с целью истребления неверных. Такой подход к делам человечества всегда выглядел довольно экстремистским. Он представляется абсолютно неперспективным в эпоху ядерного оружия», — пряча под академическими формулировками ярость, пишет приговор историк.

«Наибольшее беспокойство, причем похоже, что президент явно не шутит, вызывает тот факт, что его концепция холодной войны как священной войны предполагает не только, что другая сторона является «средоточием зла», но и что мы представляем собой средоточие добродетели... Убеждение в своем назначении как партнера всевышнего — опасная вещь... Рейган, казалось, был полностью уверен в том, на каких позициях стоит бог относительно сложных проблем нашего века. Бог с нами, бог — сторонник холодной войны, бог против замораживания ядерного оружия, бог против абортов, словом, бог — республиканец-рейгановец. Религия Рейгана... на удивление служит его интересам, и это производит отталкивающее впечатление...»

В заключение историк дает Рейга́ну еще один совет: «Пусть же он последует достойному примеру своих предшественников и вспомнит, что он был избран президентом республики, то есть на мирской пост, а не архиепископом или папой».

Да, таков второй совет, который историк и публицист Артур Шлезингер дал президенту США Рональду Рейгану. А первый совет был почитать на сон грядущий притчу Достоевского о великом инквизиторе.

Рассчитывал ли историк, что его советом воспользуются? Судя по весьма сдержанной (и типичной) характеристике, которую выписал президенту обозреватель «Вашингтон пост» Джозеф Крафт, вряд ли. Вот эта характеристика:

«Рейган пришел в Белый дом, обладая весьма ограниченным опытом в том, что касается большинства проблем национальной экономической и внешней политики. Распорядок, которого он придерживается, наводит на мысль, что президент не только не является «рабочей лошадкой», но, напротив, не склонен особо утруждать себя. Хотя у него, возможно, действительно великолепная память, ничто не свидетельствует о том, что, оставаясь в одиночестве по ночам, он штудирует книги...»

Придется самим проштудировать притчу.

Великий инквизитор против господа бога — таков ее смысл. Бог снизошел к людям, инквизитор отправил его в тюрьму, пригрозил костром. Ибо инквизитор лучше бога знает божественный завет, бог ему только мешает.

«Зачем же ты пришел нам мешать? Ибо ты пришел нам мешать и сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто ты, и знать не хочу: ты ли это или только подобие его, но завтра же я осужу и сожгу тебя на костре, как злейшего из еретиков, и тот самый народ, который сегодня целовал твои ноги, завтра же по одному моему мановению бросится подгребать к твоему костру угли, знаешь ли ты это?»

Если бог — не республиканец-рейгановец, он еретик, как еретики — национальная конференция католических епископов, провозгласившая в своем пастырском послании ядерную войну аморальной. Его (и их) место — на костре!

Я не хочу и боюсь проводить слишком прямые параллели. Притча Достоевского бездонна и на все времена. Но поневоле вспоминаешь не притчи, а вполне газетные сообщения.

Взяв с собой небольшое распятие, преподобный Эрл Джонсон из церкви Креста в Сан-Лоренсо, штат Калифорния, отправился благословить участников антивоенной демонстрации. Демонстрацию разогнали дубинками. Преподобного Джонсона арестовали, а распятие конфисковали. Основание? «Оно может быть использовано в качестве оружия». И то правда...

Штат Миссури. Стартовая шахта межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боевой частью. Два вооруженных охранника прибыли по тревоге — сработала электронная система сигнализации. Внутри 4-метрового ограждения из колючей проволоки они обнаружили мужчину в темном костюме, белой рубашке и галстуке. Стоя на коленях, мужчина молился.

Очевидица события корреспондент газеты «Нэшнл католик рипорт» Пэнни Крэб так описывает разговор, который произошел по рации между охранниками и базой.

— ...Э, мужчина на объекте как будто не склонен к агрессивным действиям. В руках у него крест.

Молчание, нарушаемое лишь треском в эфире, затем голос из динамика:

— Что?

— Крест,—повторяет капрал.

Снова пауза.

— Что?!

— Крест. Отобрать его? — спрашивает капрал.

— Отберите!

Так Джеймс Содер, 27-летний католик-пацифист, лишился своего креста и отправился на шесть месяцев в федеральную тюрьму.

Глас божий — это глас народа. Четыре тысячи человек были

арестованы в США в 1982 году за совершение актов, направленных против ядерного оружия.

Летом 1982 года, выступая на великолепной сцене британского парламента и перевоплотившись по такому случаю то ли в Черчилля, то ли в папу Урбана II, Рональд Рейган провозгласил новый «крестовый поход за свободой». Но есть ли на нем самом крест?

Впрочем, и сам великий инквизитор жег живые костры исключительно во имя «свободы веры людей». Аутодафе в буквальном переводе с испанского означает не взрыв тьмы, не средневековое изуверство, но «суд чести». Так сказать, есть вещи поважнее, чем жизнь...

Рональд Рейган пообещал «оставить марксизм-ленинизм на пепелище истории». Но бывают ли пепелища без костров? И каких масштабов должно быть аутодафе, после которого останется «пепелище истории»?!

И если все-таки считать, что бог необязательно республиканец-рейгановец или военный капеллан в ведомстве Уайнбергера, то кто дал мандат Рейгану на подобные геростратегические замыслы? (Ибо все подобные стратегии идут не от Христа, но от Герострата...) Что их питает?

Часто ссылаются на идеологический фанатизм. Фанатизм — не та черта, которой стоило бы гордиться. Но боюсь, что в данном случае все выглядит куда проще. «Инквизитор твой не верует в бога, вот и весь его секрет!» — высказывает догадку Алеша Карамазов. И чуть раньше еще одну:

«Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения...»

Верует ли Рональд Рейган в бога? Слишком уж он бесцеремонно обращается с истиной и моралью, всем земным, небесным и даже космическим. И при этом ведет себя так, что если уж спрашивать, то по-иному: верует ли бог в г-на Рейгана? Впрочем, какие же могут быть сомнения в вопросе веры!..

Они кажутся — или хотят казаться — всесильными, эти заносчивые американские президенты. Нет выше поста в Америке, а поскольку Америка, конечно же, «превыше всего» — то и в мире. Небожители, громовержцы, вершители судеб... Да, такими они хотят казаться... Казаться!

К примеру, «Кто был Линдон Бейнс Джонсон»? Между прочим, именно под этим заголовком журнал «Атлантик» опубликовал интервью, данное 36-м президентом США незадолго до смерти. Автор программы, получившей название «Великое общество». «Великий политикан»... Утверждали, что не было ему

равных в искусстве выкручивания рук конгрессменам... И вот это интервью.

«Я знал, с самого начала, что меня распнут... Но если бы я бросил эту войну и позволил коммунистам захватить Южный Вьетнам, я выглядел бы трусом, а моя страна — умиротворителем...» — лепетал он жалкие слова. И сам себя опровергал, приведя демагогический лозунг, вмиг ослепивший конгрессменов: «Сначала нужно разбить этих безбожников-коммунистов, а потом можно будет позаботиться и о бездомных американцах». Обслуживая великодержавный американский шовинизм, ничего он не смог: ни разбить безбожников-коммунистов, ни позаботиться о бездомных американцах, ни даже совладать с собственным конгрессом. И вот задним числом он пытался оправдаться если не перед нелицеприятной историей, то хотя бы перед вежливым журналистом...

Ну да ладно. Эра Джонсона давно уже канула в Лету (хотя строго говоря, не так уж и давно). Но кто помнит сейчас хотя бы суетливого путаника Джимми Картера? Или безликого Джеральда Форда? Или даже слишком многоликого Ричарда Никсона?

Все они живы-здоровы, в меру способностей (своих рекламных агентов и управделами) стригут купоны с бывшего своего президентства, самым убедительным образом доказывая, что нет, не небожители они — эти американские президенты.

Таков лишь миф, рекламный образ, политический имидж.

Этому искусству казаться нынешний президент предается с особой страстью, навыком и талантом.

Впрочем, что же мы забегаем вперед с ответом, когда и сам вопрос еще не задан?

В чем секрет 40-го президента США?

Попробуем пойти от личного и послушаем разные голоса.

Журнал «Штерн», ФРГ, статья вашингтонского корреспондента Уве Циммера в середине 1982 года:

«Его называли ковбоем и бездарным актером, президентом богатых и закоренелым антикоммунистом. И все мы в нем ошиблись. Рональд Рейган, 40-й президент Соединенных Штатов Америки, заслуживает иного титула: он лучший друг Москвы.

Ведь для русских итог деятельности Рейгана на посту президента вряд ли мог выглядеть более блестяще. Рейган обострил социальные противоречия в США. Он углубил конфликты между промышленными и развивающимися странами. Своей воинственной риторикой он поставил под вопрос миролюбие Вашингтона. Он сделал советским коммунистам лучший за все время подарок: он разрушил западный союз...»

Уве Циммер рассчитывал, что у его читателей хватит чувства юмора, чтобы не воспринять все буквально. Но то, что объект писания не вызывает у него пиетета, тоже ясно. Он приводит, в частности, впечатление Гельмута Шмидта, оставшееся после встречи с Рейганом: «внешняя политика, соответствующая представлениям о ценностях на уровне американских воскресных школ».

Нынешний президент США «информирован о проблемах ядерных вооружений хуже не только всех других президентов с начала ядерного века, но и тех американцев, которые озабочены угрозой ядерной войны». Это мнение группы американских ученых-экспертов в области вооружений, занимавших высокие посты в прежних администрациях.

Агентство Юнайтед Пресс Интернэшнл:

«Общее впечатление от воспоминаний Хейга (независимо от того, каковы были его истинные намерения) сводится к тому, что Рейган — человек некомпетентный, который даже не стремится в чем-то разобраться. Это президент, находящийся в руках небольшой группы заговорщиков, скрывающих от него реальное положение дел».

Газета «Крисчен сайенс монитор». Статья Годфри Сперлинга:

«По словам критиков, президент не разбирается в экономике. Они называют его ловким коммивояжером, рекламирующим программы, которых он толком не понимает».

Обозреватель «Нью-Йорк таймс» Энтони Льюис:

Человек, который «действует, не располагая истинной информацией», «видит мир сквозь призму анекдотов» и «дает упрощенные ответы на сложные вопросы».

Писатель Э. Доктороу: «Мы выбрали самого дурашливого и неудовлетворительного президента во всей нашей истории».

Нам нет нужды корректировать эти западные оценки и наблюдения. Как, впрочем, и абсолютизировать их. В данном случае важно то, что в формулу правления никак не входят компетентность, широта политического кругозора, государственная мудрость.

Так что секрет 40-го президента стоит поискать в иных сферах. И в иных местах.

Не поискать ли его в Калифорнии?

Удивительный штат, эта Калифорния. В 30-е годы здесь на полях и плантациях зрели гроздья гнева стейнбековских издольщиков. Сейчас здесь же в лос-анджелесском мегалополисе обнаруживают уже в металле и бетоне урбанистические миражи XXI века.

Многие американские ветры и поветрия начинались (и кон-

чались) здесь. Самые знаменитые узники Америки содержались (или содержатся) в калифорнийских тюрьмах. Анджела Дэвис, «соледадские братья»... Это с одной стороны. А с другой — Сирхан Сирхан, убийца Роберта Кеннеди, Чарлз Мансон, глава «семейства хиппи», посылавший своих людей, ставших роботами, на бессмысленные убийства, ставшие ритуалом.

Здесь, в Сан-Франциско, была «мировая столица хиппи». Здесь, в Беркли, самый боевой университет. Здесь, в Окленде, родилась воинственная партия «Черная пантера». Здесь безумный проповедник Джонс основал свою церковь «Народный храм», последнее прибежище отчаявшихся и обездоленных, в конце концов предпочевших смерть в Гайяне земной юдоли... И тут же роскошь неописуемая. Тут всеамериканская ярмарка тщеславия, звездная галактика Голливуда. Тут штаб-квартиры самых агрессивных монополий, гнезда всевозможных ультра.

Калифорния для Америки примерно то же самое, что Америка для остального капиталистического мира, реальный символ империалистической утопии, военно-промышленный рай. Калифорния рванула в последние десятилетия, сняв сливки сначала со второй мировой войны, потом с корейской войны, затем с индокитайской войны. И всегда наживаясь на «холодной войне». Большая часть калифорнийцев — кто доходом, кто зарплатой — связана с предприятиями авиационной, электронной, ракетной, судостроительной промышленности. Гонка вооружений означает не только дрожжи для молодых концернов, но и хлеб с маслом для местных рабочих, служащих, тех, кого называют ИТР...

Калифорния претендует на образец будущего. Бесспорно другое: сегодня калифорнийский обыватель — образцовый обыватель Америки со всеми присущими ему с прошлых времен и гипертрофированными чертами — самодовольством и реакционностью. Именно этому слою, считающему себя солью земли, импонируют политики типа Рейгана — эдакие простецкие ребята, для которых все предельно просто: «Лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Что хорошо для Калифорнии, хорошо и для всего мира». Именно эта масса (или, если хотите, массовка) и определяет стиль его игры — культ успеха, демагогия, подкрашенная мелодрамой.

Впрочем, о стиле потом, прежде о сути.

Калифорния ныне самый большой по населению штат — больше Нью-Йорка. Это штат самых больших денег (крупнейший банк Америки — не рокфеллеровский «Чейз Манхэттен», а калифорнийский «Бэнк оф Америка»), притом «новых денег», нажитых прежде всего на гонке вооружений. Центр злата.

В обострившейся борьбе за место под солнцем Калифорния потеснила Нью-Йорк, а в целом штаты «Солнечного пояса» (Юг и Юго-Запад) затмевают старый центр денег и власти — Северо-Восток.

Стоит ли удивляться, что Белым домом завладела «калифорнийская мафия»?! Нелепо считать это роковым предопределением, но и не увидеть в этом определенной закономерности было бы странно. Новые власти вскормлены «новыми деньгами», взошли на «новых деньгах».

Американская политическая система всегда была производной от американской капиталистической системы. И президенты США — не столько боги, сколько верховные жрецы, высшие слуги, назначаемые на срок в четыре года управляющие делами федеральной фирмы по имени государство. А кто же владелец и божество? Капиталистический класс в его совокупности.

Эта совокупность — вовсе не синоним монолитности, изнутри она больше напоминает серпентарий, клубок конкурентной борьбы, драку за каждый кусок и крошку национального пирога.

Тут не место предаваться подробным зоологическим классификациям, но одну голову гидры — особо прожорливую и хищную — стоит назвать по имени. Это ВПК — военно-промышленный комплекс. Все последние президенты с опаской глядели на эту голову и спешили удовлетворить ее растущие запросы.

Все, однако, относительно. И в этой череде высших послушников ВПК, выдрессированных президентов, Рейган занимает особое место. То, что он сделал для ВПК, поистине беспрецедентно. Выделить 2 триллиона долларов на военные расходы на пятилетие, мясницким топором пройдясь по всем остальным расходам,— такого еще не было. Это действительно — «революция»! Впрочем, слово это требует некоторых пояснений.

«Консервативная революция» — так обычно определяют в Америке политический смысл рейгановского пришествия. Английское слово «революция» не равнозначно нашему понятию, оно может обозначать любой переворот. В данном случае имеется в виду отказ от либеральных методов капиталистического управления (предполагающих, что государство может и должно вмешиваться в стихию капиталистического рынка дабы избежать кризисов типа «Великой Депрессии» 30-х годов) и откат к консервативным, классически-капиталистическим методам (лозунг: никакого вмешательства в частное предпринимательство, рынок все вывезет!).

То есть «консервативная революция» на деле есть социально-экономическая реакция. (А отсюда уже один шаг до разгу-

ла реакции политической, вплоть до новой «охоты за ведьмами» и инквизиции неомаккартизма).

Да, такой перевод понятий будет более точен. Только при этом не упустить бы, возможно, самый существенный момент.

Лозунг «консервативной революции»: «Правительство (его влияние и вмешательство в дела общества) стало слишком большим». Но разве при Рейгане оно стало меньше? Ничего подобного. Оно стало меньше только в одном отношении — в том, что касается вспомоществований людям — безработным, больным, престарелым, черным, школьникам... Однако все до цента, что было «сэкономлено» по всем бюджетным статьям и сусекам социальных расходов, брошено в один бездонный колодец военных расходов. Так набирают эти 2 триллиона официальных государственных жертвоприношений Молоху ВПК.

Правительство «стало больше»! Его вмешательство стало куда более массированным, однобоким, уродливым. Его социальное воздействие сказывается непременно и самым драматическим образом на уровне жизни, на уровне производительности труда, на уровне демократии, на уровне всего и вся.

Произошла не отмена (или сокращение) правительственного вмешательства, а перестройка приоритетов, перелив денег, передел власти в пользу ВПК. Переворот!

Лозунг «консервативной революции» оказался фальшивкой, дымовой завесой. Ибо в действительности произошла не «консервативная революция», но бонапартистский переворот. Беспрецедентный по методам и результатам. Без гражданской войны и кровопролития, без осады Белого дома ВПК установил практически безраздельный контроль над рычагами государственной власти.

Конечно же, это только схема, но как чертеж она возможно годится. ВПК уже не устраивает роль могущественнейшей фракции правящего класса. Он посягнул на монопольное место в системе власти.

Значение этого переворота для Америки и мира огромно. Ждать миролюбия или хотя бы трезвости, объективного учета реальных факторов от Вашингтона сейчас не приходится.

Президент США — уполномоченный всего правящего класса. Но переворот произошел в самом правящем классе. Власть узурпировал ВПК. И калифорниец Рейган — президент США милостью ВПК и ради ВПК.

Агрессивность его «команды» — это агрессивность ВПК. Их узколобость — не просто некомпетентность, это реальная узость социальной базы, лазерная узость задач, поставленных перед нею.

Закрепить переворот. Осуществить соответствующую пере-

стройку, обеспечить ее экономически, политически, идеологически. Вот с чем и зачем Рональд Рейган пришел в Белый дом.

Запустить в дело максимум новых суперпрограмм: стратегические ракеты «МХ», ракеты средней дальности «Першинг-2» и крылатые, бомбардировщики «Б-1» и «Стэлс», шагнуть железной пятой в космос и т. д., что там еще возможно? Это да. Ведь стоит только раскрутить таким образом маховик гонки вооружений, это уже будет не на год или два — на десятилетия.

Договориться о замораживании? О сокращениях стратегических вооружений или ядерных вооружений в Европе? О той или иной степени и мере военной разрядки? Нет!

Таковы дела. Все остальное демагогия.

Таков секрет 40-го президента. Такова его отнюдь не божественная миссия.

А теперь о маккартизме.

В Америке ныне с тревогой говорят и пишут о возрождении маккартизма или о зарождении неомаккартизма. Отмечают общие черты, спорят о различиях. Один из обозревателей даже пустил в ход определение «мягкий маккартизм — маккартизм без дьявольского взгляда сенатора Джо», что впрочем относится не столько к сути, сколько к внешности, вернее, к внешностям. Суть же одна.

Ярый антикоммунизм вовне, как собака-поводырь слепого, тянет за собой внутреннюю реакцию. Попытки поставить себя над миром невозможны без насилия над собственной нацией, без того, чтобы только эта позиция была признана единственно патриотичной, а любая другая — инакомыслием и предательством. А предательство следует искоренять. Вот и разгораются по всей стране костры правореспубликанской инквизиции, как официальные, так и общественные.

В Салеме считалось, что «ведьмы при помощи дьявола могли не только предсказывать события, но и порождать мышей, ядовитых гадов и тварей, одним прикосновением или даже дыханием своим лишать мужчин и животных силы, напускать порчу и болезни, вызывать бурю, превращаться в кошек и других животных...»

Колдуя над внешней политикой, в нынешнем Вашингтоне тоже исходят из непогрешимой веры в потусторонние силы. То есть сами они веруют лишь в ВПК, но для безропотного выполнения его планов им нужно, чтобы американцы не сомневались в следующих заповедях:

За всеми неприятными событиями стоит коммунистический дьявол. Порчу и болезни напускает Москва... Или, если от простейшей метафоры перейти к прямым цитатам из Рейгана,

СССР — «средоточие» и «центр зла», «Советский Союз несет ответственность за все происходящие в мире беспорядки».

А раз так, то какая же возможна разумная политика? Нет, требуется изгнание дьявола.

И вот они изгоняют его извне и изнутри. Бывший посол США в Москве Томас Уотсон назвал эту позицию очень точно: «термоядерный маккартизм». Либеральный демократ по взглядам, немало повидавший на своем веку и не претендующий на новые официальные посты, он ныне имеет редкую возможность называть вещи своими именами.

Термоядерный маккартизм — это сплав двух самых страшных сил: крайней реакции и глобального ядерного шантажа. Ибо если в средневековое аутодафе добавить термояд, получится апокалипсис сегодня.

Пора вернуться лично к президенту и его роли. Как же он исполняет ее?

Сочетание слов «Рейган и роль», надо признать, довольно стандартное. Мало кто из пишущих избежал искушения напомнить об актерском прошлом нынешнего президента США. Только что же плохого в этом факте? В самом факте ничего. Формула демократии: «каждый может стать президентом» не знает изъятий, и секретной оговорки «кроме актеров» она, насколько известно, не содержит. Так что претензия, скорее, к сегодняшней сути американской демократии — к реальности, а не к декларациям. Я сейчас поясню, что имеется в виду.

Но прежде — американский анекдот 50-х годов. «Трумэн доказал, что президентом в Америке может быть каждый (намек на его провинциальный уровень). Эйзенхауэр — что президента может вообще не быть» (намек на его способность устраняться от дел). Анекдот этот, как видите, по-своему запечатлел сравнительные достоинства двух громовержцев.

Наблюдения за временными жильцами Белого дома могли бы дать немало пищи для цинического ума. Но сейчас нам важнее разобраться, в чем сильные стороны Рейгана-президента.

Маргарет Тэтчер:

«Гений коммуникабельности».

Обозреватель «Нью-Йорк таймс» Энтони Льюис:

«Магия Рейгана — его способность очаровывать журналистов и политических деятелей».

Специальный корреспондент «Вашингтон пост», сопровождавший Рейгана в его европейском турне летом 1982 года:

«Во время поездки Рейгана, видимо, наиболее ярко проявились те его качества, которые помогли ему успешно провести предвыборную кампанию 1980 года. Выступая по телевидению

и на официальных церемониях, Рейган держался весьма просто и естественно и казался настолько дружественным, что... было трудно представить его президентом, который захочет начать ядерную войну».

Джеймс Рестон, политический обозреватель:

«Мастер по части отношений с общественностью... Как никто другой в Вашингтоне, Рейган сознает силу и влияние телевидения».

Дуглас Галлет, помощник президента Никсона:

Успехи Рейгана в конгрессе «были одержаны благодаря контролю над средствами массовой информации при помощи продуманной подачи образа президента».

Да, но ведь это все тоже добродетели, скорее, актерские, чем политические? Не будем торопиться с выводами.

Любопытная запись содержится в американском дневнике Томаса Манна. Великого писателя великий президент пригласил в Белый дом. Встреча продолжалась несколько часов, после чего в дневнике осталось несколько строк записи. Среди черт собеседника, к которому писатель относился с уважением, он особо отметил «актерство».

Таково уж здесь правило игры: политика и лицедейство идут рука об руку. И речь не просто о том, как ведут себя на людях претенденты на выборные посты. Но о характере самой политической системы, при которой демократия не суть, а, увы, всего лишь тщательно продуманная форма, костюм, маскарад. Тот, кто наблюдал хоть одну избирательную кампанию в США, знает, как умело разыгрывается это действо.

«Для огромного большинства избирателей президентская кампания была тем, что они видели по телевидению».

«В политике восприятие значит не меньше, чем реальность, порою даже больше. Что для избирателя общественный деятель? Чаще всего то, чем он ему представляется. Вот почему столько внимания уделяется публичному образу политика и почему с такой легкостью втирают очки...»

«Управление «свободной прессой и ТВ» превратилось в высшую форму политического искусства».

Это выдержки из книги Жюля Уитковера «Марафон. В погоне за президентством».

При всем демократизме американцев, их индивидуализме и духе независимости на деле то, что называется «американской демократией», оборачивается гигантской инсценировкой, розыгрышем, манипуляцией. Представлением народовластия, прикрывающим подлинную власть элиты. Как же в таком случае политика может обойтись без лицедейства?!

Рейган в этом плане не открыл Америки. Но голливудский опыт и калифорнийский экстремизм довели дело до крайности. Между политикой и лицедейством как бы поставлен знак равенства. А уж в этом последнем искусстве этот президент действительно не знает себе равных на американской политической сцене.

Я даже позволю себе высказать парадоксальное соображение, что на определенном этапе военно-промышленному комплексу более всего подходила именно такая фигура.

Для политики, которая предполагает переговоры по существу, трудный поиск взаимоприемлемых решений, компромисса, требуется и соответствующий политик. Для камуфляжа курса на гонку вооружений искусным представлением переговоров о разоружении нужны иные способности. Там, где реальную дипломатию подменяют всякого рода рекламные и пропагандистские шоу, нужен, скорее, актер. Другое дело, что задним числом актеру для убедительности стараются создать образ серьезного политика.

Хороший актер может спасти и плохую картину, считают в Голливуде. Для того чтобы продавать плохую политику, хороший актер нужен не меньше. Умение шутить и рассказывать анекдоты с трибуны не отменяет нешуточных вопросов об американском курсе, но, как это ни анекдотично, порой смазывает их остроту.

Чем хуже реальная политика, тем больше в цене игра.

— У власти военно-промышленный комплекс? Полноте, в Белом доме вовсе не монстр. Посмотрите, как он мило улыбается. В конце концов, это для него слишком сложно...

— Переворот? Какой такой переворот? Америка ведь не Чили, а Рейган — не Пиночет...

Кто же спорит? Но именно поэтому в полном соответствии с традициями «американской демократии» военно-промышленный комплекс выдвинул не генерала-гориллу, а политика-актера. Для того чтобы захватить власть, здесь необязательно устраивать канонаду и штурмом брать президентский дворец. Достаточно провести в Белый дом своего человека, который сумеет внушить миллионам избирателей, что он свояк именно им.

И который сумеет как можно дольше поддерживать демократический иллюзион, что опять-таки есть дело техники — искусства телеобольщения, игры на публику, владения приемами шоу-бизнеса, всего того, в чем Рейган — чемпион.

И вот он играет. Форсированно! Фальшиво! Но тут я снова вынужден защитить его как актера. Это сама роль требует такой игры.

В самом деле...

Отнимая у страждущих вспомоществование и надежду, чтобы накормить ненасытного Молоха ВПК, как убедить их, что печешься об их же благе?

И, бешено вооружаясь, как внушить американцам, что молишься лишь о разоружении? Вот откуда происходит странный сюрреалистический лозунг, который рейгановская администрация, однако, выдвинула вполне всерьез: «Наращивая — сокращать!»

И, срывая, саботируя, загоняя в тупик переговоры, как казаться миротворцем?

Это вообще философский вопрос — можно ли сыграть нормально безумную роль?

Нет, честными средствами этого не добиться.

Поэтому чем более аморальна политика, которую он должен проводить, тем больше он говорил о морали.

Чем меркантильней цель, тем больше изображал из себя пророка.

Чем низменнее мотивы, тем больше призывал в союзники и партнеры Всевышнего. Глумясь и выкручивая ему руки... Как, впрочем, и принято у американцев в отношениях с союзниками и младшими партнерами.

ЯДРО И ПАРФЕНОН

В великих погонях
Бешеных скачек
На наших ладонях
Земного шара мячик.

Велемир Хлебников

ДЕЙСТВО НА СЦЕНЕ ТВД

Самая краткая история человечества, возможно, уместится в одну строку: «От первого Адама — до последней Евы».

«О первых двух людях сочинено уже достаточно, кто-то должен сочинить что-то и о двух последних»,— писал в 1789 году немецкий писатель, ученый и острослов Г. К. Лихтенберг. Легко ему было слыть пессимистом. На заре Великой французской революции подобный, выражаясь современным языком, черный юмор мог сойти за очаровательный цинизм, игру раскрепощенного ума.

Сегодня это уже не шутка.

«До тех пор, пока после ядерной войны в каждой деревушке останутся в живых хотя бы Адам и Ева, мы не потеряем способности к возрождению нации». Так рассуждает командир эскадрильи королевских британских ВВС Харль. То ли в пику ему, то ли в унисон — а впрочем, кого волнуют оттенки троглодитского оптимизма? — торопится высказаться американский сенатор Рассел: «Если нам придется все начинать сначала, с другими Адамом и Евой, я хочу, чтобы они были американцами, а не русскими, и я хочу, чтобы они сохранились на Американском континенте, а не в Европе».

Эти заметки — прямые наблюдения за европейской и американской хроникой в момент, когда она пишется, монтаж реальных фактов, свидетельств и мнений, продиктованный логикой событий.

Работая над фильмами «Марш мира», «Что могут простые люди», «Похищение Европы», наша группа (режиссер Леонид Махнач, кинооператор Василий Киселев, звукооператор Юрий Оганджанов) побывала на протяжении последних лет в ряде стран Западной Европы. Фильмы документальные, они сделаны и не о них речь. Речь о том, что мы оказались свидетелями событий не просто важных — жизненно важных. Мы видели зарождение движения, от которого, возможно, зависят судьбы Старого Света. Да и Нового тоже.

Действующие лица: Старик, Калека, Девушка с плакатом против «Першингов», Молодой американец, Мальчик с мамой, Мама с сыном, Группа буддийских монахов, Гитарист, Близнецы в коляске, Старуха на велосипеде и другие. Всего более тысячи человек. Это участники «Марша мира-81».

(Состав не постоянный. Сначала их было несколько десятков — женщины из Скандинавии, и они дойдут до конца. Это они выдвинули лозунг: «Иди вместе с нами хотя бы один километр, а, если хочешь, то и всю тысячу!» И действительно, по дороге к ним будут присоединяться все новые и новые люди и группы).

У них есть имена. Фамилия старухи на велосипеде Якобсен. Калека — больно называть его этим именем, у него жизнерадостное лицо, крутые плечи и открытая улыбка, но, увы, ноги неподвижны, зато могучими загорелыми руками он так энергично крутит колеса своей каталки, что это сразу делает его равным всем остальным, кого природа не обделила ничем, а может быть, и более равным, чем те, кто может стоять, ходить и бегать, сколько душе угодно, но только не знает, куда идти. Его звать Айгил Нилсен, 36 лет, он учитель истории и музыки... Девушка с плакатом — студентка из ФРГ Ангелика Дитрих... Но сами они подчеркивают: не так важны их имена, национальности или профессии, главное, что они люди; главное то, что свело их вместе.

Парень, лицом похожий на Христа, перебирает струны гитары. «Где-то на планете есть путь к звездам,— поет он.— Неважно какого вы цвета, люди, станьте ближе! Лучше беседовать за чашкой чая, чем услышать брань пулеметов...»

Из разговоров участников марша:

«Пора понять, что наступило новое летосчисление... В четвертое десятилетие после Хиросимы все мы сидим на бочке с порохом. Мир начинен взрывчаткой. По три тонны тринитротолуола на каждую человеческую душу, включая невинных младенцев. Вполне достаточно, чтобы отправить 4,5 миллиарда человеческих душ прямиком в термоядерный ад...

Сегодня сама планета наша превратилась в ракетно-ядерную мишень. Одного нажатия кнопки хватит, чтобы столкнуть шарик с орбиты и расщепить его с легкостью, с какой физики расщепляют ядро...»

Место действия — Европа. Копенгаген — Киль — Бремен — Эйндховен—Брюссель—Париж. Таков маршрут. Они идут через поля, леса и города по одной причине. Они не хотят, чтобы эти ухоженные поля превратились в поле ядерных сражений, а красивейшие города — в пепел. Тревога подняла их в дорогу. Ев-

ропу объявляют потенциальным театром военных действий.

По законам драмы нужен хор или голос протагониста. Есть и хор. Он скандирует прекрасные лозунги, их душа — слово «мир»... Он поет «Скажем атомной смерти «нет!» и «Мы преодолеем!». С этой песней в десятилетие 60-х честные американцы штурмовали бастионы расизма и вьетнамской войны. Сегодня она воспряла над колоннами мирного наступления в Западной Европе...

И голос протагониста тоже есть — звонкий молодой женский голос. Усиленный репродуктором головной машины марша он разносится над улицами: «Внимание, внимание! 6 августа мы завершим наш марш в Париже... Почему 6 августа? Это День Хиросимы. Мы не хотим, чтобы Хиросима повторилась...»

Группа буддийских монахов — японцев — в желтых хитонах с выбритыми головами идет впереди, мерными ударами в бубны как бы отбивая ритм движения.

На ходу или на бивуаке мы берем интервью.

Студентка из Эйндховена:

«Я боюсь того, что происходит в последнее время. Я хотела бы создать немного мира вокруг себя. И я хотела бы повлиять на большие власти...»

Девушка с плакатом:

«Першинги-2» и крылатые ракеты, которые американцы собираются разместить в Европе — это очень опасно. Русские будут опасаться нападения. Их «СС-20» будут нацелены на стартовые площадки «Першингов», а это рядом с нашими городами. Возможность конфликта резко возрастет. И кто бы его ни начал, с нами будет кончено. Ядерный конфликт в Европе — это конец. Европа слишком мала для конфликтов. Важно, чтобы обе стороны — США и СССР — договорились за столом переговоров. Чтобы все, у кого есть ядерное оружие, стремились к разоружению».

Калека. Нет, это несправедливо, все-таки назовем его по-другому. Человек, преодолевший себя. Человек, поднявшийся над своим бессилием:

«Так много людей работают на войну, а кое-кто и наживается на ней. Кто-то должен поработать и на мир. В этом марше я с самого начала и дойду до конца, если, конечно, моя машинка не подведет... Некоторые думают, что мы наивны. Но тогда Давид, поднявшийся против Голиафа, был тоже наивен. А ведь гигант оказался повержен...»

Мальчик:

— Почему я в марше? Я хочу посмотреть разные страны.

— Но ведь это марш мира, а не экскурсия...

Мальчик растерянно озирается, но находит спасительный ответ: «Я иду вместе с мамой...»

Молодой американец:

«Я знаю, насколько силен у нас военно-промышленный комплекс. Тем важнее действовать.

Я не боюсь сказать «нет!» генералам, которые упорно повторяют, что война неизбежна. Ядерное оружие изменило сам характер войны. Сейчас говорят о перспективе локальной ядерной войны в Европе, но я не хочу быть ее участником. Нас запугивают русскими. В 75-м году я был в России, и у меня нет той паранойи по поводу русских, какая вдалбливается в мозг среднего американца...»

Мама с сыном. (Прислушайтесь к тому, что и как она говорит. Мы еще встретимся с нею — ровно через год.)

Итак, Мама с сыном:

«Хейг сказал, что есть вещи поважнее, чем мир. Какое страшное заявление!

Этот мир так прекрасен, только жить да жить. Мы обращаемся к НАТО и к Варшавскому договору. Мы обращаемся ко всем, на ком лежит ответственность. Сегодня нет ничего важнее мира. Какую бы цену ни заплатить за мир, все воздастся сторицей. И нет ничего благодарней вложений в мир.

У одного из участников этого марша есть хорошая присказка. Представьте себе, говорит он, что они постараются развязать войну, а никто на нее не придет. Если все мы откажемся следовать безумию...

Я работаю, свободного времени немного. О марше услышала не сразу, но тут же взяла отпуск, и мы с сыном включились в марш».

Женщина с сыном из Австрии. И с нею мы вновь встретимся в Вене 6 августа 1982 года.

...Когда бы мы ни оказались вблизи коляски с близнецами, те мирно спали. В этом, думается, и был ответ их родителей. Они хотят, чтобы их малыши могли мирно спать и дальше.

Старик:

«Если марш продвинет нас к миру хотя бы на шаг, я должен идти».

74-летний профессор из Осло прошел весь путь — это 45 дней.

77-летняя женщина из Дании проехала на велосипеде весь путь — 1200 километров.

Год спустя. Лето 82-го.

...В руках у Евы Нордленд стяг, на верхушке древка — пу-

чок васильков. Стяг голубой, голубь посередине белый, васильки синие. Васильки появились в Стокгольме, где собрались триста участников «Марша мира-82» из Дании, Норвегии, СССР, Финляндии и Швеции. Они проплыли над Турку и Хельсинки. После Выборга, первого советского города, где торжественно встретили многонациональный поезд, васильки исчезли. «Куда же ушли цветы?» — спрашиваю я. В ответ слышу удивительную историю.

Эти васильки вручила Еве Нордленд финская женщина, участница «Марша мира-81». Она так мечтала снова отправиться в дорогу, но, увы, не смогла. И тогда попросила донести ее личное послание до советской земли — пучок васильков...

Еще одна деталь. Тоже не самая крупная. И сентиментальная, если хотите. Ленточки.

Голубые, розовые, зеленые — они развевались на ветру за плечами у скандинавок, радуя глаз и как бы вырывая колонну из буден, придавая ей оттенок праздничности.

На каждой ленточке адрес и роспись — человека, который поддержал марш словом и взносом.

Сколько же людей с Запада участвовало в этом марше? Да, 300 скандинавских женщин. Но за плечами у них как минимум те несколько десятков тысяч их соотечественников, что уполномочили их на поход.

И все же... Ленточки и васильки против Бомбы... Не слишком ли неравный спор? Не будем спешить с ответом. Давайте постараемся понять, что движет этими людьми.

Если кто-то олицетворяет эту живописную колонну, то, пожалуй, норвежка Ева Нордленд. «Марш мира-82» — ее детище, ее мечта, ее дело. Она одна из той тройки самоотверженных скандинавок, что стояли у истоков самой идеи. О себе она говорит: «Я обычная женщина, учительница, мать четверых детей, и меня очень тревожит то, что происходит сейчас в мире».

Это действительно очень скромная и умная женщина. Она старается держаться в тени, хотя ей это и не всегда удается: за год она обрела популярность и авторитет. Ее всегда волновала тема человеческой ответственности. На семейном уровне (четверо взрослых детей) — ответственность родителей перед детьми и детей перед родителями. На профессиональном (она профессор университета в Осло и автор ряда книг) — взаимная ответственность преподавателей и студентов друг перед другом и школы перед обществом... Неожиданно тема выросла в ее сознании до размеров трагических — ответственности за саму жизнь на земле, за будущее рода человеческого.

Ей кажется, что перемена произошла в один день.

«Я хорошо помню этот день,— говорит она.— Это было в конце 1979 года, когда я услышала о планах модернизации ядерного оружия в западных странах. Я всегда считала, что ядерное оружие — это худшее, что есть на земле. А теперь, значит, собрались модернизировать худшую вещь на земле? Я словно проснулась... Конечно же, я была неграмотна в этих вопросах. Я должна была многое изучить, услышать, обсудить с различными людьми. Так я узнала по-настоящему про гонку ядерных вооружений. Политики сеяли надежды, а горы оружия продолжали расти как на Западе, так и на Востоке. Сейчас в мире накоплено 60 тысяч атомных боеголовок — миллион потенциальных Хиросим. Появилась возможность уничтожить людей, природу — абсолютно все!»

Нечто созвучное говорила, обращаясь к тысячам людей, и Элиза Хюберт на Пискаревском кладбище в Ленинграде. Это, видимо, единственное в мире кладбище, где индивидуальных могил меньше, чем братских, и где есть братские могилы на 50 тысяч человек.

...В соборе святого Павла в Лондоне хранится книга памяти и печали. В ней тысячи фамилий американских солдат, погибших на фронтах Европы.

Какой была бы книга, если попытаться занести в нее имена 20 миллионов жертв, которые советский народ принес на алтарь свободы для Европы и всего человечества!..

Участники марша побывают и в Хатыни — этом кладбище белорусских деревень. И так же как на Пискаревском кладбище братских могил, невольно подумалось: «А ведь это не просто память — послесловие к минувшей войне, но и возможное предвестие. Предостережение! Ведь случись непоправимое, и целые города превратятся в кладбища и братские могилы. Только памятников после третьей мировой уже не будет».

Шел митинг ленинградцев и участников «Марша мира-82» на Пискаревском кладбище. Речь представительницы Международной лиги женщин за мир и свободу Элизы Хюберт я бы не назвал эмоциональной. Но на многих подействовала ее логика.

Демонстрации общественности, которые происходят повсеместно,— это выражение естественного страха людей перед войной, считает пожилая шведка. (Ленинградский поэт Михаил Дудин несколькими минутами раньше сказал очень похоже, разве что с большим пафосом: «Участники этого марша перешагнули порог страха и ради торжества жизни взяли ответственность за будущее на свои плечи».) У нас остается мало времени до того, как упадет «нож гильотины», продолжала Элиза Хюберт. Каждый третий ученый мира работает над тем, чтобы

изобретать все новые, все более рафинированные и изощренные виды «дьявольского оружия». Десятилетиями идут разговоры о разоружении, но торжествует безумие подготовки всеобщей катастрофы. Переговоры не приносят соглашений, вместо этого они, если воспользоваться горестным выражением известного социолога Алвы Мюрдаль, «выполняют функцию групповой терапии». Поэтому общественность не вправе оставаться безучастным свидетелем скатывания к пропасти, не вправе полагать, что политики все исправят. Нужно сделать, чтобы воля простых людей к разоружению стала политической силой.

«Давайте же вместе строить мосты, а не городить препятствия! — призвала Элиза Хюберт.— Давайте вместе дадим миру шанс и вернем молодежи будущее!»

Я снова хочу вернуться к беседе с Евой Нордленд. Мы задали ей непростой вопрос: «Война — это такое серьезное, сложное и страшное дело. Что могут против нее слабые женщины?» Ответ был такой:

«Наши встречи, дискуссии, выступления не проходят даром. В 1981 году мы задумали протянуть ленту живой связи через пять стран, чтобы говорить с людьми, показать им, какая нависла над всеми угроза. В 1979 году в Норвегии у нас не было и разговоров о том, что на севере Европы нужно устроить безъядерную зону, а ныне, согласно опросам, 70 процентов людей высказываются «за». Мы стараемся выразить идеи, которые уже назрели. Сейчас, когда две великие державы обладают ядерным равенством, пора сказать «Стоп!» гонке вооружений. Самое главное — это сказать «Стоп!»,— повторила Ева Нордленд.

В августе 1983 года она прошла в марше мира Осло — Нью-Йорк — Вашингтон.

КОЕ-ЧТО О КРЕТИНИЗМЕ

В лучшем случае им говорят так: «Вы наивные люди. Вопросы, связанные с вооружениями, сложны. Что вы в них понимаете? Они для специалистов, а не для людей с улицы».

А они и не строят из себя экспертов. Только они уже знают, что есть нечто похуже неведения простака — профессиональный кретинизм спеца. Нужны примеры?

«Военные расходы укрепляют экономику и даже благосостояние нации...»

Этот довод пропагандируется в США широко и высоко. Тьма заинтересованных экспертов засыпет любого выкладками на те-

му о том, какую благодать принесет в тот или иной округ, скажем, штата Невада или Юта решение вписать в его пейзаж военный завод или площадку для новых ракет «МХ»: какие деньги притекут сюда из федеральной казны, сколько рабочих мест будет создано, как благотворно все это отразится на жизненном уровне местных жителей и индексах национальной экономики.

Не нужно однако обладать никакими специальными знаниями, чтобы понять: возможные *убытки* несоизмеримы с этими скрупулезно высчитанными прибылями, они не уместятся ни в какую калькуляцию. Своими собственными руками население штата вешает над головой нож ядерной гильотины. Да и деньгам этим, если на то пошло, можно найти куда лучшее применение, ведь так в конечном счете они будут просто выброшены на ветер.

...Декларации американских политических деятелей часто обладают той же степенью интеллектуальной неотразимости.

Знаете, почему администрация Рейгана предприняла невиданные усилия в области вооружений? Около *двух триллионов* долларов будет израсходовано в ближайшее пятилетие на военные цели!

Честно говоря, эту цифру невозможно представить. Миллион — уже вполне абстрактная цифра, никто из нас такой суммы в руках не держал, а если и занимался тайными досужими подсчетами жизненных потребностей, то, и сложив все на свете плюс золотую рыбку впридачу, вряд ли доходил до этой магической отметки. Впрочем, спасибо Рейгану с его любовью к эффектным штукам, он разъяснил: «Если у вас пачка тысячедолларовых купюр толщиной в четыре дюйма, то вы уже миллионер. А вот пачка тысячедолларовых купюр общим достоинством в один триллион долларов составит пирамиду в шестьдесят семь миль».

Два триллиона долларов — это гора тысячедолларовых купюр высотою в 134 мили, куда тут тягаться пригорку под названием Эверест... Представляете, какие горы оружия можно нагромоздить в обмен на эту *кучу* денег?!

Аппетиты американской военщины всегда были невообразимыми. В годы вьетнамской войны, помнится, газеты с тревогой писали о том, что такими темпами бюджет Пентагона может дойти и до ста миллиардов долларов в год — фантастическая, *астрономическая* цифра! Сейчас пришла пора считать на триллионы. И это уже рейгановский вклад.

...Так знаете ли вы все-таки, почему администрация Рейгана загоняет гонку вооружений выше неба? Оказывается, пото-

му, что она стремится... к разоружению. Ибо «прежде, чем разоружиться, надо как следует вооружиться». Так прямо и говорят в сегодняшнем Вашингтоне. И, как ни печально, для определенной публики это аргумент!

Весьма яркий случай политического идиотизма. Нужно ли быть экспертом, чтобы понимать это? Напротив, надо быть просто человеком, не утратившим здравого смысла.

А почему американцы в конце картеровского — начале рейгановского правления ушли практически со всех переговоров, на которых обсуждались различные аспекты ограничения и сокращения вооружений и военной деятельности? Почему, все-таки очутившись в Женеве (на аркане у общественного мнения и собственных европейских союзников) на переговорах по ограничению и сокращению стратегических вооружений и ядерных вооружений в Европе, они упорно блокировали их? Оказывается, по той же причине. Потому что администрация Рейгана страстно жаждет крупных сокращений. Непонятно? Но если принять вашингтонские рассуждения за чистую монету, то им для этого надо было... ровным счетом ничего не делать. И тогда, увидев американскую «непреклонность», русские должны были мгновенно согласиться отправить на слом свои вооружения...

Рейган не раз производил фурор своими откровениями. И все же героем фразы № 1 оказался не он.

«Есть вещи поважнее, чем мир...» Вот фраза-чемпион. Ее цитировали бессчетное число раз. Но давайте все-таки разберемся, а почему было сказано именно так.

«Есть вещи поважнее, чем мир. Есть вещи, за которые американцы должны хотеть воевать...»

Ну что он дурак, что ли, — скажем нарочито грубо — этот Александр Хейг, чтобы не понять, что говорит? Ничего подобного. Хейг — умный и расчетливый американский политик. «В дураках» он оказался именно поэтому.

Только сначала договоримся о терминах.

В русском языке есть одно слово «политика». В английском (американском) — два слова и соответственно два разных понятия. «Policy» — политика как линия поведения. И «politics» — политика как борьба за власть, игра и соперничество партий, фракций и лиц. Эта вторая политика (politics) на деле оказывается первичной, самодовлеющей, самой главной — пример 40-го актерствующего президента доказывает это весьма наглядно. Смысл и цель американской политики (politics) — не выработка программы для решения проблем (данного штата, национальных или международных) — это уже как бы вторичная задача, но прежде всего обеспечение пути на-

верх, к кормилу власти (в рамках данного округа, штата или федеральных). Это искусство привлекать голоса, нравиться публике. И — что куда менее очевидно — это умение угождать всемогущим «делателям королей», тем персонифицированным и анонимным силам, от которых на деле зависит карьера политического лица.

Зато парадокс, в русском языке есть два слова: «политик» и «политикан». Но в английском только одно — «politician». Этимологическая (и этическая!) граница разомкнута. Между политическим долгом и грехом политиканства нет водораздела, в американской практике они неразрывны. Политика невозможна без политиканства. Политиканство и есть политика. Цель оправдывает средства. Все едино.

...Заступая на пост госсекретаря США, Хейг выступал перед сенатской комиссией. И обращался он именно к ней — ну и, конечно, шире — к правым реакционным агрессивным кругам, которые при Рейгане задают тон. Он хотел покрасоваться в роли «сильной личности», понравиться американским «ура-патриотам» и шовинистам. И, к слову сказать, там афоризм пришелся по вкусу, так что политически, если хотите, это была даже «удачная» фраза, «умный» ход.

Другое дело, что у нее оказался побочный эффект — возмущение человечества.

Хейг сделал классическую ошибку. Он не учел, что существует площадь пошире сенатской. На беду, его услышали простые люди — не только в Америке, главным образом не в Америке. А они — простые люди, не политики и не эксперты — поняли больше, чем те, кто заседал на Капитолийском холме. Они поняли самое главное: не только чего ждать от данного политика на данном посту, но и чего ждать от нынешнего американского курса. Они увидели, как чудовищно опасны снобизм, узость мышления, ослепленность амбициями, карьеризм и политиканство деятелей типа Рейгана и Хейга, изначальное высокомерие правящей американской элиты, которая свой кастовый, классовый интерес ставит превыше всего, выше интересов человечества.

Нет, это не глупость. Это — безумие!

Да, есть вещи похуже, чем профессиональный кретинизм узких специалистов — безоглядность подобного политиканства. Своих целей — любой ценой! Так оно внутренне запрограммировано. А там хоть трава не расти. Особенно если там — это где-нибудь на Ближнем Востоке, в Латинской Америке или даже в Европе, а не в благословенной Калифорнии...

Но сегодня трава может действительно не вырасти. Можно

ли на это закрывать глаза? Увы, можно. Корысть, соображения карьеры, престижа, круговая порука политиканской зависимости, «фурии частного интереса», по выражению Маркса,— страшная сила.

ПОСЛУШАЕМ БЫВШИХ ПРЕЗИДЕНТОВ...

На одной из площадей Рима, у входа в собор, древнее, еще языческих времен изваяние — бронзовый лик с разверстыми, словно в крике, устами. По преданию, тот, кто приблизится к этому лику, не смеет лгать, иначе его постигнет небесная кара. Ибо это — «Уста правды».

Прекрасная легенда. И какой славный обычай — не лгать. Как жаль, что пространство перед этим ликом так мало! А за его пределами славный обычай, видно, теряет силу. Иначе разве могло бы уже в наши дни родиться такое множество мифов? И среди них самый опасный — миф о «советской угрозе».

Он туп и примитивен — этот миф. И, может быть, поэтому — безотказен. Он действует уже седьмое десятилетие.

Его опровергали лучшие умы человечества.

Томас Манн высказался так: «Я думаю, никто не заподозрит во мне поборника коммунизма. Однако я не могу не видеть в страхе буржуазного мира перед словом «коммунизм» — страхе, на котором так долго держался фашизм, — какого-то суеверия, какой-то незрелости, главной глупости нашей эпохи».

Убийственный приговор. Но страх — прибыльная материя, и «главная глупость нашей эпохи» жила и здравствовала. И продолжала отравлять души людей и воздух истории. Сколько глупостей (и преступлений!) получили «оправдание» в этой высшей, поистине эпохальной глупости — от «охоты за ведьмами» до разгула милитаризма и оргий «холодной войны».

...Грозно морща невысокое чело, без тени смущения президент Рейган заявляет:

— Сегодня практически в любом виде военной мощи Советский Союз обладает явным преимуществом.

(Обращение к нации 22 ноября 1982 года.)

Но ведь это даже не миф, это просто ложь. И это известно каждому мало-мальски сведущему человеку.

...Осенью 1982 года жителю маленького города Плейнс (штат Джорджия, США) Джимми Картеру журналисты задали вопрос: «Какие мотивы, по вашему мнению, кроются за рейгановскими утверждениями о советском превосходстве?»

И бывший президент США ответил так:

— Я хочу сначала рассказать вам об опыте, полученном мною на посту президента. И в те времена военные руководители нашей страны хотели добиться увеличения расходов на оборону. Они выдвигали в качестве аргументов то якобы имеющееся у нас отставание в подводных лодках, то в самолетах. Им, дескать, нужно больше денег, чтобы нагнать упущенное. Когда на пост президента вступил Рейган, перед ним стояли две цели: сокращение социальных программ и огромное повышение военных расходов. Он надеялся, что болтовня о так называемом отставании выудит у конгресса и американского народа больше денег для военных...

(Из интервью западногерманскому журналу «Штерн».)

«Болтовня о так называемом отставании выудит больше денег для военных».

Спасибо, Джимми! Но что мешало сказать эту правду раньше, в Белом доме?

Еще один экс-президент.

Джеральда Форда спросили: «Какое решение было для вас наиболее трудным в области международных отношений?»

Ответ был таков:

— Для меня наиболее трудным было как раз отсутствие решения. Наиболее трудной проблемой и обстоятельством, о котором я очень жалею, было то, что в 1976 году мы не смогли согласовать окончательно Договор ОСВ-2.

— Вы были близки к этому, не так ли? — настаивал журналист.

— Я бы сказал, что мы решили эту задачу по меньшей мере на 90 процентов. Если бы мы добились заключения хорошего соглашения об ОСВ-2, а мы были на пороге этого, только представьте себе, какими непохожими на теперешние были бы сейчас американо-советские отношения.

(Из интервью газете «Крисчен сайенс монитор».)

Редкостный миг просветления. Но что мешало Форду поставить точку в этом важном деле? Что мешало Картеру добиваться ратификации договора в сенате США, если оба они так ясно представляют себе, какой урон наносится американскому народу и всему человечеству?

И может быть, даже Рейган когда-нибудь пожалеет о дикарских танцах, которые его команда отплясывала на «могиле» ОСВ-2? Когда тоже станет бывшим...

Но не будем сентиментальны.

Что за путы опутывают этих могущественных американских президентов?

В январе 1961 года президент Эйзенхауэр произнес действительно исторические слова: «военно-промышленный комплекс». Он сказал, что его «всеобъемлющее влияние — экономическое, политическое и даже духовное — ощущается в каждом городе, в органах управления каждого штата, в каждом учреждении федерального правительства». «Мы должны в наших государственных делах остерегаться установления военно-промышленным комплексом ничем не оправданного влияния...» — предупредил президент. Впрочем нет, уже экс-президент. Вещие слова были произнесены в прощальном обращении к нации.

Восемь лет находился Айк в Белом доме. Момент истины наступил лишь в самый последний день.

Ну хорошо, снизим уровень исповеданий. Министр обороны США, естественно, бывший. Его голову сравнивали с компьютером. Роберт Макнамара признает сегодня:

— Мы преувеличиваем могущество советских сил и недооцениваем мощь наших... В этом нет ничего нового. Это продолжается многие годы.

(Из интервью газете «Лос-Анджелес таймс».)

А что думают послы?

— Разве американская угроза ядерной эскалации не служила до сих пор убедительным средством сдерживания Советского Союза?

На этот вопрос Джордж Кеннан, бывший посол США в Москве и между прочим автор концепции «сдерживания», отвечает так:

— Вообще-то я не думаю, что со времени второй мировой войны Советский Союз хоть раз планировал или хотел напасть на Западную Европу. Я никогда не верил в то, что, не будь нашей ядерной угрозы, Россия напала бы на наших союзников.

(Из интервью, распространенного корпорацией «Нью-Йорк таймс синдикейшн сэйлз».)

Бывший посол США в Москве Малкольм Туп:

— Меня беспокоит тенденция Рейгана и некоторых людей из его окружения возлагать на русских ответственность за все неприятности, происходящие в разных районах мира. Мы поступим явно упрощенчески, если будем считать, что все события в мире, носящие антиамериканскую окраску, представляют собой прямой результат злого гения русских.

(Из интервью журналу «Ю. С. ньюс энд Уорлд рипорт»).

Еще один бывший посол в Москве Томас Уотсон:

— Мы стали жертвами специалистов, мыслящих теоретическими категориями, которые убедили нас, что им виднее и преимущество в ядерном потенциале обеспечит нам бо́льшую безопасность. Оглядываясь назад, я сказал бы, что наша политика была крайне неудачной. Более того, в ретроспективе она выглядит чистой воды безумием. К счастью, сейчас простые граждане нашей страны быстро приходят к таким же выводам.

(По сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс.)

И еще раз Томас Уотсон:

— В течение 30 лет наша политика основывается на концепции применения ядерного оружия. И вот сейчас у нас есть оружие, обладающее такой разрушительной силой, и у обеих сторон так много такого оружия, что политика, которую мы разрабатываем, кажется мне абсолютно безумной.

Я многое узнал о ядерном оружии. Потом я провел полтора года в России и поэтому узнал кое-что о русских и решил, что должен поделиться некоторыми своими мыслями.

Нам по меньшей мере три раза предоставлялась возможность заключить договоры, которые хотя бы замедлили темпы гонки вооружений. Но наши технические возможности, а также военно-промышленный комплекс, к которому я, несомненно, принадлежал в течение большей части своей жизни, постоянно толкают нас к тому, чтобы продолжать неуклонно развивать свою военную технику.

Самая главная истина в отношении Советского Союза и Соединенных Штатов состоит в том, что Советский Союз существует, и от этого никуда не денешься, и мы будем либо жить с ним вместе, либо вместе погибнем. Это абсолютно ясно.

(Из статьи в газете «Бостон глоб».)

Да, слушать бывших президентов, министров и дипломатов — занятие порой куда более просветляющее, чем внимать нынешним.

БОМБА НА ПЛОЩАДИ ЛЯ МОНЕ

Монтескье называл Европу «мастерской человечества». Французский просветитель XVIII века на первое место ставил ее ведущую роль в мировой технической цивилизации. Но Европа — это и прозрения ее художников. Это монументальные воспоминания в бронзе и камне, которыми так богаты ее города. Это идеи и храмы, что пережили века.

Великая культура... Каждое новое поколение находит в ней бесценное завещание. И обещание.

И через всю историю страждущей европейской мысли проходит одна идея. 400 лет назад великий жизнелюбец Рабле выразил ее так: «Человек создан природой для мира, а не для войны, рожден для радости, для наслаждения всеми плодами и растениями».

Мы говорим: «Камни Европы...» «Священные камни...» Но почему все-таки к а м н и?

В V веке до нашей эры гений Фидия не замышлял Парфенон в виде развалин. В XVII веке нашей эры захватчики-турки превратили его в пороховой склад. Одного-единственного пушечного ядра хватило, чтобы он обратился в руины.

Есть антиподы — абсолюты. Жизнь и смерть. Война и мир... Александр Кривицкий нашел у русского писателя Энгельгардта замечательное свидетельство: один Наполеон «во время достославной своей карьеры пролил 800 тысяч ведер человеческой крови».

Троянская война. Крестовые походы. Семилетняя, Тридцатилетняя, Столетняя...

Первая мировая. Вторая...

Сколько войн пережила Европа. Но и все вместе взятые они не могут сравниться с тем, что способна обрушить на человечество война конца XX века.

...Шел дождь, но на площади Ля Моне в Брюсселе шумно, как на ярмарке. Два оркестра с импровизированных помостов грохотали по очереди, не жалея децибеллов и все более и более взвинчивая темп. Вокруг немало знакомых лиц — молодые участники марша мира. Один из них раскрасил лик в черный цвет, нанеся сверху белый знак разоружения.

Наступила пауза. Как вдруг тишину разбил счет метронома, прорезал смертельный крик трубы, оборвавшийся страшным взрывом. И все, как подкошенные, повалились на землю. Шел дождь — серый пронизывающий дождь, на площади стояли лужи, а они лежали не шелохнувшись, молчаливо крича против атомных взрывов, угрожающих Европе, против радиоактивных дождей, что прольются тогда на нашу Землю...

Для того чтобы понять принцип действия атомного оружия, нужно быть специалистом. Для того чтобы понять, что будет, если оно заговорит, не нужно быть специалистом. Если хотите, нужно быть принципиально неспециалистом — просто человеком с незамутненным взором.

«Я работал над созданием первой атомной бомбы, участвовал в испытаниях, был причастен к бомбардировке Нагасаки.

Я не понимал тогда, к каким последствиям это приведет...»

Трем американским президентам служил советником по науке Джордж Кистяковский. Прозрев, он заговорил вот так:

«Сейчас созданы бомбы в тысячу раз мощнее. В арсеналах у нас и у Советского Союза ныне скопились десятки тысяч единиц ядерного оружия. Если когда-нибудь оно будет приведено в действие, наверняка придет конец тому миру, в котором мы живем.

Но ведь это ужасающая перспектива!

Сам я уже старый человек, о себе беспокоиться не приходится. Но у меня есть дети, есть внуки. И я хочу, чтобы они жили».

Это интервью Джордж Кистяковский дал незадолго до смерти.

Быть или не быть?! Тебе, мне, близким и дальним... Это не специальный вопрос. Его никак нельзя отдавать на откуп касте глубокомысленных жрецов в дипломатических сюртуках или военных мундирах, профессиональным актерам политической сцены. Это ныне общечеловеческий вопрос. Он для каждого человека.

Когда участники «Марша мира-81» шли через Западную Европу, противники провоцировали их и стращали: «Ваш марш односторонен. Почему вы не идете на Восток? Вас же туда просто не пустят...» Год спустя их обвиняли именно в этом — в том, что они пошли на Восток.

Недоброжелатели вообще не стеснялись в выражениях. «В маршах участвуют экстремисты. Либо те, кому нечего делать...» На самом деле это была реакция на знаменательнейшее явление наших дней: те, кого на Западе принято называть «люди с улицы», «молчаливое большинство», словом, простые люди, пробуждаются. Они держались вне политики, пока политика держалась вне их, во всяком случае не представляла для них жизненной угрозы. Но «сон разума порождает чудовищ» — Гойя был прав, выбрав эти слова девизом к офорту 43 из серии «Каприччос». Те же стратегические ракеты «МХ», «Першинги-2», крылатые ракеты, подводные лодки «Огайо», наконец, нейтронная бомба... Словно в одночасье многолетняя политика Запада материализовалась в эти чудовища, и тогда общественной летаргии пришел конец.

...Работы над нейтронной бомбой шли в Ливерморской лаборатории в США, начиная с 1958 года. Их окутывала завеса строжайшей секретности. Бюджетная графа, по которой выде-

лялись средства на тайные изыскания, звучала самым невинным образом — «общественные работы». Впрочем, и это стало известно лишь через 20 лет — в 1977 году, когда Картер счел возможным легализовать новорожденное чудовище.

Родители чадом не нахвалятся. Взрывная мощность порядка одной килотонны, иными словами она равна тысяче тонн условной взрывчатки. В семействе термоядерного оружия это самая маленькая бомба, просто бэби-бомба. И убивает малютка не столько взрывом, сколько радиацией.

В идеале — да простится слово, упомянутое всуе, — это выглядит так. Завод в порядке, только рабочие у конвейера погибли. Памятники стоят как ни в чем не бывало, только людей не стало. «Уста правды» целехоньки, только некому задать им вопрос: что есть правда? и некому отличить жизнь от смерти. Жизнь остановилась. Смерть умерла. Вся Земля — одно огромное кладбище. Пейзаж превратился в натюрморт для пришельцев. Из-за океана. Или из иных миров.

Нейтронная бомба убивает только живое, оставляя в живых все мертвое. Поистине идеальное оружие! Тем более для Европы.

«С такой «ювелирной драгоценностью», какой является нейтронная бомба, Гитлер мог бы избежать ненужных разрушений в варшавском гетто, Франко не пришлось бы топтаться многие месяцы перед университетским кварталом Мадрида, а если углубиться в историю, Тьер эффективно подавил бы Парижскую коммуну, не разрушив замков Тюильри и Сен-Клу, этих бесценных памятников истории».

Злую реплику подает мятежный французский адмирал Антуан Сангинетти.

А что думает по поводу нейтронной бомбы Рейган?

В 1978 году, выступая по радио, он сказал так: «Очень просто — это оружие с лучом смерти из научной фантастики, о котором раньше только мечтали. Оно убивает солдат противника, но не взрывает окружающую местность, не уничтожает деревень и городов. Это оружие сдерживания, доступное нам по гораздо более низкой цене... Поистине, нейтронная бомба представляет собой моральное улучшение среди ужасов современной войны».

«Сбывшаяся мечта»... «Моральное улучшение»... Поистине святые люди породили нейтронную бомбу. А вот и сам святой отец.

Знакомьтесь, Сэмюел Коэн. Он называет себя «добрым католиком». Его называют «отцом» нейтронной бомбы.

Рассказывают, что однажды с ним произошло следующее. На

обеде в миссии Ватикана при ООН молодой иезуит, узнав, кто восседает напротив, выронил ложку и лишился чувств, словно бы увидел сатану. Придя в себя, молодой священник заявил, что рассматривает ядерное оружие, в том числе и нейтронную бомбу, как надругательство над «теологическими и моральными принципами».

Голландское телевидение сняло интервью с Коэном. Это удивительный документ. Некоторые выдержки из интервью:

Коэн: Да, я согласен с Рейганом, когда он говорит, что предпочел бы ограниченную войну в Европе тотальному конфликту, в который бы оказались втянуты и США.

Корреспондент: Странно, однако, что вы все время толкуете о Европе, о войне в Европе. А я вот живу в Европе, и ваши слова не доставляют мне особого удовольствия.

Коэн: Логично. На это я могу сказать только, что вам не повезло в том отношении, что вы живете по соседству с советским блоком. Вам угрожают, мы же отделены от них океаном.

Корр.: Ваш сын служит на флоте. Как вы будете себя чувствовать, если он станет жертвой бомбы?

Коэн: Флот тут ни при чем. Бомба не применяется на море.

Корр.: Что бы вы предпочли: чтобы ему угрожали торпеды или нейтронная бомба?

Коэн: Я бы, пожалуй, предпочел торпеду. В этом случае мой сын мог бы спастись на плоту или на шлюпке и остаться в живых.

Корр.: Неужели вам никогда не приходила мысль: что же я изобрел?

Коэн: Нет, никогда.

...Но что за шум по поводу нейтронной бомбы? Разве не лучше она атомной или водородной — аккуратней, меньше, чище?.. Уже сам подбор эпитетов чего стоит — словно счастливый папаша несет свежевыкупанного младенца в крахмальную постельку и не в силах сдержать чувств. Протестантов против нейтронной бомбы обвиняли в лицемерии или глупости.

Однако те, кто выходили на улицы с плакатами «Долой нейтронную бомбу!», вовсе не требовали «Даешь атомную бомбу!».

Атомная бомба ворвалась в жизнь человечества без предупреждений. Не ворвалась даже, а взорвалась Хиросимой и Нагасаки в конце страшной войны и стала реальностью. Увы, сегодня это уже старая реальность, которую нельзя просто отменить. А нейтронная бомба — это новая реальность. И на-

ученное горьким опытом человечество может не пустить ее на порог. Отсюда и накал страсти. Не допустить новой угрозы все-таки проще, чем разрядить старую.

И в некотором роде нейтронная бомба хуже атомной. Она хуже именно тем, что «лучше» — «аккуратней, меньше, чище». Выходит, она уже не так страшна — эта нейтронная бомба? И атомная война, если вести ее «ограниченно», с помощью нейтронного оружия, уже не так кошмарна?

Чудовищная мысль.

Нейтронная бомба — это разновидность атомной бомбы. Но она хуже ее, потому что делает ее «менее страшной», более «привлекательной», а саму атомную войну более «приемлемой». Как говорят специалисты, понижает ее порог.

Нейтронная бомба — это запал атомной войны. Даже если на первых порах он кажется и ограниченного действия.

...Если неограниченная ядерная война катастрофична, самоубийственна, бессмысленна, то что из этого следует?

А следует, оказывается, то, что имеет смысл «ограниченная» ядерная война...

Такой вывод во всяком случае сделан в американской стратегии. Еще одно порождение безумной логики. Нейтронная бомба и «ограниченная» ядерная война — сестры-близнецы. Они созданы друг для друга, взаимно оправдывают друг друга.

17 октября 1981 года президент Рейган завтракал с провинциальными американскими редакторами. «Как я полагаю, — сказал один из журналистов, — некоторые европейцы опасаются, что в конечном счете они могут стать своего рода случайными жертвами в войне между нашей страной и Советским Союзом...» Несмотря на утвердительную форму, это был вопрос: есть ли, мол, у них основания для этих опасений? И президент фактически ответил «да». «Может создаться такая ситуация, — сказал Рейган, — когда произойдет обмен ударами с применением обеими сторонами тактического оружия против воинских контингентов на поле боя без того, чтобы какая-либо из великих держав нажала на кнопку». (На кнопку своих стратегических ракет.)

Провинциальная откровенность президента ввергла европейцев в шок. В этих словах многие увидели признание в планировании ядерной войны для Европы.

Вот мнение бывшего итальянского генерала, а позже сенатора Нино Пасти. В НАТОвской иерархии он занимал очень высокое положение — был заместителем верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе по ядерным делам.

«В течение долгой военной карьеры мне приходилось иметь дело с ядерным оружием. Для меня поэтому нет никакого сомнения в том, что ядерная война будет общей катастрофой, — заявил нам Нино Пасти в Риме.— Я полагаю, что в сознание американцев прочно засел тот факт, что в прошлых войнах, а в последней в особенности, главные жертвы пришлись на европейцев. И теперь они тоже были бы непрочь, чтобы война вновь ограничилась Европой. Однако неразумно полагать, что американцы будут избавлены от возмездия. Как бы то ни было, Европа превратится в руины...»

В том разговоре в Риме промелькнул образ классической греческой и римской мифологии — «Похищение Европы», и генерал-сенатор принял его, но с уточнениями.

«По легенде, Зевс похитил Европу, потому что влюбился в нее. Новый Зевс — американский повелитель мира — не любит Европу. Он ее взял даже не в качестве наложницы, а заложницы...»

Ядерная заложница... Впору говорить уже не о похищении, но о жертвенном заклании Европы.

«Мы не собираемся сдерживать ядерную войну в Западной Европе», — без обиняков заявил генерал Бернард Роджерс, главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе, выступая перед конгрессменами. По его словам, такая война «выльется в стратегический обмен ударами» между США и СССР.

Сама мысль о том, что ядерную войну, коль скоро она разразится, можно будет удержать в каких-то рамках, попросту нелепа. Что это за рамки? Какие секунданты будут следить за точностью ограничений? По каким границам они должны проходить — каких стран, каких континентов?

Как один из членов «комиссии Пальме», занимающейся вопросами разоружения и безопасности, бывший государственный секретарь США Сайрус Вэнс летом 1981 года посетил Москву. На вопрос о том, может ли сработать концепция «ограниченной ядерной войны», он ответил нам так:

«Стоит обмену ядерными ударами только начаться, и тогда весьма вероятно, что одна из сторон поспешит нарастить мощность удара, а это приведет уже к обмену ударами на полную мощность.

Я не думаю, что любая из сторон готова сознательно принять решение о превентивном ударе, но есть опасность соскальзывания в такого рода ситуацию».

А вслед за «ограниченной» ядерной войной безумная фантазия кабинетных стратегов родила уже новую наукообразную

абракадабру — «затяжную» ядерную войну. Все более дикие игры и все ближе и ближе к краю бездонной пропасти.

В недрах Пентагона разработан даже сценарий (он же инструкция) «затяжной» ядерной войны с победным финалом. Представляете: Апокалипсис с хэппи-эндом?!

По поводу подобных фантазий безжалостный реалист Курт Воннегут, которого по чистому недоразумению числят в писателях-фантастах, заметил: «Если мы опустошим планету, природа все равно может возродить на ней жизнь, и понадобится для этого каких-нибудь несколько миллионов лет — для природы сущий пустяк. Время иссякает только у человечества».

«Ограниченная ядерная война» — такая же бессмыслица, как «маленькая смерть».

«Ограничить ядерную войну» так же невозможно, как невозможно «немножко умереть» или «слегка убить». Кроме размеров братской могилы, ее ограничивать нечем.

Кажется, это понял даже сам «отец» нейтронной бомбы Сэмюел Коэн. Коэн поясняет: он понял, что «ограниченная» ядерная война в Европе невозможна без перерастания в тотальный конфликт, который неизбежно закончится катастрофой и для Соединенных Штатов.

«Это было бы ужасно. Нам пришлось бы бросить ядерную бомбу на Россию, в ответ Россия бросила бы бомбу на нас,— и мы можем исчезнуть как нация... Все это стало слишком опасным».

И, если сообщения прессы верны, Коэн сказал даже так: «Я отвергаю свою бомбу. В ней больше нет смысла».

СТРАХОМ СТРАХ ПОПРАВ!

Поговорим еще о страхе.

То, что происходит сегодня, объясняется страхом. Но и страх страху рознь.

Есть страх, о котором говорил Томас Манн. Искусственно и искусно нагнетаемый — перед иной системой, образом жизни, намерениями «противника».

Весной 1983 года корреспондент Франс Пресс в Вашингтоне сообщил о провокационных учениях, которые проводятся в национальном центре военной подготовки. Против американского полка действует «советский» полк. То есть на самом деле это тоже американский полк, но...

Впрочем, вот что узнал корреспондент от полковника Муни из центра подготовки:

«Советский» полк, состоящий из 1200 человек и располагающий 150 боевыми машинами, делится на три моторизованных пехотных батальона и один батальон танков «Т-72». Личный состав полка одет в советскую форму и использует советскую — или аналогичную ей — технику. Он действует также в соответствии с требованиями советской тактики...»

Чем закончились учения? «Советский» полк нанес поражение американскому.

Речь однако совсем о другом. Не знаю, каков был чисто военный эффект приема с ряжеными, но в пропагандистской войне это вполне классическая операция: чтобы вызвать ненависть и страх, наряжают пугало. Всеми средствами разжигают в себе чувство «противника».

Этот страх есть отправная точка и непременное условие антикоммунизма, антисоветизма, словом антиполитики. Самая тяжелая, кошмарная форма «сна разума». Сегодняшние чудовища — средства массового уничтожения — породили именно этот страх.

Механика проста и неизменна: нужна Большая Ложь (тот же миф о «советской угрозе»), чтобы создать Большой Страх, чтобы сорвать Большие Деньги.

Этот страх — абсолютное зло. Проклятие нашего века.

Но есть страх иного рода — естественное человеческое чувство, нормальная реакция нормальных людей на то, что происходит вокруг.

...В жизни его поколения были Сталинград и Хиросима. И он несет за них свою долю вины... Так бывший полковник германского вермахта Йозеф Вебер объясняет, почему он участвует в движении за мир.

Ход его размышлений выглядит так:

«На протяжении десятилетий мы слышим одно и то же: необходимость сверхвооружений диктуется угрозой с востока. Эта мнимая угроза со времен Вильгельма и Гитлера — миф для оправдания совершенно определенной внешней политики. Внутри же страны это приводит к милитаризации жизни, то есть к сведению ее до варварского уровня».

В исповеди Йозефа Вебера два ключевых слова — страх и миф.

Сегодня люди действительно боятся. Смертельно боятся. Но не мифической «руки Москвы». А вполне реальной катастрофы.

...Королева Нидерландов Беатрикс согласилась дать интервью американскому журналу «Ньюсуик». Бесцеремонно корреспондент пытался добиться от собеседницы признания в том, что нежелание голландцев размещать на своей территории крылатые ракеты «Томагавк» есть проявление трусости и дезертирства. На это королева ответила так:

«Существует действительная тревога в ряде европейских стран по поводу того, куда ведет ядерное вооружение. Мы в Европе находимся в весьма уязвимом положении. Мы знали много войн за нашу историю, некоторые из них были очень и очень трагическими. Существует подлинный страх перед всеобщим разрушением, с какой бы стороны оно ни пришло».

40-летняя западногерманская писательница Ангелика Мехтель — член партии «зеленых». Сама эта партия возникла в наши дни как реакция общественности на те угрозы, которые несет человеку и среде его обитания неконтролируемый Атом. «Феномен нашего поколения — страх, что этот мир невечен, — говорила моим коллегам по киногруппе Ангелика Мехтель. — Нас пытаются приучить к мысли, что однажды миру может прийти конец. А это вызывает у меня и у моего поколения небывалое чувство страха, чувство протеста против любых попыток милитаризации...»

Из страха рождается протест. Из страха одиночек — протест масс.

...Бонн, Мюнстерплац. Группа молодых людей прямо на площади разыгрывает сатирическую сценку. Осмеянию подвергается пропаганда, скрывающая от народа реальные опасности термоядерной войны. Это как бы пародия на официальную телепередачу.

— Дорогие слушатели! Только без паники. Лучше всего в течение девяноста секунд без спешки занять свое место в противоатомном убежище. Если поблизости от вас нет убежища, то заверните свое тело в алюминиевую фольгу и слушайте последние известия нашей станции. Мы будем держать вас в курсе последних известий. Если алюминиевой фольги дома не окажется, советуем забраться внутрь стиральной машины. И не забудьте плотно закрыть дверцу. Если по какой-то причине нет возможности прибегнуть и к этому средству, тогда повторяйте за мной: «Отче наш, иже еси на небеси! Да святится имя Твое; да приидет Царствие Твое...»

Прохожие останавливаются, смеются, в задумчивости идут дальше.

Это тоже страх. Но он не имеет ничего общего с трусостью

или фатализмом. Он не порождение отчаяния, но знак надежды.

Летом 1981 года в Гамбурге проходил XIX съезд евангелической церкви ФРГ. 150 тысяч человек приняли участие в его событиях. Самая популярная эмблема и девиз съезда гласили: «Бойтесь и защищайтесь!» Это расшифровывалось следующим образом: «Бойтесь — атомная смерть угрожает нам всем. Защищайтесь, чтобы не допустить ее».

Этот страх равнозначен инстинкту самосохранения. Он пробуждается в каждом человеке и в человечестве в целом. Это первый шаг к спасению.

На встрече в Советском комитете защиты мира одна немолодая женщина, скандинавская участница «Марша мира-82», тихим голосом сказала: «У нас в стране всех себя отдают борьбе за мир те, кто не может спать спокойно».

РЕТРО РЕТРОГРАДОВ

Несколько элементарных вопросов и ответов.

Когда в Европе появилось атомное оружие? В начале 50-х годов. Кто его ввез на континент? Американцы.

Когда заявили о себе НАТО и организация Варшавского Договора? Соответственно в 1949 и 1955 годах.

Не стоит упрощать. Одним из итогов второй мировой войны стало то, что Запад и Восток для Европы превратились из чисто географических в социально-экономические понятия. Водораздел объективный. Но должен ли он был неминуемо превратиться в раскол, в линию военной конфронтации, во «фронт»? Обязательна ли была «холодная война»?

Какой бы ответ ни давали историки, из истории нужно делать выводы. Своей цели «холодная война» не достигла, социализм она не сокрушила. Уже поэтому время, затраченное на нее, можно считать потерянным зря, а ее самое — ложным шагом истории.

Стоит ли тогда настаивать на ее новых изданиях, пытаться сохранить ее логику и мифологию, как это делала — и весьма целеустремленно — администрация Рейгана? В вопросе уже содержится ответ. Нет, конечно. Это обреченная политика. И именно поэтому вдвойне опасная.

Необходимо ли массированное противостояние войск НАТО и Варшавского Договора — миллионных группировок, оснащенных атомным оружием?

Это вопрос уже посложней.

Как было бы прекрасно, если бы здание европейского, да и всеобщего мира покоилось исключительно на разуме политиков и всеобщей доброй воле! Увы, это не так. А пока до идиллии далеко, фундаментом мира и страховкой от войны служит *паритет*, то есть равенство сил между Востоком и Западом, между СССР и США.

Был ли паритет всегда? Нет. Будет ли он всегда? Да! И в этой диалектике — суть ответа на многие вопросы относительно нашего вчера, сегодня и завтра.

Из второй мировой войны страны-победительницы СССР и США вышли по-разному. Мир увидел силу нашей армии, мужество и беспримерную способность к самопожертвованию нашего народа, но страна была разграблена и обескровлена. Америка находилась в пике своей формы — экономической и военной — и атомная бомба придавала ее доспехам отблеск зловещего всемогущества. Можно ли было тогда говорить о равенстве? Затянув пояс потуже, СССР догонял, вынужден был догонять — чтобы было что противопоставить ядерному шантажу.

В конце 60-х годов паритет был достигнут. Это историческая веха. И тогда на той стороне наступило отрезвление. Началась разрядка. Отдавая должное реализму тех или иных государственных деятелей Запада, понимаешь, что объективной основой разрядки был именно стратегический паритет в условиях ядерного века. Антикоммунист Никсон, сделавший себе карьеру на «охоте за ведьмами» и антисоветизме, приехал в Москву и поставил свою подпись под документами, в которых признано, что в отношениях между СССР и США нет альтернативы мирному сосуществованию. Чудо перерождения? Чудес в политике не бывает. Просветляюще действовал паритет. Ведь мирному сосуществованию и разрядке действительно нет альтернативы. Разумной альтернативы. Не считать же за таковую балансирование на грани войны и термоядерный Армагеддон в конце концов?

Тогда что же происходит сегодня?

Реальности ядерного века не переменились в одночасье. И выбор все тот же: вызов глобальных проблем приглашает к сотрудничеству. Во всяком случае он диктует: соперничество, конкуренция, соревнование двух систем ни в коем случае не должны принимать военные формы. Нравится или не нравится это кому-то, это так. Последним правителям Америки это не нравилось. В мечтах им привиделся золотой «Американский Век» — время всесилия американской дубинки и доллара. И они попытались вернуть его, накачивая мускулы и призывая к кре-

стовым походам в прошлое. Это ретро ретроградов, ревизия разумных решений с позиций реакции. Особая американская маниловщина — энергичная до предела и поэтому вдвойне опасная. Ностальгия, оборачивающаяся попытками изнасиловать историю.

В Вашингтоне твердили, что разрядка умерла, не выдержав испытания жизнью. Довольно ханжеское утверждение. Это правящий американский класс не выдержал испытания разрядкой. Как показала жизнь, по крайней мере на определенном этапе, он оказался неспособен действовать в ее рамках. В них ему тесно, как в наручниках. И потому: «Даешь полную свободу рук! В могилу разрядку!»

Вот что стряслось в восьмидесятые годы с Америкой и что трясет мир.

С вознесением Рейгана в Белый дом заговорили о «сдвиге вправо» на американской политической арене. В основе этого явления, этого очевидного факта — глубинный, тектонический сдвиг, перемены в раскладе сил внутри правящего класса. Та его фракция, что пришла к власти и вышла на авансцену, напрямую связана с оружейным бизнесом. Военно-промышленный комплекс (последнее слово Эйзенхаузра!) жаждет большей доли национального пирога и, пока может, кромсает и отхватывает от него кусок за куском. Это самая нахрапистая, безоглядная фракция — и не только потому, что у техасских или калифорнийских нуворишей от нефти, электроники, самолетов и ракет манеры попроще, чем у аристократов из старых нью-йоркских или бостонских капиталистических домов.

Каспар Уайнбергер — один из «героев» новой волны и в некотором роде ключевая фигура. Он министр обороны и главный толкач, воитель и пропагандист роста ассигнований на вооружения по всем азимутам.

Хотите познакомиться с ним поближе? Вот экспозиция интервью, опубликованного в журнале «Пэрейд».

«В первый момент, когда входишь в его кабинет, трудно найти в нем Каспара Уайнбергера. Эта комната на третьем этаже Пентагона с окнами на Потомак имеет в поперечнике более 50 футов. Письменный стол гигантских размеров, а телефонная консоль выглядит так, словно с нее может взлететь «Боинг-747». Министр обороны, худощавый улыбающийся человек 65 лет, сидит за маленьким столиком в одном из углов комнаты. Он заверяет меня, что его окружение не приводит его в трепет».

Маленький человечек, одержимый гигантоманией... Давайте

запомним эту психологическую характеристику... И абсолютно безапелляционный. Как и вся рейгановская администрация, он игрок не по правилам, бестрепетный «нарушитель конвенции». В чем это заключается? В данном случае вот в чем.

Во главе министерства обороны традиционно стоит гражданское лицо. «По конвенции» это гарантия от цезаризма военных. На практике это ритуал, своеобразная игра с распределением ролей, костюмированный спектакль. Вопрос вопросов, конечно же, деньги — сколько откусит Пентагон от федерального бюджета? Военачальники, как водится, требуют больше. Но тут на их пути оказывается министр обороны, чей цивильный костюм символизирует, что он не человек того или иного рода войск или вида вооруженных сил, но радетель за общественные интересы. Он мужественно подрезает цифры, умеряя разгулявшиеся аппетиты «медных касок». Правда, те это знают и заранее завышают заявки... В итоге все довольны. Каски блестят, но и костюм наглажен.

В прессе за Уайнбергером закрепилась кличка «Кэп-нож». Однако он вовсе не герой «трехгрошовой» оперы.

Вместо того чтобы урезать, нож Уайнбергера стал прирезать. В 1982 году, его первом бюджетном году, военачальники запросили 200 миллиардов долларов, а гражданский министр обороны увеличил сумму до 220 миллиардов. В следующий раз он уже затребовал 239 миллиардов... Смешно говорить, что военные не знают, сколько им нужно или что их вдруг одолел приступ необъяснимой скромности. Уайнбергер, однако, хочет казаться больше военным, чем сами военные. И в некотором роде это так. Ибо этот маленький гражданский человечек в действительности есть доверенное лицо и коммивояжер (отсюда его фантастическая рекламно-пропагандистская деятельность по «разоблачению» «советской угрозы») военных монополий, а их аппетиты безмерны.

Действует ли здесь чистая «экономика», лишь сдобренная, приукрашенная, припудренная соответствующей философией? Или философия «ультра» есть самостоятельная демоническая сила? Так или иначе, они выступают в паре.

Джон Кеннет Гэлбрейт, например, считает, что главным двигателем наступления на разрядку напряженности является «экономический интерес». Этот серьезный американский ученый-экономист писал так:

«Напряженность в отношениях с Советским Союзом поддерживают наша самая многочисленная государственная бюрократия и одна из крупнейших отраслей нашей промышленности».

«Все мы знаем, — развивает Гэлбрейт свою мысль, — что во время обсуждения бюджета временно усиливаются разговоры о «советской военной мощи» и «советском коварстве». Никто не подвергнет сомнению тот факт, что напряженность помогает военной промышленности».

В любом смысле этого слова Уайнбергер не стесняется в средствах. Терроризируя нацию, вгоняя ее в страх, он не боится переусердствовать, и, кажется, зря. «Кое-кто из его лучших друзей стал усматривать в нем «ястреба», поднимающего ложную тревогу»,— пишет «Пэрейд». То есть глупого «ястреба». А далее следует очень характерное признание! Вина его, оказывается, в том, что он «подрывает традиционную готовность американцев постепенно увеличивать оборонные расходы». Каково?

Запугивать можно. Отпугивать плохо.

Чувство меры нельзя терять, даже когда наряжаешь пугало...

Но Уайнбергер и К° ничего с собой поделать не могут. И не просто потому, что таков их психический склад. «Консервативная революция», вынесшая их на гребне, есть реванш самой истерической, авантюрной, хищнической фракции американского правящего класса. На самом деле это разгул реакции. Разгул! Вот они и гуляют.

А торопятся они еще и по расчету. Каждое решение в области вооружений, которое примут сегодня, будет действовать как минимум до конца века, ведь сам процесс разработки, производства и внедрения современных систем оружия требует не одного десятилетия. И каждый миллиард, ассигнованный сегодня на какое-то начало, потом повлечет за собой десятки и сотни миллиардов. Автоматически.

23 марта 1983 года президент Рейган обратился к нации с телевизионной речью. Эта речь предваряла процедуру утверждения конгрессом нового, естественно, крайне завышенного военного бюджета и была призвана создать соответствующую атмосферу — поддать жару. Как всегда в таких случаях, с экрана сыпались на страну псевдофакты брутального советского поведения и унизительной, невыносимой американской военной дистрофии. Оказывается, у США уже и вовсе не вооруженные силы, а, скорее, плохо вооруженные слабости. После этой речи пытаться урезать военный бюджет хотя бы на доллар было равносильно тому, чтобы вонзить родной Америке нож в спину.

Признаюсь, написав эту фразу, я засомневался, не слиш-

ком ли крепко сказано, ведь даже в памфлете пережимать не стоит. «Нож в спину», пожалуй, действительно плохо — дешево и откровенно мелодраматично. Надо было сказать: «кинжал в сердце». Именно так выразится потом президент США. «Кинжал, направленный в самое сердце программы восстановления мощи вооруженных сил Соединенных Штатов» — вот его доподлинные слова.

Но кто эти злодеи, хладнокровно замышляющие предательский удар? Оказывается, палата представителей американского конгресса. Что же натворили эти преступные заговорщики? Уж не зарезали ли они — страшно выговорить — священную корову американской политики — военный бюджет? Ничего подобного. Конгрессмены порекомендовали увеличить денежное содержание Пентагона в новом финансовом году, но «только» на 4 процента, а не на 10, как того хотят Рейган с Уайнбергером. И сразу раздался истошный крик, будто кого-то режут. (В итоге сошлись на 5 процентах...)

Рейган — несравненный мастер подобной телемагии, но тут он переиграл настолько, что даже сенаторы возмутились. От имени демократов заявление сделал сенатор Иноуэй.

«Соотечественники-американцы, — сказал он, — ...мы серьезно встревожены. Президент пытался пробудить страх в сердцах американцев, вызвать к жизни призрак советской ядерной угрозы и отвлечь наше внимание от прискорбного провала в его экономической политике... Его речь оставила впечатление, что Соединенные Штаты отданы на милость Советского Союза. При всем моем уважении к вам, г-н президент, должен сказать, что вам прекрасно известно, что это не так... В стремлении оправдать свой оборонный бюджет, предусматривающий значительные увеличения ассигнований, в отличие от более умеренных предложений, которые были поддержаны обеими партиями в конгрессе, вы, как нам кажется, не смогли честно изложить существующую ситуацию, а она такова: у Советского Союза действительно больше межконтинентальных ракет наземного базирования, чем у Соединенных Штатов. Однако число боеголовок на этих ракетах с лихвой компенсируется нашими боеголовками на ракетах подводных лодок, бомбардировщиками и крылатыми ракетами...»

Вот так на практике действует старый прием: «Нужна Большая Ложь, чтобы вызвать Большой Страх, чтобы вырвать Большие Деньги». Только сейчас я о другом. К жестко-функциональной, рассчитанной до слова речи президент счел необходимым прицепить странный хвост. Он заговорил о некоем «видении будущего, которое сулит надежду», о «новой надежде

для наших детей в XXI веке», пока из этого лирического тумана не выявились очертания нового монстра, на этот раз космического — противоракетной обороны, вынесенной в космос.

Сразу было не понять, то ли оратор грезит вслух, то ли призывает просто подумать на эту тему, то ли уже отдан соответствующий приказ, флер сослагательных наклонений тонко укутывал действительный смысл. Но аэрокосмические концерны уже могли ставить Рейгану памятник. Пока конгрессмены яростно спорили, не убавить ли несколько миллиардов в нынешнем бюджете, Рейган продал нации затею, которая сожрет в конечном счете суммы, превышающие весь этот бюджет. Причем продал втемную, под детишек XXI века. Пока на эту конкретную цель ничего еще не было ассигновано, но уже легализовано новое направление в гонке вооружений, крайне интересное для ВПК.

Рейган запустил пробный камень, но камнепад, возможно, будет ощущаться и в другом столетии. Уже и об администрации Рейгана все забудут, но раз запущенные маховики будут крутиться сами собой. Временщики новейшей формации спешат залезть в карман к следующим поколениям, взять в заложники то, что им никак не принадлежит,— ненаступившее время.

Теперь вам понятно, почему люди от ВПК готовы лбом прошибить любую стену? Потому что у них не лоб, а лобное место... Агрессивность окупается. Баснословными. самыми высокими в Америке и во всем мире прибылями. Они заинтересованы в гонке вооружений, как в золотом дожде. Их сказочное процветание немыслимо без обстановки «холодной войны» и военной истерии. Неважно при этом, какую цену заплатит за это Америка и остальное человечество.

Хотят ли они войны? Ведь в реальной жизни все эти акционеры оружейных концернов, политики и лоббисты, армейские чины — тоже люди, а не кровожадные монстры. Разве геенны огненной желают они своим домочадцам? Наивный разговор.

Цель «отцов» современной американской экономической системы — не война, а прибыли, но война как возможность и необходимость (со всеми классическими ссылками на латинские банальности, вроде «хочешь мира, готовься к войне» — это Римская-то империя «хотела мира»...) — условие их существования, оправдание их образа жизни и влияния. Война — функция их бизнеса.

Война может стать фактом даже помимо чьих-то человече-

ских желаний — кому от этого станет легче? Сама данная система бизнеса и политики чревата войной.

Вот как серьезно обстоит дело. И тогда... И тогда на сцене появляется Рональд Рейган и с легкостью необыкновенной расправляется с проблемой. «Следует помнить, — заявил он тоном иллюзиониста, опровергающего все законы материального мира разом, — мы больше не располагаем военно-промышленным комплексом, который имели, когда о нем говорил президент Эйзенхауэр».

Но, позвольте, куда он подевался, этот ВПК? Что за чудесное исчезновение?

Как обычно, Рейган не опускался до доказательств. Настоящий артист выше тьмы низких истин — фактов, статистики, прозы жизни. Он сам создает свой мир — из игры. В данном случае из победительного тона. Из обаятельной улыбки. Из манеры, не терпящей возражений, точнее, не выдерживающей вопросов.

В том смысле, в каком Голливуд — «фабрика снов», этот американский президент — фабрика слов. Голливуд ведь всегда стоял на том, что публике нужна не истина, а развлечение, отвлечение от истины. Зачем людям знать о власти ВПК, зачем тревожиться? Ну да, бывший пятизвездный генерал имел глупость открыть ВПК. Теперь бывший актер «закрыл» его. Ради всеобщего успокоения. И благоденствия ВПК, чьим политическим созданием он сам является.

Опасная игра. Вернее, опасная политика. И странным образом, чем более легковесна, несерьезна эта игра по своей сути, чем больше в ней трюкачества, тем более она доходчива для «простых зрителей» и тем более опасна для Америки и мира по своим политическим последствиям. Разрыв между реальной угрозой и массовым сознанием дает возможность манипулировать публикой. И чем больше эта угроза, тем больше спрос на политиков-лицедеев, способных усыплять общественное сознание.

Говорят, что война сегодня стала невозможна. Увы, это не так. Война немыслима, безумна. Вот в чем парадокс нашего времени. Немыслима, но возможна!

В 1910 году вышла в свет книга Нормана Анжелла «Великая иллюзия». В ней убедительно доказывалось, что война невозможна. Книга была переведена на одиннадцать языков и сразу стала необыкновенно популярна, обрела многочисленных адептов. Барбара Такман, автор нашумевшего в 60-е годы документального бестселлера «Августовские пушки» — действительно великолепной работы о первой мировой войне, так из-

лагает посыл Анжелла: «С помощью внушительных примеров и неоспоримых аргументов он утверждал, что при существующей взаимозависимости наций победитель будет страдать в одинаковой степени с жертвой — поэтому война невыгодна, и ни одна страна не проявит такой глупости, чтобы начать ее».

Ирония Барбары Такман так понятна: не прошло и четырех лет, как загрохотали августовские пушки. И все же ирония вряд ли уместна. Исторический урок вовсе не однозначен. Да, как прорицатель Норман Анжелл потерпел оглушительное банкротство. В отличие, скажем, от Бисмарка, который напророчил даже то, что искрой новой войны станет «какая-нибудь проклятая глупость на Балканах». Разразившись, война доказала, что она была очень даже возможна, просто неотвратима. Зато, когда она догорела, превратив в руины как побежденные, так и победившие империи Европы, стало ясно, что главная идея автора «Великой иллюзии» трагически верна: в XX веке война как способ достижения политических целей — иллюзия.

История вошла в конфликт с логикой. И не в последний раз.

Вторая мировая война — еще более разительный пример фатальной, преступной глупости тех, кто пренебрегает уроками и истории и логики. Человечество очень дорого заплатило за нее.

Поэтому, чтобы не попасть впросак, надо видеть не только разумную логику, к чему естественно тяготеют нормальные люди (у Бальмонта на этот счет есть неожиданно простые строки: «Мне странно подумать, что трезвые люди способны затеять войну»). Надо видеть и логику безумия, во власти которой могут оказаться классы, государства и системы государств. Надо анализировать механизмы безумия, способные обречь человечество на трагический исход ради чьей-то призрачной корысти.

И повторим ужасный парадокс нашего времени: ядерная война немыслима, но возможна.

Гениальный философ прошлого века, как считается, заплутал в дилемме: «Все действительное разумно?» или «Все разумное действительно?» Сегодня все безумное может стать действительным, и тогда всему действительному придет конец.

Философы лишь различным образом о б ъ я с н я л и мир, но дело заключается в том, чтобы и з м е н и т ь его... Прекрасно сказано!

К этой исчерпывающей формуле философской мудрости и революционного оптимизма атомный век добавляет ноту все-

ленской тревоги: прежде всего необходимо спасти мир. Это уже не философская, это практическая задача.

Пробудиться и задуматься! Сделать немыслимое невозможным! Вот задача для всех, для каждого.

ЕЩЕ НЕМНОГО О ПАРИТЕТЕ

Больше оружия требуют те, кто его производит с прибылью. Но действительно ли это кому-то требуется — Западу или Востоку, Америке или России, Западной или Восточной Европе?

На вашингтонских холмах раздается истошный крик: «Дайте нам больше оружия!» Он не терпит возражений. «Вооружайтесь как можно быстрее и больше!» — пристают американцы к своим союзникам, выкручивая им при необходимости руки. Зачем? Самый респектабельный ответ звучит так: «Больше оружия означает больше безопасности».

Но ведь сегодня это тоже миф, пережиток прошлого мышления. В условиях, когда накопленного оружия достаточно, чтобы многократно уничтожить все живое, это звучит просто черным юмором. Все равно, что пытаться убедить людей в том, что сидеть на большой бочке с порохом более безопасно, чем на маленькой.

Пол Уорнке занимал пост представителя США на переговорах по ограничению стратегических вооружений. Его мнение:

«Если состязание в области военной техники будет продолжаться, то самое совершенное оружие будет у каждой стороны. Наращивая свою ударную мощь, каждая сторона, с одной стороны, становится сильнее, а с другой — уязвимей, ведь другая сторона тоже становится сильнее. Что за ситуация при этом возникает? Ситуация, при которой сами обстоятельства будут вынуждать соперников нанести первый удар. Ведь возможности нанести ответный удар может не остаться. Возрастает вероятность того, что в случае тревоги кто-то нажмет на кнопку. Так ядерная война окажется на кончике курка».

Вот вам и «больше безопасности». Сегодня тот, кто хочет мира, должен готовиться к миру. Отказаться от войны как средства политики. Сделать все, чтобы и тень ее изгнать из жизни человечества. Вот задача и долг политики в конце XX века. Когда же это будет осознано всеми?

В нынешних условиях «больше оружия» на одной стороне автоматически означает «больше оружия» и на другой. Больше

угрозы противнику — больше угрозы и себе. То есть меньше безопасности!

Но у этой же логики есть и обратный счет: меньше оружия — меньше угрозы — больше безопасности. Не вооружение, а разоружение способно разрядить опасность, создать бо́льшую безопасность.

В наше время противопоказано добиваться безопасности себе в ущерб соседу, даже если ты и считаешь его противником. Только вместе с ним! Отсюда и родился принцип, который единственно может гарантировать твердость любого соглашения — принцип равенства и одинаковой безопасности сторон.

Итак, паритет есть данность нашего времени. Положительная данность. Можно ли изменить паритет? Нет. То, чего СССР добился в конце 60-х годов ценою двух с лишним десятилетий усилий и жертв, не будет уступлено в 80-е. Это ясно. Но может ли меняться сам паритет? Да. Он может оставаться неизменным, а может поддерживаться как на более высоком, так и на более низком уровне. При этом в первом случае он будет обходиться дороже и связан с большей опасностью, а во втором дешевле и безопасней.

Что лучше? Разве это не ясно? Конечно же, сохранение паритета на возможно более низком уровне. То есть разоружение — радикальное или постепенное, но непременно равноценное — с соблюдением принципа равенства и одинаковой безопасности.

Нелепо рассчитывать на достижение превосходства. Это уже мираж, которого не достичь ни взвинчиванием ассигнований выше небес, ни яростной погоней за журавлями очередных технологических прорывов — изобретением супернового «чудо-оружия». Другая сторона ведь тоже не спит, и она найдет чем ответить, чтобы уравнять шансы. На «Огайо» «Тайфуном», подводной лодкой-ракетоносцем того же класса. На «MX» — аналогичной стратегической ракетой.

В свое время Москва предлагала Вашингтону: давайте откажемся от лодок класса «Огайо» (по ударной мощи одна новая лодка равна десяти старым типа «Поларис», а при оснащении ракетами «Трайдент-2» вместо «Трайдент-1» — двадцати). Откажемся взаимно и заранее. Предложение не прошло. В 80-е годы американцы планируют построить 13 «Огайо». Достигнут ли они желанного превосходства за счет этого «чудо-оружия»? Нет. Но две дюжины невиданных чудовищ, порожденных не эволюцией, а научно-технической революцией и злым гением войны и способных одним залпом поставить крест на этой эволю-

ции, поселятся в океанских глубинах и будут ждать своего часа.

Да, превосходство — недостижимый мираж, при этом сама погоня за миражом увеличивает гибельные шансы... Но и на одностороннее разоружение ядерных гигантов надеяться наивно. Единственный реалистический прогноз — сохранение паритета.

Но что есть сам паритет? Равенство? Да. Одинаковость? Нет.

Если у тебя лук и нож, а у меня палица и праща, можно считать, что наши силы примерно равны.

Нынешний паритет — это равенство при асимметричности. Так сказать, равенство уравнений.

Для тех, кто не забыл математики, поясню школьным примером:

$2 + 5 + 9 = 7 + 3 + 6$

Налицо равенство уравнений при разности его составляющих.

Если перейти теперь к глобальной ядерной математике, то каждая из сторон обладает стратегической триадой (ракеты наземного, морского базирования и авиация). Отдельные члены уравнения различны. Главные советские силы — на суше. Американские — под водой и в воздухе. В сумме однако одна триада примерно равна другой — это и есть стратегический паритет.

Равенство уравнений нельзя сокращать, скажем, так: «Давайте для начала сократим с обеих сторон по первому члену. А уж потом и с оставшимися разделаемся в два счета, цифр ведь уже будет поменьше...» Именно это и предлагал Рейган — сократить в первую очередь и непременно в крупных размерах наземные ракеты. Да, конечно же, наземные ракеты — ведь это основа советской мощи и сравнительно второстепенный элемент американских сил... Действительно, очень простой способ сломать паритет, придать ему американский акцент, добиться преимущества не мытьем, так катаньем — не вооружением, так разоружением.

В отличие от заведомо неприемлемой демагогической американской пропозиции советское предложение не рассчитано на приобретение односторонних преимуществ и исходит из необходимости сократить всю сумму. Давайте скажем «стоп!» стратегическим вооружениям, заморозим их, а затем сократим имеющиеся арсеналы — на четверть и более! Так было предложено Вашингтону.

Применительно к Европе притча во языцех — средства сред-

ней дальности. Что это такое? Это самолеты и ракеты, способные нести ядерное оружие на расстояние от 1000 до 4500 километров, то есть поражать из Западной Европы значительную часть Советского Союза и наоборот. (О тактическом атомном оружии мы сейчас речи вести не будем.)

Как складывалась ядерная обстановка в Европе? В 50-е годы в Западной Европе обосновались американские средства передового базирования. В ответ СССР установил свои ракеты СС-4 и СС-5, по классификации НАТО. В конце 70-х годов в порядке модернизации они начали заменяться на более новые ракеты с разделяющимися головками СС-20.

Так и получилось, что в структурном отношении состав ядерных сил в Европе разный — на Западе это в основном самолеты, а на Востоке ракеты,— но в количественном — примерно равный.

Если же говорить конкретно, то картина на конец 1983 года, как сообщают советские военные источники, была такова:

НАТО имела 162 ракеты наземного и морского базирования и около 700 самолетов-носителей средней дальности.

(США держали в ФРГ и Великобритании, а также на борту своих авианосцев у берегов Европы в составе сил передового базирования 650 самолетов.

Великобритания располагала 64 ракетами.

Франция — 98 ракетами и 44 бомбардировщиками.)

СССР имел 938 единиц (ракеты СС-20, СС-4 и средние бомбардировщики).

Это давало основание советской стороне говорить об имеющемся в Европе паритете. И американцам...— кричать о том, что они по ракетам проигрывают русским со счетом 600:0.

Запомните этот ноль, весь рейгановский «нулевой вариант», включая варианты варианта, родился из этого ноля. Эта выборочная математика должна подкрепить печально знаменитое «двойное» решение НАТО, принятое в 1979 году, о размещении в Западной Европе около 600 новых американских ракет средней дальности — «Першинг-2» и крылатых — якобы для восстановления баланса.

Позвольте, но ведь у американцев в Европе полным-полно самолетов — почти в полтора раза больше, чем у СССР... Они не в счет, отвечали из Вашингтона, ведь на самолете необязательно будет размещен атомный груз. Совершенно нелепый довод. С таким же успехом советская сторона могла бы сказать, что ее ракеты могут использоваться в метеорологических целях. Так высмеял этот надуманный ответ А. А. Громыко на одной из своих пресс-конференций.

...А как быть с ракетами союзников США по НАТО? На это ответ следовал не менее замечательный. Ракеты не наши, говорили американцы, так что и обсуждать нечего.

Факт, однако, что все западные «единицы» без исключения — и самолеты, и ракеты, и американские, и британские, и французские — нацелены на советские объекты и нанести урон они могут одинаковый. Могут ли в СССР закрыть на них глаза и не считать за реальность?

Прибавка к существующим западным средствам 572 ракет имеет один смысл — подрыв европейского паритета. И тут уж дело не только в количественной, но и в качественной стороне.

Специалисты могут сравнивать технические характеристики советских и американских ракет средней дальности. В одном отношении они абсолютно несравнимы. С советской земли СС-20 не достигают американской территории. Из ФРГ, Англии или Италии «Першинги-2» и крылатые ракеты советской территории достигнут. Таким образом, они становятся, по словам Киссинджера, «почти стратегическим» оружием. Это «почти» в данном случае можно отбросить.

Запущенная с территории США стратегическая ракета, по расчетам, потратит примерно 30 минут на свой путь до намеченной цели на территории СССР.

«Першингу-2» с западноевропейской площадки потребуется на это 5—6 минут. У крылатых ракет свои особенности — они летят низко над землей и засечь их трудно... Словом, опасность многократно возрастает. Высокоточные «Першинги-2» и крылатые ракеты — оружие первого удара. И даже одна-единственная американская ракета, размещенная в Западной Европе, взрывает стратегический баланс между СССР и США.

Так что ничего хорошего установка в Западной Европе новых американских ракет средней дальности не сулит. Не только нам. Но и всем: и европейцам, и американцам.

На американскую крылатую ракету СССР вынужден отвечать своей крылатой ракетой, и она уже разрабатывается. (Разве не лучше было бы взаимно отказаться от нового типа оружия? Но нет, американцы не хотят даже слышать о подобном предложении.)

И если советские города оказываются в шести минутах полета американских ракет, то ведь и Советскому Союзу ничего не остается, кроме как принять ответные меры и поставить Америку в аналогичное положение.

Иными словами, паритет будет восстановлен, но цена его возрастет, и ситуация станет более мрачной.

Есть ли свет в конце тоннеля? Возможен ли все-таки «нулевой вариант» для Европы?

Теоретически да. Практически, похоже, нет. Ибо есть два нуля.

Есть известное советское предложение: освободить Европу от любого ядерного оружия — как средней дальности, так и тактического. Ни единого ядра на европейской земле! Это реальный нуль.

Запад игнорирует это предложение. Для Запада это утопия. Современное западное мышление, вся его военно-политическая философия противостояния лагерей строится на ядре. В ложной дилемме — «западные ценности и идеалы против советских танков» ядерное оружие служит палочкой-выручалочкой. («Уберите, мол, атомное оружие, и завтра советские танки напьются воды из Ла-Манша...»)

Это не только ложная, это лживая дилемма, яркий образец предрассудочного мышления, идеологического идиотизма, особенно наглядного на фоне реалий времени.

От одного ядра когда-то погиб Парфенон. Сегодня от ядра может погибнуть вся Европа. Обломки нашей цивилизации будет некому собирать... Западные «реалисты», однако, не хотят убирать ядро из Европы.

Тогда чего же они хотят — какого нуля?

Почему советская дипломатия отвергла рейгановский «нуль»? Да потому, что это мнимое число.

Во-первых, это нуль только по ракетам. Другие средства доставки средней дальности, не говоря уже о тактическом атомном оружии, им не затрагивались, так что об освобождении Европы из атомной клетки говорить не приходится.

Во-вторых, это не нуль даже по ракетам, поскольку ракеты британские и французские оставались за скобками уравнения, то есть на своих местах.

В-третьих, этот нуль вообще не нуль, ибо по «промежуточному варианту» он мог быть равен любому числу в промежутке от 0 до 572, лишь бы СССР признал «право» американцев иметь в Европе ровно столько же ракет, сколько и у себя. (Классический случай имперской фанаберии. Нетрудно представить себе, какой бы поднялся шум, если бы Москва потребовала от Вашингтона признать ее право держать в Западном полушарии ровно столько ракет или самолетов, сколько их есть в США.)

Только в одном отношении рейгановский «нуль» означал действительно нуль: именно столько ракет американцы хотели бы видеть у СССР.

В целом предложение звучало так: «Вы, русские, уничтожьте все свои ракеты: и новые СС-20, и те, что уже стоят двадцать лет — СС-4, и тогда мы, американцы, великодушно согласимся оставить все западные силы в Европе в целости и сохранности». Очень любезное предложение. «Промежуточный вариант» президента Рейгана еще более обнажал американские намерения: «Ну ладно, пока, так и быть, можете, мол, оставить некоторое количество ракет, но ровно столько же своих ракет мы в Европе тут же разместим».

Дело не в том, что советской стороне предлагали сокращаться. Дело в том, что сокращаться предлагали только советской стороне. Это все тот же поиск односторонних преимуществ, так договоры не заключаются.

Соответствующее советское предложение было более корректно. Давайте сокращаться взаимно. Давайте оставим на каждой стороне по равному числу и ракет (боеголовок), и самолетов. Ни одной боеголовкой, ни одним самолетом больше ни с одной стороны!

Давайте делать не хуже, а лучше! Не больше, а меньше! (И обязательно равно!)

Сегодня на Востоке Европы больше ракет, чем на Западе? СССР готов ликвидировать разницу — оставить их даже не 162 (столько их у Англии и Франции), а с учетом равенства боеголовок — 140. При этом было особо подчеркнуто, что сокращаемые ракеты, включая СС-20, будут именно ликвидированы, а не перемещены на восток.

Сегодня на Западе больше самолетов? Но тогда следует привести уравнение в соответствие и в этой части. Достаточно простое, наглядное, даже симметричное решение. При этом как советские ракетные, так и западные авиационные порядки разрядились бы на сотни единиц.

А если Англия и Франция дозреют до идеи ненужности или хотя бы избыточности своих ракет? Прекрасно! Тогда СССР автоматически сократит столько же и даже все. Вот вам и реальный «нулевой вариант» по ракетам.

Но нет, не по нраву пришлось американцам и это предложение. Ибо на самом деле они хотели не нуля, а кое-чего побольше. Они хотели не сокращения ракет и самолетов, а размещения своих новых ракет в Западной Европе.

К лету 1983 года это стало ясно как божий день. Абсолютную ясность внесли два заявления — Заявление Советского правительства и заявление вильямсбергской семерки — крупнейших капиталистических стран Запада.

В былые времена говорили, что политика — это искусство возможного. В ядерный век она все больше становится наукой необходимого. Чем меньше она игра — честолюбий, амбиций, завиральных идей, тем лучше. В цене реализм, умение ясно представлять возможные (а чаще всего неизбежные) последствия и называть вещи своими именами. Самая эффективная дипломатия — без дипломатии.

Когда до дня «Д» — ракетного декабря оставалось шесть месяцев, Советское правительство сочло нужным расставить все точки над «і». Было сказано, что на всех переговорах, прямо или косвенно связанных с обузданием гонки вооружений, администрация США проводит неконструктивную, обструкционистскую линию. После этой констатации шло предупреждение, суть которого сводилась к следующему: если размещение начнется, СССР примет своевременные и эффективные ответные меры, имея в виду как территории, где будут находиться новые американские ракеты, так и территорию самих США.

Это было жесткое предупреждение. Не в смысле негибкое или неконструктивное. Советское руководство специально подчеркнуло: «Но нам не хотелось бы, чтобы дело дошло до этого». Позиция СССР была суммирована в нескольких простых словах:

«Мы — за Европу, свободную от ядерной угрозы. Мы по-прежнему готовы для начала договориться о крупнейших сокращениях ядерных арсеналов в Европе с обеих сторон. Только это должна быть честная и равноправная договоренность. Пусть от нас не требуют, чтобы Советский Союз оставался безоружным под прицелом сотен ядерных ракет стран НАТО, не имея ответного сдерживающего эквивалента. Если держаться принципа равенства и одинаковой безопасности, то с нами всегда можно договориться».

Это был решительный призыв договориться на разумных и равных началах. Договориться, пока не поздно. Договориться во избежание последствий, которые были обрисованы без всякой утешительной недоговоренности. Без анестезии. На совещании в верхах в Москве социалистические страны Европы поддержали советские предложения.

Западная семерка отвергла призыв. На своем экономическом совещании в Вильямсберге они приняли политическое заявление. США, их союзники по НАТО, обычно фрондирующая Франция и даже Япония, не имеющая никакого отношения ни к Европе, ни к НАТО, проголосовали за срочное размещение ракет. Так «двойное» решение НАТО фактически превратилось в одинарное.

Новый изнурительный тур гонки вооружений опасно приблизился. Перейдя ракетный рубикон в декабре 1983 года, НАТО фактически взорвала Женевские переговоры.

Вопрос теперь встал так. Или ситуация вернется к тому, что было до размещения. Или... войну от мира будет отделять дистанция средней дальности.

Похоже, что люди понимают это лучше иных правительств.

ВОССТАНИЕ ПРОТИВ ВОЙНЫ

То, что произошло в 80-е годы в Европе, можно назвать «ракетным взрывом». Вернее, «антиракетным взрывом».

Осень 1981 года. 300 тысяч немцев собрались на митинг в Бонне. 250 тысяч англичан вышли на демонстрацию в Лондоне. 200 тысяч бельгийцев в Брюсселе. 100 тысяч французов в Париже. 300 тысяч голландцев в Амстердаме...

Лето 1982 года. Рейган едет увещевать Европу. В Бонне ему устраивают 100-тысячный митинг «за» и 400-тысячный митинг «против». В Нью-Йорке собирается вторая специальная сессия Генеральной ассамблеи ООН по разоружению. И — гигантский, невиданный митинг. Миллион человек! Самая крупная демонстрация в истории Америки.

Еще более жаркой стала осень 1983 года. И даже после начала размещения «привыкания» к ракетам не происходит. Волны протеста не утихают.

Западноевропейские правительства, выступающие в роли толкачей американских ракет на континент, оказались перед лицом бунта в собственных странах.

Пять миллионов подписей собрало Крефельдское воззвание — это общественность ФРГ призывает пересмотреть решение о размещении новых американских ракет на западногерманской земле.

Истину о том, что американские «Томагавки» могут стать бумерангами, раньше других поняли в Голландии. Здесь стремительно набрал силу лозунг «Давайте разоружимся и начнем с Голландии!». Сила общественного напора оказалась так велика, что правительство Голландии не могло его не учитывать. Разъяренные непослушанием младшего партнера атлантисты окрестили движение заразой — «голландитом». Но голландцы не в претензии — им нравится их болезнь. «Голландит» сулит надежду на избавление от куда более грозной эпидемии — гонки ядерных вооружений.

Одна из крупнейших в стране организаций антивоенного

движения — Межцерковный совет мира. Беседуем в его штаб-квартире. Здесь рассуждают так:

«То, что происходит сегодня в Западной Европе,— это новое явление. Еще несколько лет назад такого антивоенного движения не было. Знаменательно, что оно не связано с деятельностью партий как таковых. Оно независимо от них и как бы само собой возникло. Иными словами, это движение, исходящее снизу».

...В Лондоне у здания парламента стоит памятник Уинстону Черчиллю. Странный памятник. С первого взгляда он просто шокирует. На пьедестале въедливый сутулый человечек, яростно устремленный к одному ему известной цели. Никакой монументальности. Ни малейшего почтения, автор дал волю своему сарказму... Но памятник цепляет память -- в отличие от сотен благолепных монументов. В нем есть обаяние, даже если это отрицательное обаяние. Издевка оказывается изнанкой признания...

Черчилль был действительно противоречивой фигурой, у современников он вызывал сложные чувства. Сейчас Черчилля вспоминают довольно часто. Публично примеряет черчиллевский сюртук Рональд Рейган. Когда, выступая в лондонском Вестминстере, он картинно провозгласил новый «крестовый поход» против коммунизма, было ясно, кому и чему он подражает. Фултонской речи старого консерватора, послужившей в 1946 году формальным объявлением «холодной войны». А шустрый Уайнбергер едет в сам Фултон, чтобы объявить себя «неисправимым и почти фанатичным поклонником» Черчилля. Насчет неисправимости и фанатизма он, пожалуй, прав. Но что, какое деяние он выделяет в своем кумире? То, что тот был «пророком» «железного занавеса».

Почему-то, однако, совсем не вспоминают такое высказывание Уинстона Черчилля: «Мы не должны забывать, что превратим себя в мишень, возможно в самую середину мишени, если создадим в Англии американскую ядерную базу». А ведь вполне актуально звучит это сделанное тридцать лет тому назад предостережение соотечественникам.

Сегодня лейбористы призывают отказаться от размещения американских крылатых ракет и от оснащения английских «независимых» ядерных сил американскими ракетами «Трайдент». Все базы ядерного оружия, говорят они, должны быть закрыты.

Десятки муниципалитетов объявили свои территории «безъядерными зонами». В их числе городские управы Ливерпуля, Манчестера и Большого Лондона. Говорят, что это не более чем знак. Конечно. Но это более чем ясный знак, чего хотят простые граждане.

«Мне кажется, наступает исторический момент. У нас появляется возможность действительно повлиять на ход событий — не только в Англии, но и других странах,— говорил в Лондоне моим коллегам католический священник Брюс Кент.— Мы живем в критический момент истории. И это, если хотите, честь — жить в такую пору. Мы можем покончить с гонкой вооружений, если только будем идти к этой цели».

Брюс Кент — один из страстных агитаторов за идею одностороннего отказа Великобритании от ядерного оружия в качестве первого шага к созданию безъядерной Европы и ликвидации этого средства массового уничтожения. «У нас плохо с деньгами,— говорит он.— Все, что мы имеем, мы получаем в качестве взносов от тех, кто разделяет наши взгляды. К нам крайне враждебно относится правительство Тэтчер, ему не нравится то, что мы делаем». Мирская деятельность Брюса Кента, а он генеральный секретарь крупнейшей антивоенной организации страны — Движения за ядерное разоружение, вызывает недовольство и у церковных иерархов. Поддержка людей, однако, помогает ему стоять на своем.

Нет, это уже не просто взрыв, это в о с с т а н и е против войны, беспрецедентное по масштабу м и р н о е восстание против войны.

«Общественное мнение, по-моему, становится все сознательней... Люди стали понимать опасность ситуации, опасность мировой войны, опасность ядерной войны...»

Это говорит бывший министр иностранных дел Ирландии Шон Макбрайд.

«Правительства несвободны, на них часто влияют сложная ситуация, военная верхушка, военно-промышленный комплекс. И очень важно, чтобы общественное мнение сделало все возможное, чтобы голос его был услышан. Общественное мнение становится все более созидающей силой».

Шон Макбрайд — единственный человек, увенчанный Ленинской и Нобелевской премиями мира.

Сегодня о правительствах можно судить по тому, как они относятся к миролюбивому движению — о степени их искренности, подлинном демократизме и уважении к голосу общественности.

«Я считаю, что движение общественности в силах положить конец несправедливой и немудрой политике НАТО, подобно тому как массовое движение в моей стране, движение, в котором принимал участие и стар и млад, смогло покончить с войной во Вьетнаме».

На митинге в Мюнхене эти слова под гул одобрения произ-

нес американец Дэниэл Эллсберг, человек известный. В годы вьетнамской войны он поднял бурю, предав огласке секретные бумаги Пентагона.

Из Европы восстание против войны перекинулось в Америку. На американской земле оно занялось под флагом ядерного замораживания.

Да, это мирное восстание. Вот сдержанное и тем более характерное свидетельство Мэри Макгрори, авторитетной обозревательницы «Вашингтон пост», далеко не радикала по взглядам: «В некоторых чисто внешних аспектах участники нового движения за мир весьма напоминают участников такого движения в прошлом. Они путешествуют на автобусах, ночуют в домах сочувствующих или на полу в церквах и организуют марши на Капитолийский холм, словно они там хозяева... Новые миролюбцы постарше и поспокойнее прежних. Они не безумны, а преисполнены решимости. Они не хотят крушить существующую систему или громко кричать на кого бы то ни было. Они просто-напросто хотят сказать, что не намерены уходить восвояси...»

Точно так же как трава не может не расти, это движение не могло не возникнуть. Сила его в гуманизме. Привлекательность в бескорыстии. Это самое широкое, самое представительное движение — движение за мир. В нем участвуют люди именитые и никому не известные. И стар и млад. Атеисты и верующие.

«Христианской бомбы не существует!» — чем плох этот новейший завет!

Бельгийский каноник Раймон Гоор (у него приход в Шарлеруа, а в Брюсселе он возглавляет международный комитет за за европейскую безопасность) говорил нам: «Мы считаем, что действие во имя мира — это христианское деяние. Для того чтобы быть христианином, нужно работать во имя мира». А журнал «Ньюсуик» приводит такое высказывание безымянного священника из Голландии: «Борьба против ядерного оружия есть борьба за христианство». Вряд ли оно логически или исторически безупречно, но в нем знак новых настроений в церковных кругах — католических (особенно в Америке) и протестантских (особенно в Европе).

В вопросах войны и мира позиции коммунистов были всегда ясными. «Мы, коммунисты всех стран Европы,— гласит призыв коммунистов к народам европейских стран, принятый па парижской встрече европейских компартий 1980 года,— готовы, когда речь идет о борьбе за мир и разоружение, к любому диалогу, к любым переговорам, к любым совместным действиям.

Мы хотим, чтобы с этой целью все миролюбивые силы объединились».

Особенность момента заключается в том, что ныне в борьбе за мир активны не только левые. Инициативу проявляют организации и группы самых разных направлений: религиозные, экологические, женские, профсоюзные, пацифистские. Военно-политические реалии приводят все большее число людей к простой мысли: мир — это первое условие для решения любой общественной задачи: от охраны окружающей среды до обеспечения тех или иных прав человека.

«Если речь идет о том, чтобы действительно помешать атомной войне,— говорит член президиума СДПГ Э. Эплер,— то консерватор должен принять такое же решение, как и социалист».

Борьба за мир вырастает как самая насущная и универсальная задача. В самом деле, сохранить цивилизацию — разве это дело не для консерваторов? Можно верить в революцию или в реформу, можно мечтать о прогрессе или отвергать его, черпая вдохновение в поисках прошлого... Спасение от термоядерного костра одинаково необходимо и тем, и другим, и третьим. Это общечеловеческий императив. Создание широкой, поистине всеобщей антивоенной коалиции против войны всегда было благородной целью, но сейчас в этом больше необходимости (и соответственно больше возможностей для этого), чем когда-либо раньше.

Впрочем, стоп! У реакции на этот счет есть своя позиция, которую она декларирует самым площадным способом. Лидеру западногерманских социал-демократов приходилось даже протестовать в парламенте против «непарламентских» методов, применяемых противником. «Я считаю бесчестным клеветническое заявление генерального секретаря ХДС Гайслера о том, что мы, социал-демократы, являемся «пятой колонной» Москвы,— отбивался Ганс Йохен Фогель от очередного удара ниже пояса.— Кто выступает с подобными утверждениями, тот нагнетает атмосферу ненависти...»

Слова «пацифизм», «нейтрализм» неожиданно стали бранными. Естественную человеческую реакцию пытаются скомпрометировать и ошельмовать вздорными обвинениями в «непатриотизме» либо «наивном анархизме», «хиппизме» и прочем, и прочем.

Ну хорошо. Сотни тысяч демонстрантов на улицах Бонна — что, они не немцы? Представители десятков и сотен объединений, групп и партий — сплошь анархисты и хиппи? Или все ораторы — от члена правления свободных демократов В. Борма

до Генриха Беля и руководителей евангелических организаций «Акция в знак раскаяния» и «Сообщество службы для мира» — поголовно куплены Москвой?

Или, может быть, те в Америке, кто выступает за ядерное замораживание — от рядовых избирателей до сенатора Кеннеди,— не американцы? Во всяком случае не «настоящие американцы». Публично Рейган приравнял их к тем, «кто обрекает Соединенные Штаты на военное и моральное отставание». Их движение, по его словам, выльется в «измену нашему прошлому и в разбазаривание нашей свободы». В воздухе запахло изменой, словно в эпоху маккартизма...

В ходе мирной кампании 1982 года — ее назвали весенне-летним наступлением — в капиталистических странах приняли участие 20 миллионов человек. Может быть, их лозунги были написаны по-русски?

Над этим можно было бы посмеяться, если бы дело не было столь серьезно. На судебном языке это называется диффамацией — злостной клеветой. Защищая свои позиции, военно-промышленный комплекс, истэблишмент гонки вооружений прибегает к диффамации в гомерических масштабах. Он клевещет на миллионы.

Газета «Нойе Рур-цайтунг» пишет: «Демонстрация свидетельствует об отчуждении по отношению к США и ведет к размягчению союза... Основная опасность для нашей страны кроется в постепенном духовном размягчении по отношению к ведущей коммунистической державе».

От подобных высказываний веет духом «холодной войны». Страхом за догмы эпохи конфронтации. Веет эпохальной глупостью.

Попытки внести в борьбу за мир антикоммунизм, как и любой другой нигилизм, партийный эгоизм, ни к чему хорошему привести не могут.

Перед лицом фашизма объединились все миролюбивые нации. Атомная война — это страшнее, чем даже фашизм. Перед ее угрозой должны объединиться все, кто стоит на позициях гуманизма. Во всем прочем можно иметь разные, в том числе непримиримые, взгляды. Но и самая острая идеологическая борьба может происходить только в условиях мира. Перед Бомбой все равны...

...Но есть еще черта у яростной пропагандистской канонады, сопровождающей каждый шаг миролюбивого движения общественности. Это р а с т е р я н н о с т ь. Растерянность перед его массовостью, естественностью, стихийной силой. Самые убеди-

тельные доказательства тому представил лично президент США.

Из высказываний Р. Рейгана:

Вопрос: «Как велика, на ваш взгляд, опасность, которую представляет набирающее силу европейское движение сторонников мира?»

Ответ: «Я полагаю, что это результат проводимой в течение долгого времени пропагандистской кампании... Эта пропаганда... позволяет угадать почерк Советского Союза».

(Все та же милая беседа за завтраком с редакторами провинциальных газет 17 октября 1981 года.)

Еще один ответ: «Все это организовал так называемый Всемирный Совет Мира, который подкуплен и финансируется Советским Союзом».

(Из заявления 25 декабря 1981 года.)

Ну ладно, а в чем тогда истоки американского движения? «В организации некоторых крупных движений, например в Нью-Йорке и в других местах, несомненно, участвовали иностранные агенты, которые были подосланы туда, чтобы подстрекать к созданию такого движения».

(Из заявления 12 ноября 1982 года.)

Это было сказано по поводу супер-митинга в нью-йоркском Сентрал-парке. Какой комплимент таинственным агентам! Поднять на ноги миллион американцев и остаться неуловимыми...

Тема «иностранных агентов», по опыту,— самая последняя линия обороны. Когда крыть вовсе уж нечем, их вновь начинают искать под кроватями. И под какими кроватями!

Дурацкие обвинения вконец досадили профессору из Оксфорда И. П. Томпсону. И тогда он написал в газету «Гардиан» письмо, полное сомнений: «Я смотрю из своего окна на расстилающийся передо мной сельский ландшафт и теряюсь в догадках, каким же образом мной ухитрились дирижировать из Москвы...»

Томпсону вдвойне обидно. У него ведь надежное алиби. Да, он сторонник безъядерной Европы, но при этом антисоветчик,— увы, и такие гибриды ныне возможны...

Но коварство неведомых агентов поистине не знает границ.

«Наверное, мои слезы также вызваны с помощью дистанционного управления из Москвы...» На митинге в «Хофгартене», университетском парке в центре Бонна, это говорит дочь быв-

шего президента ФРГ, общественная деятельница и профессор теологии Ута Ранке Хайнеман.

Страшно подумать, но может быть, все те же вездесущие агенты проникли и в дом американского президента и разложили «первое семейство»? Как иначе объяснить, что дочь Рейгана, пойдя по стопам отца и став актрисой, пошла наперекор отцу, выступив за ядерное замораживание?

Впрочем, и сам президент вовсе не раб одного амплуа. Диапазон его игры широк, он может включать разные краски: от мести до лести. Вот, например, совсем неожиданный текст:

«Тем, кто участвует в маршах мира: мое сердце с вами. Я возглавил бы вашу колонну, если бы я верил, что марши сами по себе способны принести более надежный мир. Двум тысячам восьмистам женщин из Фильдерштадта, что прислали петицию за мир... Позвольте мне сказать, что я сам подписал бы вашу петицию, если бы думал, что она может принести гармонию. Я понимаю вашу озабоченность.

Женщины Фильдерштадта и я разделяем одну и ту же цель. Вопрос в том, как ее добиться...»

(Из речи в бундестаге. Июнь 1982 года.)

Мы никогда не были в Фильдерштадте. Но мы были свидетелями разных маршей мира. Людей Рейгана в них никто никогда не видел. В них участвуют совсем другие люди.

ЧЕЛОВЕК, ОТ КОТОРОГО ВСЕ ЗАВИСИТ

Это очень разные люди.

Ученые, расщепившие атом, но не продавшие душу дьяволу за эту тайну, первыми сформулировали грустную истину ядерного века: конец света действительно возможен. Если мы хотим жить, необходимо выработать «новые критерии мышления» (Эйнштейн).

В 1982 году эхо исторического манифеста Рассела — Эйнштейна отозвалось в новом манифесте, под которым подписалась элита мировой науки — 97 Нобелевских лауреатов. «Мы выступаем,— говорится в нем,— не как представители того или иного государства, континента или религии, а как просто люди, представители биологического вида «человек», само существование которого оказалось под угрозой».

Еще одно коллективное мнение ученых: «Наука не может предложить миру реальной защиты от последствий ядерной войны. Не существует перспектив сделать оборону достаточно

эффективной для защиты городов, поскольку даже один прорвавшийся ядерный заряд может причинить массовые разрушения. Не существует перспективы того, что массы населения могли бы быть защищены от массированного ядерного удара или могло бы быть предотвращено разрушение культурной, экономической и индустриальной основы общества».

Этот вывод сделан на конференции руководителей национальных академий 30 стран, собравшихся в Ватиканской академии наук в Риме в 1982 году.

Врачи на Западе всегда пользовались репутацией одного из самых благополучных кланов. Высокие доходы не хуже высоких заборов отгораживают от забот окружающих и примиряют с общественной несправедливостью. В политику врачи обычно не лезли, им хватало профессиональных проблем. С этого все и началось.

Врачи взглянули на атомную войну с медицинской точки зрения.

Предположим, бомба мощностью в столько-то мегатонн упадет на Сан-Франциско... Сколько потребуется коек для ожоговых больных? Сколько крови для переливания? Сколько врачей и прочего медицинского персонала? Кто, наконец, будет убирать горы трупов? Бороться с эпидемиями, включая чуму, которые вспыхнут после?

Врачи пришли в ужас. Они не смогут помочь и малой доле пострадавших. Медицина окажется абсолютно бессильна. Атомная бомба отменяет клятву Гиппократа? Нет, это клятва Гиппократа отвергает атомную бомбу!

Один профессиональный расчет сделал больше, чем сотни лозунгов, проповедей и увещеваний. Аполитичные врачи политизировались. Они поставили диагноз на своем языке: «Последняя эпидемия». И назначили курс лечения: «От смертельной болезни под названием Атомная война или Третья мировая может спасти только профилактика».

Точно так же как жители одного города объединяются против чумы, жители одной планеты должны объединиться против войны. И требуется самая скорая помощь от гонки вооружений. Так началась «Кампания медиков против ядерного оружия».

— Что бы вы назвали проблемой номер один с медицинской точки зрения?

Этот вопрос корреспондент АПН Владимир Симонов задал одному из основателей этого международного движения американскому профессору Бернарду Лауну.

— Это проблема выживания человечества,— ответил амери-

канский профессор.— Я кардиолог, профессор Евгений Чазов, мой друг и соавтор идеи международного движения медиков против ядерной войны, тоже кардиолог. Не потому ли одна и та же идея посетила двух знатоков сердца, что они лучше других чувствуют биение пульса человечества? Лучше, чем политики, лучше, чем вы, журналисты, лучше, чем генералы, лучше, чем так называемые «стратегические мыслители», которые занимаются манипуляцией туманными цифрами и прочим упрощением важнейшей проблемы жизни или смерти цивилизации.

Жизнь несовместима с накоплением ядерного оружия. В этом сегодня главный вопрос человеческой истории. Ничего более важного нет.

Горячность и профессиональный патриотизм видного врача можно понять, но и у его гуманной профессии нет монополии на истину.

Война имеет свой истэблишмент, в военном деле есть свои профессионалы. Во все времена долг военных был воевать до победного конца. Это все так. Но ведь в ядерной войне победить стало невозможно!..

Люди военные из первых рук знают, что такое современная война, и когда это знание соединяется с голосом совести, рождается миролюбивый «Манифест генералов».

Я процитирую ключевое место, раскрывающее философию авторов:

«В наши дни военный, осознающий свою ответственность, не может проводить грань между выполнением своих военных обязанностей и чувством своего морального долга. Он должен выполнить этот моральный долг, пока не стало слишком поздно и дело не дошло до выполнения им военного приказа. Первый долг современного военного — предотвратить войну».

И еще одна выдержка из «Манифеста». Взгляд на войну и политику:

«Поскольку США и СССР имеют ядерное оружие дальнего действия с колоссальной избыточной разрушительной способностью, военный подход к урегулированию конфликтов в сфере отношений между Востоком и Западом совершенно нереален. Принцип, по которому война — лишь продолжение политики иными средствами, утерял в ядерный век свою обоснованность. Если бы мы попытались на практике применить этот принцип в наши дни, мы обрекли бы тем самым все человечество на страшную катастрофу или даже на полное уничтожение.

В наши дни сохранение мира, а вместе с тем и выживание

народов требует новых ответов — политических ответов на сложные вопросы нашего времени».

Военные свидетельствуют против своей профессии. Знамение времени! Но это требует и крайнего мужества, решимости, ясности ума.

Вот кто подписал «Манифест генералов»:

Генерал в отставке Герт Бастиан (ФРГ). Отстаивая свои взгляды, он бросил вызов властям, подвергался травле, вышел из своей партии (ХСС), но выдержал все. На последних выборах был избран депутатом бундестага, баллотируясь от партии «зеленых».

Генерал в отставке Юхан Кристи (Норвегия). После 45-летней безупречной службы он стал активистом миролюбивого движения.

Генерал в отставке Франсиску да Кошта Гомеш. Бывший президент Португальской республики.

Генерал в отставке Георгиос Куманакос (Греция). Занимал пост первого заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил Греции.

Генерал в отставке М. Х. фон Мейенфилдт (Голландия). Бывший начальник Королевской военной академии.

Уже знакомый нам итальянец Нино Пасти. Напомню высшую точку его военной карьеры — заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО в Европе.

Адмирал в отставке Антуан Сангинетти (Франция). Один из видных военных деятелей Франции при де Голле, бывший командующий французским флотом в Средиземном море.

Послужные списки авторитетны и красноречивы. Этих людей трудно обвинить в пацифизме или некомпетентности.

Да, к истине ведут разные пути. Свой идеал мира одни черпают в классовом сознании. Другие — в нормах этики и заповедях религии. Третьих — это ученые, врачи, военные — ошарашивают бездны, которые открывает им собственный профессиональный опыт.

И тогда происходит нечто удивительное и прекрасное. Благодаря профессиям проявляется, сквозь профессии пробивается чувство высшее, надпрофессиональное, истинно человеческое. Это забота уже не просто о «своей хате» — то есть о цехе, касте или среде, но о мире в целом. И тогда рождается мысль простая и насущная. «Война слишком страшна, чтобы отдавать ее на откуп генералам». «Политика — слишком ответственное дело, чтобы оставлять ее одним политикам».

Борьба за мир — это безусловно самое благородное и необходимое движение современности. Оно олицетворяет надежду

на конечное торжество разума, в противовес возможному концу света.

Одна американская антивоенная группа выпустила такой плакат: «Только от одного человека зависит, быть ли войне. Этот человек — Ты!»

Эта группа хорошо информирована.

...Пол Тиббетс командовал эскадрильей, сбросившей первую бомбу новой атомной эры. 37 лет спустя в интервью американской газете генерал ВВС Тиббетс заявил, что он и сегодня готов «сделать то же самое». Интервью это я прочел в Вене.

6 августа 1982 года разноплеменные участники «Марша мира-82» собрались в центре австрийской столицы на старой площади у подножия собора святого Стефана, чтобы сказать во весь голос «Никогда более!».

«Марш мира-82» — имя собирательное. В Вене было видно, как сливаются в единое человеческое озеро различные ручьи марша. Из Братиславы и Будапешта пришли два потока, взявшие старт в Москве и Киеве. К Дню Хиросимы сюда подошли другие колонны и группы из Западной Германии, Греции, Италии, Англии...

На площади — австрийцы, русские, немцы, венгры, японцы, индийцы — люди из 30 стран.

Несколько участников марша Москва — Вена ранее участвовали в марше Стокгольм — Хельсинки — Ленинград — Москва — Минск. А вот еще одно очень знакомое лицо. Где же я его видел?

Но зачем играть в загадки? Я ведь обещал вам эту встречу, и вот пришел ее час.

Это Сванлинд Бауэр. Помните, вместе с сыном она была участницей «Марша мира-81» Копенгаген — Париж? Мы встретились тогда под Брюсселем, и она очень хорошо представилась: «Я — гражданка этого мира, которая работает во имя мира. Мира для всего мира. Не для Запада только и не для Востока. А для всего мира». В словах ее был явный вызов.

Коренная венка, на этот раз она пришла в родной город с колонной единомышленников из Западного Берлина.

— Сванлинд, а где же ваш сын?

— О, он здесь же. Но вы его не узнаете. Он выбрил голову под «панка»... Но вообще он хороший парень.

Нелепо строить из себя скептика, если сам веруешь, но мы должны были задать вопрос, чтобы услышать ответ для тех, кто

сомневается. Второй раз Сванлинд берет отпуск, чтобы памятные августовские дни провести в походе... Приблизилась ли она к цели?

Женщина поднимает перчатку. Нет, она вовсе не розовая оптимистка, и она знает, что за год угроза не стала меньше. Но именно поэтому надо настойчивее объяснять людям, что это за угроза. Сегодня это понимают уже гораздо больше людей. Надо, чтобы их стало еще больше. И чтобы их голос слышали те, на ком лежит ответственность власти. Сванлинд считает необходимым подчеркнуть, что вовсе не является сторонницей советской системы, спор, однако, идет не о системе. Идет борьба за жизнь, и в этой борьбе должны быть вместе все, кто способен задуматься о будущем и настоящем.

«Если мы не остановим катастрофу, весь мир превратится в Хиросиму!» Это говорит с трибуны собравшимся на площади пожилой японец. Мы привыкли видеть группы японских монахов в голове колонн — в желтых хитонах, бритоголовых и молчаливых, с бубнами в руках — они словно бы задавали ритм. Они стали неотъемлемой частью разных потоков этого спонтанного и естественного человеческого движения, одним из его наглядных символов. Мы не слышали раньше, чтобы они выступали публично, но сегодня монах заговорил, и у него оказался хрипловатый, даже сорванный голос.

«Мы не должны молчать. Мы должны кричать, чтобы сказать «нет!» этому безумию. Наша задача, задача человеческих существ, живущих в этом веке, остановить атомную угрозу, чтобы передать эту Землю следующему поколению в целости и сохранности».

В руках у Сванлинд Бауэр серебряный журавлик — еще одна сентиментальная деталь. Каждому желающему она разъясняет:

«Этого журавлика сделал один из японских монахов. У японцев есть поверье: если сделать тысячу таких журавликов, ваше желание исполнится, а желание этого монаха — мир во всем мире. Это журавлик номер 999, он дал его мне, а тысячного журавлика он отдаст мэру этого города. Это значит, что он уже сделал свою тысячу журавликов. И таким образом мы сделаем еще один шаг к миру...»

Выступает статс-секретарь австрийского правительства по делам семьи Йоханна Дональ:

«Атомная бомба, сброшенная на Хиросиму 37 лет назад, должна стать для человечества предостережением на вечные времена... Мы постоянно слышим о том, как много ядерного оружия имеет «другая сторона» и как мало — «наша». И этого

оказывается достаточно, чтобы еще больше производить, еще больше накапливать...

Представителей движения за мир часто упрекают в том, что у них нет ничего, кроме эмоций. Но ведь эти эмоции совсем другого рода, чем те, что вызывают ненависть и приводят к войне».

«Эти люди не от мира сего,— говорили об участниках марша мира.— Романтики, беспочвенные мечтатели, грезящие утопиями...»

Как будто мечты унижают человека...

«Сегодня ночью мне приснился сон, какого я еще никогда не видел. Мне приснился мир без солдат, мир без винтовок...» Мы слышали, как на привале они пели эту песню.

Хорошо, что им снятся такие сны. Хорошо, что они не боятся устать в походе за своей мечтой.

Наивность? Простота? Не политика, а сплошная нравственность...

Да! Но разве не мечтал Маркс о том, «чтобы простые законы нравственности и справедливости... стали высшими законами и в отношениях между народами». Впрочем, разве он только мечтал? Нет, он требовал, и это его требование, обращенное к рабочему классу, сегодня имеет еще более широкий — всеобщий — адрес. Маркс говорил об обязанности «самому овладеть тайнами международной политики, следить за дипломатической деятельностью своих правительств и в случае необходимости противодействовать ей всеми средствами, имеющимися в... распоряжении; в случае же невозможности предотвратить эту деятельность — объединяться для одновременного разоблачения ее и (доведем цитату до точки, не боясь повтора) добиваться того, чтобы простые законы нравственности и справедливости, которыми должны руководствоваться в своих взаимоотношениях частные лица, стали высшими законами и в отношениях между народами».

Какая прекрасная и прозорливая мысль! Ведь это по-настоящему разумная перспектива, а сегодня еще и единственный шанс для человечества. Простая истина, до которой никак не дорастет «международная политика».

Но то, чего не осознает политика, запутавшаяся в клубке «фурий частного интереса», поняли простые люди, когда их действительно взяло за живое.

Близко наблюдая участников марша мира, понимаешь: это миссия. А сами эти люди — миссионеры. И оттого, что их по-

слание так просто, оно не становится меньше, но вырастает до общечеловеческого призыва.

Они не хотят, чтобы человечество примирилось с видением ядерной смерти у своего порога или закрывало на него глаза. Чтобы оно привыкло жить с Бомбой. Они знают, что если люди не покончат с оружием, оружие может покончить с ними. Они хотят вернуть в «международную политику» утерянный здравый смысл.

И эту свою тревогу, веру и оптимизм действия они хотят донести до возможно большего числа людей.

Как сказал нам старик профессор из Осло, участник «Марша мира»: «Сейчас я понял то, чего не понимал раньше. Нужно идти. Идти и встречать людей. Идти и протестовать против ракет. И снова идти, и идти, и идти. И если мы не устанем, война не придет».

В АНТИМИРЕ

И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи..

Александр Блок. «Возмездие»

ИСПОВЕДЬ БЫВШЕЙ БОМБИСТКИ

> 2-й юноша-негр. Сделать нужно вот что: пойти на вербовочный пункт, прихватить с собой бутылку с бензином, заткнуть ее пробкой и...
>
> 1-й белый юноша. Да, конечно... Ну а если мы хотим взорвать идеологию?
>
> *Микеланджело Антониони.* «Забриски-Пойнт»

«Когда я сегодня оглядываюсь назад, мне кажется, что это не про меня, что это про некоего малознакомого мне романтика, насмотревшегося фильмов. Да неужели это мы пытались вести в городах «партизанскую войну», неужели это мы хотели свергнуть правительство?»

О Джейн Альперт, написавшей эти строки, известно вот что. 1947 года рождения, родом из Форест Хиллза в штате Нью-Йорк, из семьи, принадлежащей к «обыкновенному среднему классу». Хорошо училась в школе, в колледже специализировалась по классической литературе, работала в издательстве...

В возрасте 22 лет взорвала свою первую бомбу.

К этим объективным фактам добавляются субъективные — то, что она рассказала о себе.

Со школьной скамьи она была идеалистка и, видимо, таковой осталась, несмотря на охватившую ее усталость. Поэтому в разные эпохи своей жизни она вела себя так по-разному. В дни «Кубинского кризиса» — ей было 15 лет — она была восторженной ура-патриоткой, готовой, если надо, умереть за свою страну. Газетная шапка «Кеннеди угрожает Кубе атомной бомбой», по ее собственному признанию, вызвала в ней такой порыв, что

она даже разразилась одой. Семь лет спустя она помогла двум канадским беглецам угнать самолет из Нью-Йорка на Кубу.

Классический гуманитарий, она в 22 года сначала обсуждала с другом, как добыть пару пистолетов для канадских беглецов, потом — как хранить ворованный динамит, а потом и сама подложила бомбу в Дом правительственных учреждений, где находился армейский призывной центр.

Что позволило ей перешагнуть через сомнения?

«Я подумала о пулях, убивших Мартина Лютера Кинга и Роберта Кеннеди». Это в ситуации с пистолетами.

«Я думала о бомбах, которые падали на Вьетнам, о бомбах, которые начали падать на Камбоджу». Это в ситуации с бомбами.

А что она почувствовала, когда ее взрыв достиг цели?

«Я не могла говорить. Я не знаю, что чувствовали остальные, но я чувствовала радость: я доказала Сэму, что ему незачем действовать в одиночку, я причинила серьезный ущерб армейскому аппарату США и, возможно, хоть на дюйм приблизила революцию...

Взрыв был сильным, но никто из людей не пострадал. Я была счастлива».

Счастье оказалось недолгим. В организацию пробрался провокатор, и всех арестовали. «Нас обвинили во взрывах бомб в призывном центре в Доме правительственных учреждений, в здании суда, в помещениях банков «Чейз Манхэттен», «Мэрин Мидлэнд», в здании компании «Дженерал Моторс» — пугающе точный список».

Что с ними стало?

«Меня освободили под залог в двадцать тысяч долларов — деньги дали напуганные родители. Нас ждал суд, и я решила уйти в подполье. Я понимала, что родители будут страдать, что они теряют большие деньги, меня пугала неизвестность, но я все же решила стать беглецом, чтобы продолжать бороться за свои идеалы».

«Сэму так никогда и не суждено было выйти из тюрьмы». Он попал в Аттику, где и погиб во время бунта 1971 года — так неожиданно обрела для нас имя одна из сорока трех жертв этой хладнокровной расправы. (Впрочем рассказ об этом впереди.)

Тело его выдали родным и близким и, рискуя быть узнанной, Джейн Альперт проникла к гробу любимого, чтобы сказать ему последнее прости.

«Я плакала и думала о том, что Сэм умер как хотел: он и

его сотоварищи восстали против государственной машины, горстка заключенных против целой армии тюремщиков. Это была честная смерть. Я хотела сказать ему, что любила его, что была с ним счастлива, что он научил меня многому, что он научил меня видеть жизнь и участвовать в ней, что, хотя, может быть, наши бомбы не могли взорвать всю несправедливость жизни, они были нашим ответом на вьетнамскую войну, они показали миру, что и среди американцев есть честные люди. Возможно, мы были недальновидны, возможно, кто-то может счесть нас просто безумцами, но мы были честными людьми».

В бегах она была четыре с лишним года. Финал таков:

«Я почувствовала усталость. Я устала прятаться, я устала от бесконечных нападок леваков друг на друга — время наших активных действий прошло, наступило разочарование: мы ведь ничего толком не достигли, думала я. Мне казалось, что Уотергейт существенно изменил климат в стране, и вот 14 ноября 1974 года я сдалась властям.

Мне дали два с половиной года, а в марте семьдесят пятого власти пытались принудить меня дать показания против одного из моих бывших друзей. Я отказалась. За это мне дали еще четыре месяца».

Что она делала потом?

«Со времени освобождения я живу в Нью-Йорке. Живу скромно, пишу книгу и участвую по мере сил в женском движении.

Я смотрю назад с сожалением: моя юность ушла, наверное, я истратила ее не так, как следовало бы. И все же, когда я вспоминаю, что была против вьетнамской войны — я горжусь собой».

Публично исповедавшись в былых грехах, которыми она и сейчас чуть-чуть гордится, она впустила нас в мир своего смятения, взорванных иллюзий и не до конца растраченной надежды.

А перед глазами другая — знаменитая — беглянка. Копна курчавых волос, словно черный ореол, и вскинутый в победном жесте кулак. Анджела Дэвис. Противоречат ли этому лику такие строки?

«Я жила на нелегальном положении уже почти два месяца. Я засыпала и просыпалась с коликами в желудке, с привычным от тошноты комком в горле. По утрам я маскировала внешность. На грим и косметику — двадцать минут, нужно приобрести приличный вид. Еще несколько нервных усилий, чтобы ослабить тугой парик. Я старалась не думать о том, что либо

в этот день, либо завтра, либо в один из бесконечной вереницы предстоящих дней меня схватят». Да, это слова Анджелы.

Рядом с отстоявшимся гордым ликом память сохранила моментальный снимок сразу после ареста. Тонкая девичья фигура. Прозрачная кофточка и короткая юбка, не прикрывающая и колен, подчеркивают ее беззащитность. Волосы непривычно стянуты сзади (из-за тугого парика, но парик сорван), руки скованы наручниками. По бокам полицейские бугаи. Анджела...

Фотография еще одной беглянки из мозаики бурного времени. Женская фигурка, теряющаяся в мешковатом костюме с чужого плеча, с чужим автоматом в руках в сан-францисском банке. Патриция Херст в чужой роли.

Где-то между этими двумя полюсами место Джейн Альперт.

Но почему девушки?

Это вопрос памяти, то есть совести и чувства, а не только разума. Контраст между хрупким девичеством и безобразной чудовищностью репрессивного аппарата так нагляден и дик, что моментальный снимок разрастается до символического масштаба, превращается в образ американского насилия.

А мужские имена назвать нетрудно. «Соледадские братья» — нам предстоит еще познакомиться с ними поближе. Другие братья — белые священники Дэниел и Филип Берриганы, яростные противники вьетнамской войны и беглецы от насквозь пристрастного правосудия. А сколько тысяч молодых американцев бежали от призыва в армию за рубеж в Канаду!

«РАЗЫСКИВАЕТСЯ!

Особо опасный преступник.

Уличен в подрывной деятельности: проповедует всеобщее равенство и братство.

Возраст: 33 года.

Особые приметы: следы гвоздей на груди.

В последний раз видели на Голгофе около двух тысячелетий назад».

В 1971 году, когда я впервые оказался на американском берегу, эти плакаты, пародирующие ФБРовскую охоту, были очень популярны в молодежной среде.

В Гринвич-Вилледже на стенах домов и лавок шла война лозунгов.

«Черное — это прекрасно!» — кричало словами Мартина Лю-

тера Кинга воспрявшее от унижений новое самосознание черных.

«Пуэрто-риканское — это прекрасно!» — еще одна разновидность пробудившейся, готовой уже постоять за себя гордыни.

«Свиньи — это прекрасно!» — стены яростно издевались. «Пантеры», агрессивная черная молодежь, а также белые радикалы стали называть «свиньями» полицейских — прямое орудие репрессивной Америки.

Но не только оружие смеха подняли они против своих злейших врагов.

«Хорошая свинья — мертвая свинья!»

Что и говорить, не самый благозвучный лозунг. И не оригинальный к тому же. В первоисточнике он звучал так: «Хороший красный — мертвый красный». В годы охоты за ведьмами им погромыхали всласть. И сейчас кто-нибудь из вечно правых вплоть до ближайшего окружения президента нет-нет да и пустит в оборот нечто похожее: «Лучше мертвый, чем красный». Впрочем, и маккартисты могут претендовать лишь на соавторство. Ибо впервые кровожадный клич прозвучал в годы «освоения Дикого Запада», и автором его был, к слову сказать, генерал Першинг, чьим именем назовут ракеты. «Хороший красный — мертвый красный» относилось к краснокожим — к индейцам. Два века шовинизма и два десятилетия нетерпимости отрыгнулись Америке, ее молодежь вернула ей ее собственный плевок. Она ведь тоже американское детище — американская молодежь.

Плакат с изображением президента Никсона в самой фривольной позе... Еще один плакат, снова Никсон, лицо крупным планом. Характерную мину жуликоватости, схваченную фотоаппаратом, подчеркивает подпись: «А вы купили бы у этого человека подержанный автомобиль?»

До Уотергейтского скандала было еще три года. А молодежь уже тогда удивлялась и вопрошала «молчаливое большинство», эту приличную публику, правда, и в самом деле не слишком приличным способом: «Послушайте, ведь вы не купили бы у этого человека даже подержанный автомобиль, почему же вы покупаете его президентство? Почему вы позволяете ему продать себе вьетнамскую войну и реакцию дома?»

Но, может быть, три года спустя перед ними извинились и сказали: «Да, вы были правы, это мы проявили преступное легкомыслие...»? Ничего подобного, конечно же, не случилось.

«Любите, а не воюйте!» Или, как буквально перевел Евту-

шенко, не желая сбиваться на ненужную благочестивость: «Делайте любовь, а не войну!»

«Война вредна для детей и других живых существ».

«Детьми-цветами» называли себя хиппи. Их обезоруживающе наивная тихая нота была тоже слышна в какофонии американской драмы. «Ноты из подполья», «Минированная зона», «Благодарные мертвые» (прямая перекличка с жертвами Хиросимы) — названия популярных оркестров и групп.

Боб Дилан пел «Блюз третьей мировой войны», «Всего лишь пешка в их игре», «Все в порядке, мама, я только истекаю кровью»...

Джерри Рубин, герой нашумевшего процесса после полицейской расправы над молодежью в Чикаго 1968 года («Чикагская восьмерка»), провозгласил «новую концепцию революции»: «Все на улице! Все покидают свои квартиры, свои дома, свои коробки. Все танцуют на улицах. Хлеб раздается бесплатно на улицах, все делятся всем».

Сотни «подпольных» листков, газет и изданий кричали о революции. Энергичным соленым языком они призывали молодежную аудиторию плевать на призывные армейские пункты и вьетнамскую войну и на любые табу, включая запрет на марихуану.

Рецепты гремучих смесей, бомбовых коктейлей печатались в открытую. В книжке Эбби Хоффмана, еще одного из «Чикагской восьмерки» и лидера йиппи, «партии» революционного балагана, перечислены семь вариантов бомб, которые можно сделать в домашних условиях. Смесь бесовства — в достоевском смысле — с коммерциализмом, книжка эта мозолила глаза уже своим названием. «Укради эту книжку!» — значилось на титульном листе.

Фарс теснил, но и оттенял трагедию.

В тюрьме, из которой у него не было ни малейшего шанса выйти на волю, самодельный революционер Джордж Джексон зачитывался наставлениями по городской герилье — партизанской войне в каменных джунглях.

«Пантеры» скрежетали зубами: «Смерть свиньям!» — но убивали-то «пантер». По всей стране шла полицейская на них охота, зверский отстрел. (Фреда Хэмптона пристрелили дома, в собственной постели, он так и не проснулся. Задним числом налет объяснили привычной формулой: «необходимость самообороны», будто нападающей стороной был именно спящий.)

Вот еще один американский коктейль из фарса и трагедии. Впрочем, в нем немало и других компонентов.

6 Заказ 502

Ноябрьским днем 1970 года всемогущий шеф ФБР Эдгар Гувер появился в сенате, чтобы сделать сенсационное заявление: раскрыт опаснейший заговор. «Воинствующая, анархистская группа», «состоящая из католических священников, монахинь, преподавателей и студентов», оказывается, намеревалась взорвать системы отопления и электропроводки, питающие правительственные учреждения в Вашингтоне. Их цель — «создать хаос, а также похитить важное государственное лицо, имеющее отношение к Белому дому». (Позже выяснилось, что на эту роль ФБР отрядило самого Генри Киссинджера, главного внешнеполитического помощника президента и большого любителя рекламы.) В обмен похитители собирались «потребовать прекращения американских бомбардировок в Юго-Восточной Азии»...

Эдгар Гувер назвал девиз подрывной организации: «Заговор на Восточном побережье по спасению жизней». И имена заговорщиков — Дэниел и Филип Берриганы. Мятежные братья сидели в тюрьме Данберри, но по гуверовской логике факт этот не только не создавал алиби обвиняемым, но как бы подтверждал преступность их намерений.

Ответ Берриганов последовал незамедлительно.

«Г-н Гувер назвал нас руководителями «Заговора на Восточном побережье по спасению жизней». Мы счастливы согласиться, что подобный заговор сознания действительно существует, притом в гораздо более широком виде, чем это признает г-н Гувер. Есть также Заговор на Западном побережье по спасению жизней, Заговор на Среднем Западе по спасению жизней, Среднеатлантический, а также Южный заговор по спасению жизней. Более того, сложился фактически Всемирный заговор по спасению жизней, имеющий целью «потребовать прекращения американских бомбардировок в Юго-Восточной Азии...»

Калибр орудия, из которого выпалили по узникам, говорил о том, что провокация задумана крупномасштабная, но и со скованными руками они демонстрировали безграничное превосходство людей с идеалом и честью над полицейской слоновостью.

А в тюрьму они попали так.

В разгар вьетнамской войны Филип Берриган и трое его единомышленников («Балтиморская четверка») совершат акт в высшей степени символический. Осенним днем 1967 года они войдут в одно из правительственных учреждений в Балтиморе, извлекут на свет божий призывные списки и зальют их

кровью — «библейским символом жизни», по определению Фила. После чего будут спокойно ждать ареста.

За несколько дней до этого они заявят:

«Мы проливаем кровь сознательно в надежде на то, что это акт жертвенный и созидательный. Мы проливаем ее, чтобы показать: с этих списков и в этих учреждениях начинается достойная глубокого сожаления растрата американской и вьетнамской крови в десяти тысячах миль отсюда...

Мы не ищем дурной известности или славы мучеников и мессий. Мы хотим стать на защиту человеческой жизни и человеческого будущего... Мы говорим, что человек должен покончить с войной, пока война не покончила с человеком...

Мы отвергаем идолопоклонство собственности и власть военной машины, превращающей живых людей в свою собственность... США — величайший производитель и продавец насилия в сегодняшнем мире...

Мы любим нашу страну и славим ее величие. Но наша любовь не приемлет ее зла молча и пассивно...»

17 мая 1968 года братья Берриганы и семеро их единомышленников повторили операцию в пригороде Балтимора Кейтонсвиле («Кейтонсвильская девятка»). Позже на суде Филип Берриган назвал Вьетнам «страной горящих детей». Это объясняет, почему «библейского символа жизни» на этот раз было недостаточно. Призывные списки они сожгли напалмом. Напалм был самодельным. Рецепт позаимствован не у Эбби Хоффмана, а в официальном наставлении для «зеленых беретов», изданном центром подготовки войск специального назначения в Форт-Брэгге.

Дэну в тот год было 48, Филу — 46. Не мальчики. Католические священники (образование — иезуитский колледж Святого креста, университет Лойолы). Люди истинно верующие — оба они верили в то, что их назначение служить не церкви, то есть церковной иерархии, самодовольной и раболепной, но богу и миру. Их жизненный опыт — и поиск истины — поразительны. Участие в войне против фашизма. Работа среди обездоленных — в американских гетто и латиноамериканских фавелах. Они видели американские бомбежки в Ханое и слышали жертв шарпевильской бойни в ЮАР.

Прежде чем прибегнуть к символической крови и к символическому напалму, они, кажется, испытали все средства. Добились беседы с госсекретарем Дином Раском, вступили в переписку с военным министром Робертом Макнамарой, дискутировали с сенаторами, конгрессменами, правительственными

экспертами, слали петиции в Белый дом, участвовали в маршах мира. Убедившись в беспомощности просто слова, они прибегли к действию.

Свершив Акт в Кейтонсвиле, они вновь терпеливо дождались ареста. Как рецидивистов «мирничества» суд приговорил их к шести годам заключения. И тогда опи демонстративно скрылись. Бег и подполье, за которыми следила пробуждающаяся Америка, продолжались четыре месяца для Дэна (для Фила — лишь две недели). А потом новый этап — борьба из-за тюремной решетки.

«Дэн и я шли разными путями, они помогли нам осознать эту ужасную войну и безумие нашей страны,— писал Фил.— Чтобы остановить эту войну, я отдам свою жизнь завтра же». Он писал о своей вере «в революцию» и о своей надежде, что и дальше сможет вносить в нее «ненасильственный вклад». «Без нее, по-моему, нам не спасти ни этой страны, ни человечество».

Гуверовский вздор они отвергли с презрением.

«Мы не заговорщики, не бомбисты и не похитители. В принципе и на практике мы отвергаем подобные действия...» Причиной обвинения в заговоре послужила их оппозиция вьетнамской войне, подчеркнули они.

Они защищаются не из страха, им важно, чтобы об их взглядах узнали как можно шире.

«В отличие от нашего обвинителя — правительства США мы не пропагандировали и не занимались насилием против человеческих существ. В отличие от правительства мы никогда не лгали своим согражданам по поводу своих действий. В отличие от правительства нам нечего скрывать...»

Их защита стремительно перерастает в гневное обвинение.

«На деле имепно правительство занималось похищением людей в гигантских масштабах — насильственной депортацией миллионов вьетнамцев, а также камбоджийцев и лаотян из их старинных поселений; отторжением американских юношей от их семей... и отправкой их за границу, где им грозит смерть или увечья.

Именно правительство не просто вступило в заговор, но и с помощью взрывчатки повергло в руины три страны: Вьетнам, Лаос и Камбоджу, обрушило на головы беззащитных напалм и осколочные бомбы, уничтожало их леса и рисовые поля. И если преступления против человечества действительно нас волнуют, судить надо официальных лиц из правительства США».

А теперь о бомбистах в американских городах. Они называли себя «уэзермены» («метеорологи»). Строчка из Боба Дилана объясняет почему: «Не нужно быть метеорологом, чтобы знать, что грянет буря».

Джейн Альперт признается, что имела связь с «метеорологами».

Что они бомбили? Банки, армейские центры — то, что символизировало систему — капитал и войну. Пострадала ли от этого система? Нет, конечно. Строят в Америке надежно. Обломки и осколки мгновенно убирались. Взорванные витрины застеклялись без промедления. Кровь стирали. Но это была кровь случайных людей — невинная кровь,— и она падала на головы тех, кто столь неразборчиво прибегал к крайней мере. Их легко было поставить вне общества, а заодно выставить в качестве насильников, террористов и убийц всех, кто выступал против капитала и войны.

«Уэзермены» кричали о революции, и общество настраивали против любых перемен. Вот, мол, к чему приводит либеральная вседозволенность и левые идеи. И вывод: «Души левых, пока они не взорвали все к чертовой матери!»

«Революция с бомбой» провоцировала разгул реакции.

Из своего подполья Дэниел Берриган написал открытое письмо «уэзерменам». Сочувствуя их изначальным целям, он хотел остановить их динамит. «Я очень боюсь американского насилия...» — писал он, подчеркивая, что не ограничивает это понятие лишь «военной областью, дипломатией, сферой промышленности или рекламы», но имеет в виду и насилие «в себе, среди нас». При этом он делает знаменательную оговорку: «Я, можно сказать, не боюсь — по личному опыту — насилия со стороны Вьетконга или черных «пантер». (Я даже сомневаюсь, насколько правомерно употреблять это слово в данном случае.) Их действия диктуются нависшей над ними угрозой уничтожения, их толкнули на линию самообороны. Чего не скажешь о нас, о нашей истории».

В выводе его звучит предостережение: «История движения в последние годы показывает, с какой неотвратимостью и легкостью насилие совращает, превращаясь из средства в самоцель». И он добавляет: «Ни один принцип не стоит жертвоприношения в одну человеческую жизнь».

В памяти сразу же отзывается: и «высшая гармония» «не стоит... слезинки хотя бы одного только... замученного ребенка».

Я не знаю, прямое ли это эхо Достоевского, очень может

быть. Или, как всякое выстраданное человеческое откровение, святая мысль, явившаяся русскому гению XIX века, рождалась не единожды. Так или иначе, перед нами еще один обращенный, еще одна безнадежно болеющая гуманизмом душа — католический священник, в шуме и ярости американского хаоса сражающийся за справедливость.

«Уэзермены» были бесы — воспользуемся этим словом. Но попробуем понять и их. Что их бесило?

Трагический накал и очевидная неразрешимость американских парадоксов.

Великий прогресс, приводящий к надругательству над человеком и природой и к духовному оскудению массы. Фантастическое богатство, оборотной стороной которого стало оскорбительное неравенство и доведенный до белого каления расизм. Демократия, выливающаяся в политическое шоу и сочетающаяся с неприкрытым диктатом денежного мешка и полицейским террором в гетто. Провал того, что традиционно называют «Американской мечтой» — исторического обещания, данного обществом личности,— в тот самый момент, когда технология, казалось, доказала свою способность творить чудеса.

Бесчеловечность системы. Социологи с тревогой отмечают нарастающее отчуждение и прогрессирующую дегуманизацию общественной жизни (подобно тому, как прогрессирует рак). Люди ощущают, что климат становится все более жестоким — отдельный человек может все меньше, а человеческая жизнь стоит все дешевле. Война во Вьетнаме стала кульминацией. Неизвестно как начавшаяся, неизвестно зачем длящаяся, она тем не менее требовала ежедневных жертвоприношений кровью, и люди были так же беспомощны перед этой стихией, как доисторическое человечество перед капризами своих жестоких и своевольных богов.

Больше всего их бесило бессилие. Непробиваемость власти, которая бестрепетно подавляла (или надежно поглощала) протест. Равнодушие «молчаливого большинства», которому ежечасная борьба за собственное благополучие и врожденные предрассудки застили глаза. Равнодушие в ущерб себе, равнодушие, равное соучастию в преступлении.

Еще одно отступление. Вспомним: Кентский университет 4 мая 1970 года. Студентов, вышедших на демонстрацию против американской бомбежки в Камбодже, национальные гвардейцы встретили пулями. Четверо убитых, девять раненых. И страна в шоке.

Несколько лет спустя состоялся суд. В преступлениях обви-

нялись 26 национальных гвардейцев и губернатор штата Огайо Джеймс Родс, пославший их в студенческий «кампус». Пятнадцать недель продолжался процесс. Тридцать три часа — решающее совещание. Наконец двенадцать присяжных — шесть женщин и шесть мужчин — десятью голосами против двух вынесли вердикт: невиновны!

Есть неоспоримый факт. Расстрел произошел средь бела дня, резонанс от гвардейского залпа по безоружным вышел далеко за пределы Штатов.

Есть жертвы — от имени тех, кто покоится в земле, обвинение выдвинули родные, раненые обвиняли сами. Одного из них, Дина Калера, можно было часто увидеть в зале суда в передвижном кресле на колесах. Пуля парализовала всю нижнюю половину тела.

Есть нарушение закона, Основного закона страны. Нарушено право на демонстрацию, записанное в конституции. Есть неспровоцированное убийство (в ходе процесса один из бывших гвардейцев признал, что вопреки его предыдущим показаниям никто никакого пистолета на теле убитого студента не находил. Задним числом расстрел пытались оправдать наветом и ложью). А виновных нет.

Говорят, что женщины-присяжные, в том числе и голосовавшие за оправдательный приговор, плакали. Решение объясняют так: ну хорошо, войдите, мол, в положение бедных национальных гвардейцев. Плохо обученных, не привыкших к дисциплине, их подняли в ружье и послали по тревоге в бурлящий университетский «кампус». Прекратить безобразие — был приказ губернатора. Что же оставалось гвардейцам делать — ведь смутьяны издевались над ними и, самое главное, они открыто выступали против официальной политики государства. Чего вы хотите, чтобы национальная гвардия не выполнила приказа?

Годы, миновавшие со дня расстрела в Кенте, показали то, что в дни волнений было ясно лишь непредубежденным, а сейчас ясно всем: американским солдатам действительно нечего делать ни в Камбодже, ни во всем Индокитае. Студенты не просто имели право на протест, они были правы, протестуя. Исторически они были более правы, чем государственная военно-политическая машина, упрямо завязавшая в чужих болотах. В конце концов вооруженное вмешательство пришлось прекратить, но те, кто боролся за такой исход, так и остались бунтовщиками, а те, кто способствовал национальному преступлению и позору — как минимум лояльные граждане.

Тем майским днем 1970 года молодые люди сошлись один

на один с системой. Система ощетинилась штыками и пулями. Но даже сейчас, когда историческая ошибка преодолена, приговор себе система подписывать не желает.

История оправдала студентов Кента.

Суд оправдал их убийц.

Вот так работает система. И это бесило молодых.

В дни национального кризиса их особенно бесило то, что, несмотря на безотлагательную необходимость перемен, остро, до боли и крика ощущаемую молодыми, в обществе либо ничего не менялось, либо чем больше менялось, тем больше все оставалось по-прежнему. И тогда в отчаянии и самым отчаянным из них приходила в голову шальная мысль: любая иная борьба бесполезна, эту систему можно только взорвать. Героине фильма «Забриски-Пойнт» не случайно привиделась взлетевшая на воздух вилла, подробная, с многократными повторами — чтобы добить наверняка и чтобы насладиться этой гибелью всласть — картина взорванного бездушного мира.

Дети жестокого века и самой деловой страны начали делать бомбы.

Объяснение — не оправдание. Но только ли они бомбисты?

В разгар антивоенных волнений, охвативших студенческие «кампусы» Америки, Арт Бухвальд задал сардонический вопрос: «Не пора ли бомбить университеты?» События почти догнали фантазию фельетониста, как показали выстрелы в Кенте.

Бомбить собственные университеты? Это — метафора. Но разбомбить три далекие страны ради имперских или монополистических интересов или для того, чтобы настоять на своей трактовке понятия «цивилизация», представлялось вполне возможным и даже необходимым. Ура-патриоты призывали «вбомбить Вьетнам в каменный век» — в ранг государственной политики была вознесена вполне людоедская логика. Варварскими мерами Вьетнам не сломили, хотя он и сейчас залечивает те раны, а Камбоджу вбомбили в короткий, но страшный век полпотовщины — кровавейшего мракобесия, азиатского гитлеризма.

Джейн Альперт пишет, в каком шоке они были, когда узнали о том, что от их взрыва пострадали люди. Миллион погибших жителей Индокитая никогда не смущал совесть официальной Америки.

В чикагском музее науки и промышленности военные как-то организовали выставку. Для детей устроили диораму — типичный вьетнамский пейзаж с типичной крестьянской хижиной, а перед диорамой установили пулемет — копия настоящего, из

которого можно было пострелять по открывающемуся виду. Когда пули «попадали в цель», в хижину например,— на экране технически совершенной диорамы загорались веселенькие огоньки. К чести чикагской молодежи — в ответ на эту попытку анестезии совести прошла бурная демонстрация протеста, и диораму прикрыли.

«Мы считали, что наши взрывы должны сокрушать собственность, а не людей»,— пишет Джейн Альперт. Как это разительно отличается — перенесемся в 80-е годы — от странного ликования «отцов» нейтронной бомбы, которые публично бахвалятся тем, что их детище де убивает «только» людей, оставляя в целости и сохранности собственность.

Да и можно ли сравнивать семь рецептов по Эбби Хоффману и пентагоновский каталог ценою в два триллиона долларов на ближайшее пятилетие, за которым стоит гигантская промышленность и фантастическая машинерия смерти? Подпольную алхимию юнцов, вознамерившихся своими хлопушками изменить погоду в стране, и чудовища типа ракет «МХ», бомбардировщиков «Б-1» или подводных лодок «Трайдент»?!

Среднему американцу внушали: «Вам угрожают бомбисты. Вам уютно сидеть на бомбе?»

Вьетнамская война, к счастью, позади. Но сегодня в окне маячат новые «Вьетнамы» и сгущается совсем иная — глобальная, вселенская угроза. И перед лицом этой опасности, кажется, вновь молодеет Америка. Как молодела она в 60-е годы сначала в походах против расизма, а затем в маршах против вьетнамской войны.

Верующие или неверующие доказывают, что они верят — в жизнь и в мир, когда пикетируют атомные центры и требуют «замораживания».

Молодые или старые доказывают, что они молодые. Как это делают неистовые братья Берриганы. Они снова воюют против войны, как и двадцать лет назад. И вместе с ними новые люди, которым всего по двадцать и о которых нам еще предстоит услышать.

Возвращаясь к исповеди бывшей бомбистки: не тем, кто обрекает мир на жизнь под Бомбой, обвинять кого бы то ни было в бомбизме.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОЙ ДОЧЕРИ

...На задержание двух подозрительных особ, одна из которых оказалась Патрицией Херст, а другая — ее компаньонкой по подполью Венди Йошимурой, первым шёл агент ФБР Том Пэдден, инспектор сан-францисской полиции Тимоти Кейзи следовал за ним. На второй этаж дома № 625 по улице Морзе они поднялись черной лестницей. На звонок выглянула Венди Йошимура. «ФБР и полиция. Ни с места!» — скомандовал Пэдден, направив на девушку дуло пистолета. Кейзи бросился за второй женской фигурой, шарахнувшейся было в дальнюю комнату. «Стой! Кругом!» — скомандовал он. Девушка обернулась, и Кейзи узнал лицо так долго разыскиваемой Патриции Херст. Вот тогда-то полицейский инспектор и произнес историческую фразу: «Разве ты не рада, что все уже позади?». Фраза не вязалась ни с грозными командами арестующих, ни с жалким видом арестованных, зато на газетных страницах она эффектно венчала громкую историю.

Все началось в ночь на 4 февраля 1974 года, когда трое вооруженных ворвались в квартиру, где Патриция жила со своим женихом Стефеном Уилдом. Без долгих дискуссий налетчики огрели жениха по голове бутылкой, затем, схватив лежащую Патрицию — как она была — в одном халате, сунули ее в багажник автомобиля и были таковы. Завязка походила на обычное похищение ради выкупа. Но уже в первом действии драма приобрела привкус крупномасштабного робингудства. Выкуп потребовали, но необычный. Семейство Херстов должно было закупить продуктов на два миллиона долларов и раздать их нуждающимся. Почерк и подпись принадлежали САО — «Сводной армии освобождения», как называла себя крошечная группа боевиков, объявившая войну обществу. Продукты на два миллиона были куплены и с грехом пополам розданы, но Патриция домой не вернулась.

Следующая весть появилась от нее лишь девять недель спустя — в виде звукового письма. Весть была непонятной и жуткой. Сдержанным холодным тоном записанный на магнитофонную пленку голос Патриции Херст объявил, что она вступила в ряды САО. «Я решила остаться и сражаться»,— сообщил голос. Голос настаивал на том, что она не подвергалась «промыванию мозгов, воздействию наркотиками, пыткам, гипнозу и вообще никаким методам внушения» со стороны похитителей. Пленку сопровождал любительский снимок, который мгновенно стал знаменитым. Патриция была сфотографирована на фо-

не плаката САО (эмблема: кобра) в подчеркнуто воинственной позе, с автоматом в руках.

И это, как скоро выяснилось, были еще цветочки. Две недели спустя пятеро с автоматами — черный мужчина и четыре белые женщины,— не таясь, демонстративно, вошли в помещение одного из сан-францисских банков. «Мы из САО,— объявили они.— С нами Таня Херст». Забрав банковскую наличность — 10 тысяч 960 долларов — и для острастки пальнув на прощание, налетчики удалились. Киноглаз автоматической камеры запечатлел сцену ограбления от начала до конца. Сомнений больше не оставалось. Патриция Херст была действительно «с ними».

В очередном послании миру голос ее сообщит, что она отреклась от дома (родителей и жениха голос назовет «клоунами», «лжецами» и «фашистскими свиньями»), отказалась от собственного имени. Взамен она возьмет имя боливийской «герильеро» — городской партизанки — Таня.

ФБР объявило розыск Патриции Херст уже как преступницы.

Час от часу не легче. В следующем эпизоде на долю миллионерской дочки выпала еще более громкая роль. Эмилия и Уильям Харрис (им суждено будет остаться последними членами САО, их арестуют за час до ареста Патриции Херст и Венди Йошимуры) чуть было не попались по-глупому. Они зашли в спортивный магазин, купили тапочки и кое-что из мелочей, как вдруг продавцу показалось, что Уильям Харрис стянул носки, стоимостью в 49 центов. Заспорили. Экспансивный продавец поспешил защелкнуть кольцо наручников на одной руке Уильяма. И тогда Патриция Херст, остававшаяся на улице в машине, пальнула из винтовки по витрине. Это уже походило на прикрытие огнем. Харрисы смогли организованно отступить и даже забрали с собой по дороге заложника. Выпустили его только через несколько часов, когда тройка, наконец, освободилась от злополучных наручников и возможного преследования.

ФБР выследило «партизанское» логово в дебрях черных кварталов Сан-Франциско. 17 мая 1974 года САО даст свой последний бой. 410 агентов и полицейских будут брошены на осаду дома. Несколько часов будет длиться перестрелка, которая завершится пожаром. Когда оружейный огонь стихнет, а пламя собьют, в обгоревших развалинах будут обнаружены шесть трупов — «Сводная армия освобождения» почти в полном составе. Но Патриции Херст и Харрисов среди них не будет.

Потом будет бег и облава — подпольный «поезд» с неизве-

стыми пересадками, тайная дорога с перекладными и всеамериканский розыск. След благородной беглянки будут искать от Аляски до Пенсильвании и Теннесси. Свидетели будут божиться, что видели ее в Гонконге, на Кубе, в Мехико, в Алжире. Патриция Херст начнет превращаться в легенду. А обнаружат ее в оживленном районе Сан-Франциско, неподалеку от того места, откуда ее похитили — через 594 дня после того, как это случилось.

Такова фабула. Время задавать вопросы. И первый из них: а зачем, собственно, Патриция Херст «городским партизанам»?

Но прежде — кто они такие, эти американские «герильерос»? Они назвали себя армией, хотя не составляли и взвода, отделения даже. Каждого из них привела своя жизненная тропа. И все же стоит выделить две разные, но типичные судьбы.

30-летний Дональд Д. Дифриз — он же «фельдмаршал Пять», как он себя именовал,— выходец из черного гетто. Прошел жестокую школу унижения и обездоленности. Успел познакомиться с тюрьмой.

Уильям Харрис — сын обеспеченных белых родителей, скромный серьезный юноша. В детстве он, как рассказывают, не ввязывался даже в мальчишеские переделки. Зато в зрелые годы стал проявлять интерес к социальным проблемам. Вьетнам, восемь месяцев службы в морской пехоте превратили академический интерес в главную заботу жизни. Вместе со своей женой Эмилией, бывшей первой ученицей, а к моменту душевного переворота учительницей, они бросили свои интеллигентные профессии и интеллигентские занятия, переехали в радикальный Окленд и, зарабатывая на хлеб — он шофером такси, она машинисткой,— с головой погрузились в подпольную деятельность.

Гетто. Вьетнам... Вот и замелькали в этой «детективной» истории вехи социальных проблем. Ну хорошо, черная голь и боль естественно порождает отчаянных сорвиголов. Но чего ради отпрыски сытого «среднего класса» подаются в радикалы? Что они там потеряли?

Они потеряли не там. Там они ищут то, чего начисто были лишены в своей обеспеченной, разлинованной жизни. Отчий дом в пригороде еще не отчизна, не вся отчизна. Рано или поздно это остро ощущают многие из них. Приличный счет в банке — этот становой хребет «среднего класса» — дает определенную независимость от тягот быта. Но молодым нужна не рента, а своя доля участия, чувство вовлеченности в общественные дела, возможность сострадать, переживать, бороться.

«Ну что им еще надо, у них ведь и так все было?» Как часто слышим мы этот вопрос, полный искреннего недоумения. Верно. Только не с той меркой нужно подходить к молодым. «Все» — это вещи. Вещи у них действительно были. Может быть, и поэтому в частности, хотя, конечно, не только поэтому, им нужны были не вещи, а что-то другое, чего материальным аршином не измеришь. Социолог из Калифорнийского университета Беннет Бергер, давая свое объяснение пугающему феномену, когда у приличных родителей рождаются дети-террористы, обронил фразу неуклюжую, но в своей неуклюжести вдвойне характерную. «Мы знаем,— сказал он,— что в нашем обществе ощущается нехватка вещей, в которые можно верить». Он должен был выразиться по-иному. «Нехватка идеалов». Но в обществе, помешанном на вещах, духовные категории не котируются. И социолог, профессионально подкованный по части разного рода абстракций, роется в закромах своей памяти, отыскивая вышедшее из употребления слово и, не заметив пропажи, передает искомый смысл тем, что более распространено в обществе потребления. Идеал, оказывается, это «вещь, в которую можно верить».

Еще одно, быть может и неожиданное, свидетельство: «Сегодняшние молодые люди родились после Депрессии (Великий кризис 30-х годов) и под ядерной тенью. В век изобилия и потенциального Армагеддона, их меньше волнует материальное благополучие и больше основные человеческие ценности. Они чувствуют, что остается все меньше и меньше времени для решения великих проблем — войны, расовой несправедливости, нищеты...»

Кто это сказал? Джон Д. Рокфеллер III.

Молодость — пора естественного идеализма, Америка не отменила этого правила. Нехватка идеалов мстит за себя еще сильнее, чем нехватка вещей. И отпрыски «среднего класса» бегут от материальной обеспеченности, к которой так стремились их родители, в бедность, богатую страданиями и борьбой. От расписанного по часам и годам существования — в жизнь, полную неожиданностей. Только редко кто из беглецов достигает цели. Ибо цели они не знают.

Оттолкнуться от одного берега — еще не все. Нужно знать, к какому берегу хочешь пристать. Беглецов от своего класса чаще ведет не убеждение, а инстинкт, логика отвержения, а она так же диктаторски слепа, как и логика полного приятия. Решительно шагнув в «антимир», молодой бунтарь еще не освобождается от цепкой власти своего прошлого. Он невольно повторяет его, только со знаком минус. Утопия видится ему как

абсолютная противоположность всему привычному. Общество прогнило — долой общество! Полиция — «свиньи». Семейные узы — обуза. Запретов более не существует, условности отменяются. Отныне все, что нельзя,— можно. Да здравствует вооруженный бунт!

И тут их настигает месть системы. Вырвавшись из-под власти вещей, юный бунтарь оказывается под властью слов. Ибо что делает ультралевый радикализм, если не противопоставляет миру вещей мир слов? Революционную фразу, обеспеченную смутным идеалом, без реальной программы борьбы.

Бунт без программы чреват поражением. Вооруженный бунт — «в лучшем случае» эффектной гибелью.

Чего добились волонтеры «Сводной армии освобождения»? Убили чиновника. «Сорвали» банк, ранив при этом ни за что ни про что двух прохожих. Раз накормили желающих за счет Херстов. Не густо даже в практическом отношении, не говоря уже о морали. Общественные устои, которые они грозили потрясти, не шелохнулись. Зато кровь пролилась. Ради чего?

Поражение брело по пятам «герильерос» с самой первой их сходки. Но в тот момент, когда САО выбрала своей целью Патрицию Херст, они расписались в собственном фиаско. Деньги деньгами, но, выкрав девицу из высокородного гнезда и силой, соблазном ли вынудив ее остаться, они сделали ставку не на борьбу, как бы туманно они ни представляли себе ее смысл, а на рекламу. Средства вытеснили цель... И они получили свою порцию рекламы сполна, об их существовании узнала вся страна, только в этот момент их «революция» была уже мертва. В следующий момент они были мертвы сами.

Зачем Патриция Херст «Сводной армии» — понятно. Но зачем САО Патриции Херст?

Газеты смаковали хронику ее воспитания. В школе ей захотелось автомобиль — ей подарили автомобиль. Ежемесячной суммы в 300 долларов на карманные расходы стало не хватать — родители подарили ко дню рождения чек на 8 тысяч. В 16 лет ей стало не хватать уже жениха. И она получила его в лице собственного школьного учителя. И вскоре вообще поселилась с ним в Беркли. В революцию по методу САО ее умыкнули из жениховской постели.

Список деяний и дарений был красноречив: вот, мол, к чему приводит модное либеральное воспитание и вседозволенность. Родители, конечно, потакали любым капризам. Но вседозволенность проявляли не столько родители, сколько общество в целом. Внучка газетного короля Уильяма Рэндольфа Херста I, дочь газетного магната Рэндольфа Херста II, сестра будущего

газетного босса Уильяма Рэндольфа Херста III, наследница титулов и миллионов, родилась уже с убеждением, что ей можно все. До той поры жизнь ни разу не дала ей шанса убедиться в обратном.

Конечно, в САО она не сама сбежала и подробности ее подпольной жизни толком не известны. Но думается, в конечном счете для Патриции Херст это была игра — увлекательная, волнующая, потрафляющая тщеславию, игра в настоящую войну и подполье.

Вседозволенность по отношению к юной именитости проявлялась не столько в том, что ей единственной из всей частной школы разрешали приезжать на уроки в собственном авто. В полной мере она проявлялась в удивительной легкости, с какой уже после «всего», оказавшись причастной к грабежам, убийству и похищениям, осуществлявшимся под «революционными» лозунгами, Патриция надумала вернуться в прежнюю свою жизнь. Как ни в чем ни бывало.

Между сутью и видимостью, характером и ролью устанавливаются порой самые странные отношения. Вот и в этой истории главным героем должен был стать Дональд Дифриз или любой из Харрисов, на авансцене же оказалась Патриция Херст. И это тоже по-своему закономерно.

Десятилетия, в течение которых Голливуд воспитывает американское общество, не прошли даром. В классическом голливудском фильме главная ставка делается не на содержание или хотя бы сюжет, а на «кинозвезду» — считается, что зритель идет именно «на кинозвезду». Кассовый успех зависит от того, насколько громкое у нее имя.

Какая бы сложная социальная роль ни принадлежала «фельдмаршалу Пять» и его «солдатам», суперзвездой была Патриция Херст. В этом не сомневался никто — ни сама она, ни публика, ни похитители. Ее и выкрадывали уже как примадонну.

Публика историю Патриции Херст воспринимала не как драму даже, а как т е л е д р а м у. От первого до последнего акта она транслировалась по телевидению. И это обстоятельство оказалось во многих отношениях решающим.

...«Щекотатель нервов». Как вам нравится такое определение? Или еще лучше: «мороз-по-коже-продиратель». Я пытаюсь перевести на русский язык американское слово и понятие «thriller» (от глагола «to thrill» — волновать). Так называют фильм, призванный пощекотать нервы зрителей.

Не менее, а то и более популярны у телезрителей так называемые семейные драмы. Они демократичны и жизнеподоб-

ны и тянутся из вечера в вечер. Зритель свыкается с героями, как с членами семьи. Он помнит их родословную — от прадедов до внуков.

История с похищением Патриции Херст оказалась слеплена по сводным рецептам двух самых популярных жанров. Она длилась месяцы и годы подряд — рекордное время. И в ней было все, что только может придумать изощренная фантазия сценариста: насилие и запах денег, скандал в благородном семействе и «революционные» эскапады, свободная любовь и полицейское преследование, горе родителей, царские жесты «герильерос», растерянность ФБР. А посреди всего юная наследница миллионов, неожиданно превращающаяся из жертвы в преступницу и объект охоты. И самое главное — все наяву. Все живьем, конец не написан, зритель знает это наверняка, каждая глава пишется прямо сейчас, у него на глазах. Бунт САО — этот «акт революционного отчаяния» — превратился в многоактное телепредставление. Подумать только, длившаяся несколько часов осада дома, в результате которой с партизанами было покончено, демонстрировалась на всю страну прямой передачей в цвете и звуке. Финал «революции» можно было наблюдать у себя дома, не снимая тапочек. Но, по законам телебоевика, зрителя интересовала не «революция» и не те, кто отчаянно отстреливался и обречен был погибнуть, а совсем другое — «там» или «не там» Патриция Херст? Одно сознание того, что родители Патриции в этот самый момент впились в экран, терзаемые страхом, что их дочь, возможно, в этом пекле, прибавляла зрелищу особую остроту...

Теледрама диктовала свои законы не только зрителям, но и участникам. В конечном счете «герильерос» загнало не ФБР, а ТВ. Сказать так — будет не очень большим преувеличением. Не расставь телеоператоры свои «пушки», как агенты ФБР свои пулеметы, даже исход мог быть другой. Однако на глазах у всей страны окруженные сдаться не могли. Шоу так шоу. Им оставалось только показательно, геройски погибнуть, хотя в действительности их смерть никого не интересовала. Как, впрочем, и жизнь.

Рассказ об «экстравагантной одиссее Патриции Херст» журнал «Ньюсуик» сопроводил «Списком действующих лиц», в котором дал краткие характеристики всем участникам драмы. Как в театре.

...Финальные сцены теледрамы преследования, пожалуй, даже разочаровали зрителей. В доме у Патриции Херст и Венди Йошимуры, как и у Харрисов, обнаружили вполне приличный склад оружия и амуниции, но сопротивления при аресте ни

одна, ни другая пара не оказали. Правда, при регистрации в тюрьме Сан-Матео на вопрос: «Род занятий?» Патриция Херст ответила: «Городская партизанка», вдохнув в публику надежду на то, что продолжение следует. Но даже родители не приняли за чистую монету эту дерзость, как не принимали и раньше ругательства в свой адрес, доносившиеся в звуковых письмах из подполья. Папа высказался на сей счет недвусмысленно: «Мы имели ее в течение двадцати лет, а они (САО) имели ее пятьдесят дней. Я не верю, что она может так быстро изменить свою философию». «Мы имели ее» — как формула родительских чувств. В переводе с языка собственников сказанное, видно, должно было означать: «Мы духовно влияли на нее».

Рэндольф Херст II не ошибся. После совета с адвокатами Патриция сняла дерзкую строчку, заменив на стандартную: «Без особых занятий». Адвокаты также подготовили заявление в форме ее показаний, которое она подписала. Смысл его сводился к тому, что все ее недавние действия объясняются запугиванием, угрозами и насилием со стороны САО. С легкостью, с какой меняют туалеты, она примерила себе новую точку зрения и уже больше ее с себя не снимала. Как теперь выяснилось, тихая Пати только и мечтала, что о миге, когда она сможет вернуться в отчий дом — к родителям, которых еще недавно называла «фашистскими свиньями», к сестрам и любимой кошке.

«Неужели нельзя было провести этот процесс в Коровьем дворце?» Ехидный вопрос задал один из читателей журнала «Тайм». Коровий дворец — огромный зал, размерами действительно больше похожий на загон, в котором республиканцы устроили как-то свой партийный съезд, избрав кандидатом в президенты Голдуотера... И в самом деле, все девять с небольшим недель, что длился суд над Патрицией Херст, у здания федерального суда в Сан-Франциско тянулся хвост порою в несколько сот человек. Люди с разных концов страны брали отпуска и приезжали сюда, чтобы своими глазами увидеть... А что, собственно, увидеть?

Момента вынесения приговора здесь же на месте ждали 400 журналистов, в том числе представители многочисленных зарубежных агентств и изданий. Близилась кульминация после того, как два года подряд американская масс-медиа вещала, показывала и писала о Патриции практически ежедневно...

Научная фантастика нынче в моде. Давайте и мы дерзнем на фантастическое допущение. Что, если неким инопланетянам пришлось бы судить о землянах по американской прессе за эти

два года? Боюсь, что неизвестные наши братья по разуму пришли бы к неутешительным выводам относительно уровня земной цивилизации, а то и вообще засомневались: да братья ли мы им? Боюсь, что исследуемая цивилизация показалась бы им несколько мелкотравчатой, коль скоро за столь продолжительный срок в публичном зеркале ее не нашлось более значительной темы, чем превращения и приключения вздорной девицы.

А теперь более серьезно. История Патриции Херст — абсолютный рекордсмен прессы и телеэкрана. Ни одно событие за этот срок — будь то внешнеполитическое и внутриполитическое — не собрало такого обильного урожая заголовков и строк, как это. Шла предвыборная кампания. Страну колотила лихорадка межпартийной борьбы. Но весть о приговоре Патриции Херст оттеснила сводки с политических фронтов с первой полосы на места поскромнее.

В те самые дни исполнилось восемь лет трагедии южновьетнамской деревни Сонгми. В летописи борьбы вьетнамского народа мученическое имя это занимает особое место. Но и для американцев оно стало предупреждением о пропасти, в которую увлекли страну военщина и шовинизм. В номере «Нью-Йорк таймс», я подсчитал, трагедии Сонгми была посвящена заметка в 247 слов, считая предлоги и артикли — по полслова на каждую загубленную американской солдатней душу. Тема Патриции Херст занимала полосу — ровно в двадцать раз больше места. Какие диспропорции в духовном мире американца должна символизировать эта математика...

Да полноте, каждому же ясно, что несоизмеримы, несопрягаемы такие действительно волнующие американцев, такие затрагивающие их души, разум или хотя бы кошелек темы, как выборы, цены, положение на рынке труда, отношения с заграницей, и вольные или невольные похождения блудной миллионерской дочки. Но нет, оказывается, если опять же судить по американской печати, похождения эти занимали американцев больше — ровно в двадцать, десять или сколько там раз.

Избежим, однако, соблазна делать буквальные выводы. Шокирующая эта цифирь, конечно, весьма красноречиво говорит об обществе, об американской цивилизации, по отношению к которой мы тоже в некотором роде инопланетяне. Но важно правильно разобрать смысл того, что она доносит до нас сквозь помехи иного сознания.

Mass media. Медиа... Это западное словцо всплывает в сознании прежде всего. Нет его в нашем языке. Но что же удив-

ляться, если чужая цивилизация посылает сигналы о себе на своем языке. Не совпадают однако не только слова, но и сами понятия. Попробуем поэтому прибегнуть к описательному переводу.

Пропаганда? И да и нет, как в смысле, так и в методах есть свои черты отличия. Чаще всего идет словосочетание «средства массовой информации». Структурно все верно, ибо «медиа» — это сводная армия телевидения, радио и прессы. К тому же оружие «медии» — информация. Но что-то важное, может быть, самое важное пропадает. Некая магия. Ибо «медиа» — уже магия. Корень у слова «медиа» тот же, что и у слова «медиум». Посредник между миром «духов» и людьми в действительности занимается внушением, передачей мысли, чувств, настроений. Примем подсказку. «Медиа» — это средства массового внушения с помощью информации. Пожалуй, так.

«Медиа» в потребительском обществе — сила поистине демоническая. Она не просвещает, не информирует в первую очередь, хотя имеет дело именно с информацией, но увлекает, развлекает, отвлекает, а то и оболванивает в конечном счете. Средством является все та же информация. Парадокс? Увы, нет. Конечно, неудобный факт можно попытаться замолчать, но это ненадежно, примитивно и подозрительно, гораздо убедительней утопить его в море более удобных фактов. Секрет воздействия факта в подаче, в пропорциях — «медиа» давно усвоила и освоила эту истину. Если годовщина Сонгми получает в двадцать раз меньше места, чем приговор Патриции Херст, ясны становятся и цели и средства «медии». В принципе нет нужды даже лгать, хотя культивируемое невежество публики и злая воля «медиумов» порождают ложь, просто неудобное событие можно низвести до уровня малозначащего факта, а самый мелкий, но выгодный факт возвести в степень исторического события. Без тени сомнения суд над Патрицией Херст был объявлен массовой американской «медией» «процессом века». Никак не меньше.

Но как достигается подобное единодушие в обществе лоскутных, противоречащих друг другу интересов? Хозяева ведь у разных средств информации разные. Есть, однако, некий общий знаменатель. В потребительском обществе все является товаром, все имеет свою коммерческую цену. Информация тоже товар, как и любой другой. Помимо своей истинной ценности как информации (то есть знания о событии), она обладает еще и потребительской ценностью.

О книге здесь говорят — «бестселлер». В переводе это озна-

чает «лучше всего раскупаемая книга». Списки «бестселлеров» регулярно публикуются. Прекрасный роман может оказаться в одном списке с вульгарной поделкой. Художественная ценность книги отступает на второй план, уступая первый раскупаемости. Отражается ли это на книгоиздании и литературе? Статью на близкую тему журнал «Ньюсуик» начал так: «Джудит Экснер, Спиро Агню, Норман Мейлер... Все они имеют нечто общее — одного и того же литературного агента». Поясним список. Джудит Экснер — бывшая куртизанка, некогда связанная с мафией самыми близкими, какие только могут быть у женщины ее положения, узами. Книгу она собиралась писать о своих отношениях с президентом Кеннеди. Ни одной страницы еще не было написано, а контракт на триста тысяч долларов уже лежал у нее в кармане. Литературные куртизанки всегда стоили довольно дорого. Но куртизанка в литературе?! Спиро Агню — бывший вице-президент США, попавшийся на модной болезни — взятках и с позором прогнанный с поста. В качестве отхожего промысла занялся беллетристикой. А что — слава есть, хоть и дурная! Норман Мейлер — хороший писатель... Такая компания. Так в список будущих «бестселлеров» закладываются с равным успехом альковная, если не просто порнографическая, история, графоманское сочинение экс-политика и приличный роман. «Нет практически ничего такого, что (данный литературный агент) не поставил бы на рынок, если это сулит прибыль»,— заключает автор статьи в журнале «Ньюсуик».

«Этот факт (историю, версию) не продашь...» — говорят американцы о чем-то неубедительном. «Не продашь», конечно, идиома, устойчивое выражение. Но и устойчивость эта говорит о чем-то. Применительно к нашему разговору: факты подразделяются на такие, которые продаются и которые не продаются. Есть факты, которые продаются хорошо или не шибко. В соответствии с этим коммерческим ценником история Патриции Херст шла по самому высшему разряду.

«Медиа» всеядна и ненасытна. Два десятка нью-йоркских телевизионных каналов передают практически круглые сутки. И вся эта прорва притягивает к себе зрителей ежедневно, ежевечерне, еженощно — иначе бы ее просто не существовало, и всю эту прорву надо кормить сюжетами и подробностями. И поэтому с такой жадностью Молох ТВ набрасывается на драматические события, которые подбрасывает жизнь.

Может быть, вы помните реальные истории про сумасшедшего бомбиста, терроризировавшего Нью-Йорк взрывами. Или про техасского маньяка, что залез на крышу и начал методично расстреливать людей, метавшихся по площади внизу. Эти и другие

трагические происшествия экранизированы подробно и буквально, словно сама жизнь подрабатывает на телевидении сюжетами. Это не реализм в том высоком смысле слова, к которому мы привыкли, а правдоподобие, призванное компенсировать бескрылость фантазии. Прицел в общем точный. Все, как в жизни,— если не что-то иное, то хотя бы это притянет людей к экрану на очередные полтора часа.

Еще до вынесения приговора Патриции Херст на газетных страницах замелькала реклама фильма «Пати». Что было уже, пожалуй, излишним, вроде масла масляного. История Патриции Херст — реальная, а не выдуманная — сама по себе оказалась идеальной находкой для «медии».

Если вся история похищения, превращения и погони за Патрицией Херст разворачивалась как телевизионная драма, что уже говорить о процессе! Семейство наняло лучшего адвоката, которого только можно было нанять за деньги,— Ф. Ли Бейли, известного тем, что он добивался оправдания самых безнадежных обвиняемых — в их числе волею судьбы оказался и позорно знаменитый капитан Медина, командовавший расправой над Сонгми. Вот и снова сошлись несопоставимые эти имена и события... Бейли превратил защиту в некое гипнотическое действо. Не имея фактов для оправдания своей подопечной, он всю ставку сделал на психологию, выдвинув тезис о «промывании мозгов», которому, дескать, подвергли похитители свою жертву. Все ее действия, включая соучастие в ограблении банка, за которое единственно и судили Патрицию, он объяснял внушенным ей чувством страха и безнадежности. Обвинение представляло документы, фотографии, пленки с записью голоса Патриции... Защита предпочитала бить на эмоции публики, прессы и присяжных.

И вот, наконец, вердикт вынесен:

«В вооруженном ограблении банка — виновна».

«В использовании огнестрельного оружия в преступных целях — виновна».

Оправданию, немедленной закулисной сделке с правосудием помешала слишком громкая слава, которую усилиями все той же «медии» приобрело «дело Патриции Херст». Парадокс — внучка создателя газетной империи стала жертвой ее сегодняшних наследников. Дух сенсационной желтой прессы вышел из-под контроля и, как полагается всякому монстру, набросился на тех, кто его породил.

Впрочем, стоит ли драматизировать? Защита, ведомая златоустом Бейли, проиграла — первый бой. Но проиграло ли злато?

Тут же наняли другую команду адвокатов. Могли ли проиграть херстовские деньги?

По двум пунктам обвинения, которые были выдвинуты против Патриции Херст, она могла получить в общей сложности 35 лет тюрьмы. Четыре года спустя она уже была на свободе. Амнистию ей даровал лично Джимми Картер. Президент, у которого так и не нашлось времени вспомнить о Бене Чейвисе — священнике, идеалисте и борце за справедливость, нашел, наконец, жертву, достойную высочайшей заботы. При этом он, как всегда, говорил что-то красноречивое о «правах человека». И как ни странно, был даже прав. Человек, обладающий миллионами, обладает в Америке воистину неотъемлемыми правами.

ПРОЗА ЖИЗНИ

Не спи, не спи, художник,
Не предавайся сну,
Ты — вечности заложник
У времени в плену!

Борис Пастернак

ПРОИСШЕСТВИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОЛГОФЫ

— О черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо.

Поразительно, как Курт Воннегут умеет найти такой ракурс, что примелькавшееся, привычное вдруг поворачивается к глазу совсем иной гранью, выворачивается наизнанку — а в этой изнанке самая суть.

— О черт, они же собираются линчевать совсем не того, кого надо.— Очень по-американски сказано про Христово распятие.

Одна фраза. Нет, целый роман в одну фразу, сочиненный Куртом Воннегутом на пару с его героем Килгором Траутом, автором научно-фантастических романов, состоящих из одних названий, вернее, из одних идей. И выступая в роли скромного толкователя литературной воли своего героя, Воннегут к этой фразе-роману лишь чуть-чуть добавляет: «А эта мысль рождала следующую: значит е с т ь те, кого н а д о линчевать...»

Самый популярный за всю историю человечества сюжет обнаруживает под пером Воннегута бездну неиспользованных возможностей и новые повороты. А значит, перед нами раскроются новые грани бесконечного опыта.

«В другом романе Килгора Траута... рассказывалось, как один человек изобрел машину времени, чтобы вернуться в прошлое и увидеть Христа. Машина сработала, и человек увидел Христа, когда Христу было всего двенадцать лет. Христос учился у Иосифа плотничному делу.

Два римских воина пришли в мастерскую и принесли пергамент с чертежом приспособления, которое они просили сколотить к восходу солнца. Это был крест, на котором они собирались казнить возмутителя черни.

Христос и Иосиф сделали такой крест. Они были рады получить работу.

И возмутителя черни распяли».

«Такие дела»,— ставит грустную точку Курт Воннегут.

К Воннегуту мы еще вернемся, а сейчас в начале этой неболь-

шой экскурсии по Америке американских писателей очная встреча — да простится нехитрый каламбур — с другим писателем.

НА РИНГЕ ЖИЗНИ, ИЛИ ПАРАДОКС НОРМАНА МЕЙЛЕРА

При нашем первом свидании с Норманом Мейлером он был в трусах и боксерских перчатках. Плотная коренастая фигура, совсем неплохо для его возраста — в том, 1971 году ему было 48 — и образа жизни, не свободного от излишеств. Прозвучал гонг и, наклонив голову, словно упрямый седой ежик был его главным оружием, Мейлер полез в атаку на противника, бывшего чемпиона мира в полулегком весе среди профессионалов Торреса. Тот парировал удары, стараясь впрочем не подать виду, что особого труда это не составляет. Так или иначе, раунд прошел вполне прилично, а победы не присуждалось — приз был в чем-то ином.

Но я, кажется, забыл сказать, что свидание с Норманом Мейлером было несколько односторонним. Я его видел, а он меня нет. Я сидел у телевизора в нью-йоркском корпункте «Комсомольской правды». На экране шло шоу, кажется, Дика Кэветта — забавная окрошка из политики и эстрады, и раунд Мейлер против Торреса был вставным номером этого шоу, его изюминкой. Потом, как полагается, спарринг-партнеры немного посудачили с ведущим о том о сем, и в ходе разговора как бы сама собой возникла перед зрителем новенькая книга, написанная одним из участников трехминутного поединка — нет, не Мейлером, а Торресом, так что книга эта получила отличную порцию рекламы, да и не она одна. Не все в Америке читают книги, но шоу смотрят, пожалуй, все.

Второе свидание было уже вполне натуральным, без телемагии. Мы с коллегой брали интервью у Нормана Мейлера по ряду актуальных вопросов. Во Вьетнаме бушевала война — эхо ее раскололо Америку. На внутреннем американском фронте громыхали расовые баталии: «черные пантеры» показали зубы и по всей стране шла зверская их травля, полицейский отстрел. Буквально за несколько дней до нашей встречи пролилась кровь Аттики... В президентском кресле, казалось, незыблемо сидел Ричард Никсон, «трюкач Дик», как его частенько называли в прессе, действительно противоречивая, но по-своему цельная и бесспорно типичная фигура — слепок и олицетворение самой американской политики с ее философской нестесненностью в средствах и фундаментальной подменой истины праг-

матическими соображениями выгоды, способными оправдать любую цель и любой извив.

Сейчас все это утекло, испарилось, растворилось в круговороте событий, в вечной смене вех, этой возможно единственной постоянной американской черте, и потому нет нужды приводить пространные выдержки. Во всех этих событиях Норман Мейлер занимал позиции, за которые не стыдно было ни тогда, ни сейчас, спустя десятилетие. Он был одним из голосов левой радикальной Америки в те годы национальной драмы и испытания совести. Его книги полны злобы дня. Его порывистую фигуру седого бунтаря можно было увидеть на всех митингах, на партийных съездах, в любых потасовках. В борьбу и политику он погружался самозабвенно — вплоть до готовности пожертвовать собой как писателем. Так по крайней мере он сказал нам в тот день. Он даже выдвинул свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка.

Впрочем, проблема Нью-Йорка — особая тема.

Эта главная американская витрина давно уже демонстрирует отнюдь не только роскошь и рост. Мегалополис вышел из-под контроля. Величайший магнит, историческая точка притяжения для миллионов иммигрантов, он породил в себе силу отталкивания: все, кто могут себе это позволить, бегут из него — от шума и гама, от смога и грязи, от насилия, наркотиков и других напастей. От всех обличий человеческой беды. Делать дела, работать, развлекаться в Нью-Йорке можно, но жить? Нет уж, лучше за городом. Так рассуждает «средний класс», не говоря уже о высшем. Вместе с собой они увозят и свои налоги, отчего муниципальная касса тощает. В итоге мэрия постоянно балансирует на грани объявления о банкротстве. Богатейший город беднеет. Вдобавок он чернеет — на место уехавших белых приходят черные и испаноговорящие — гетто наступает на центр, и все новые и новые кварталы приходят в запустение. Просто диву даешься, как это может сочетаться. Поразительной смелости и роскоши модерновая архитектура административных зданий, просто чудо света, формы и материи — все эти новые цитадели бизнеса и финансов. И тут же рядом, порою буквально рядом, как на южной оконечности Манхэттена, разлагающиеся, часто обожженные пожаром руины. Все, что упало в цене и не приносит дохода — жилье ли, бывшие магазины или отели, от которых отвернулся спрос, просто бросается и гниет. Такого, как в Нью-Йорке, нет ни в одном городе мира, здесь же это никого не удивляет...

(«...Билли проезжал по еще более безотрадным местам. Тут все напоминало то ли Дрезден после бомбежки, то ли поверх-

ность Луны». Помните описание Воннегута? Это про кварталы типа Южного Бронкса.)

Следом за обеспеченными слоями в пригороды бежит торговля, обслуживание, промышленность. Число рабочих мест в самом городе сокращается, растет безработица, нужда, а это в свою очередь выводит на новые витки преступность и прочие беды.

Словно в перенасыщенном растворе, в гигантском городе выпадают кристаллы социальных проблем.

Выдвинув свою кандидатуру в мэры Нью-Йорка, Норман Мейлер по-донкихотски бросил перчатку общественному левиафану. Ее даже не подняли...

— Но как бы вам удалось сочетать эти обязанности с литературной работой?— я попытался задать вопрос в утешение.

Вот тогда-то и прозвучал этот ответ:

— Я бы бросил литературу.

Судя по отчужденности, с какой это было сказано, он и сам верил в то, что говорил.

— Но, может быть, избиратели просто не хотели лишаться любимого писателя?

Шутки Норман Мейлер тоже не принял. Он до сих пор уязвлен поражением, это чувствовалось.

Политической карьеры он не сделал, но вовлеченность в политику, увлеченность драмами наяву, звездами кино, спорта, определили его литературную карьеру. Его «Нагие и мертвые» в свое время называли лучшим американским романом о второй мировой войне, но сегодня своеобразие его места в литературе определяет не только романистика, но и очень личностная журналистика — беллетризованные репортажи, документальные хроники с лирическим «я», вернее, «он» (репортер не только пишет, он сам часть события и потому как бы отстраняется от самого себя), маленькие романы свидетельства и участия, главы самой жизни.

Писатель-борец, это естественно и понятно. Но писатель-боксер? Я не удержался и спросил, зачем он участвовал в том шоу.

— Торрес доказал, что боксер может написать книгу. Вполне профессионально. А я должен был доказать, что писатель тоже может боксировать не хуже профессионала.

Ответ прозвучал так пугающе серьезно, что мне и в голову не пришло усомниться в масштабности задачи.

Мы сидели у писателя дома, в его подчеркнуто элегантной квартире. Интерьер был выдержан в морском ключе, драпировками служили рыбацкие сети. Время от времени золотой рыб-

кой из них выплывала молодая женщина с удивительно красивыми глазами, хозяйка дома и последний трофей хозяина. Квартира небольшая, но огромное во всю стену окно с видом на Гудзон и пролив действительно делало ее как бы частью вечно волнующейся стихии. А там за могучей рекой открывалась фантастическая линия манхэттенского горизонта — горная гряда Даун-тауна, порождение гордыни, нечто воздвигнутое человеческим разумом и руками, но с той причудливой хаотической свободой, с какой растет лес, даже и каменный лес. Потрясающая точка обзора.

— Ужасно,— вдруг раздался голос хозяина.— Посмотрите, как это ужасно. Кубы, параллелограммы... бездушная и бесчеловечная логика квадратов. Это та же прямолинейная логика американского империализма — дай ему волю, он весь мир расчертит на квадраты. В этой панораме, если присмотреться, уже зашифрован Вьетнам...

К счастью, мне не нужно было соглашаться или спорить, только постараться понять. Того, что видел Норман Мейлер, я не видел и не мог увидеть. Для этого нужно быть американцем, притом обладать именно таким опытом и мировоззрением. Слова, однако, проявляли внутреннее, а не внешнее, прояснился не вид — взгляды.

Потом я часто вспоминал эту фразу и даже вывел для себя некий «парадокс Мейлера». В самом деле, первое, на что он глядит, пробудившись, и последнее, с чем прощается, отходя ко сну, это — та самая панорама, и ее он клянет с утра до ночи. Это его выбор и его сети. Да, неприятие сегодняшней американской действительности — искреннее, страстное, но и приятие. Отторжение пополам с притяжением. Свобода и путы, ненависть как изнанка любви — все это есть в мироощущении Нормана Мейлера. Всеамериканскую ярмарку тщеславия он со смехом обличает, и он неравнодушен к ее гомону.

ГОР ВИДАЛ КАК «РАЗГРЕБАТЕЛЬ ГРЯЗИ»

И еще одного писателя спасла для литературы апатия избирателей, их неготовность поверить в деловые способности слова. Гор Видал выдвигал свою кандидатуру на выборах в палату представителей конгресса США и даже неплохо провел кампанию, но все же уступил сопернику-республиканцу. Разочарование стало сильнейшим импульсом в его творчестве. Многих из тех, кто его не понял и не принял в свой круг, уже давно нет в живых — старших братьев Кеннеди, например,— а он все сводит счеты с политиками и политикой. Для литературы это, впро-

чем, довольно плодотворные счеты. «Вашингтон, округ Колумбия», «Бэрр», «1876». Про свою трилогию он вслед за Мейлером мог бы сказать так: «роман как история, история как роман», Начав с описания современных политических нравов, он совершил сальто на 200 лет назад во времена американской революции и войны за независимость, а оттуда новый бросок — на этот раз на сотню лет вперед. Погружение в «святая святых» — биографии «отцов-основателей» республики — понадобилось для единственной цели: показать, что ничего святого в американской политике не просто нет, но и никогда не было. Сама история призвана в свидетели — вплоть до истоков. Приговор неутешительный: все политики одним миром мазаны, вся 200-летняя история США — это растянутый во времени «Уотергейт», сплошной водоворот борьбы за власть, интриг, некомпетентности и своекорыстия, и посему «трюкач Дик» — не случайный побег на американском генеалогическом древе, но законный наследник «великих имен», сложившихся институтов и традиций.

Итак, политика, эта самая великая всеамериканская игра, как бы ни претендовали па роль национального спорта № 1 американский футбол или профессиональный бокс.

Каждый високосный год разыгрывается избирательная кампания — марафонское представление с «забегами» кандидатов в ходе «праймериз» (первичных выборов), с хорошо отрежиссированными спектаклями — партийными съездами, с поставленными и отрепетированными до последнего слова и жеста теледебатами претендентов на Белый дом... Все это было бы забавно, когда бы самым серьезным и часто непредсказуемым образом не влияло на жизнь и реальную политику. Вместо заботы о деле — телеозабоченность, грим и сотворение образа мастерами рекламы. Вместо борьбы идей или хотя бы конкуренции подходов к проблемам — соревнование в демагогии и жонглирование деньгами и властью. Вместо трезвости и разума — заискивание перед группами давления, апелляция к инстинктам толпы, спекуляция на предрассудках массового сознания, неразборчивая ловля голосов, которая сама по себе становится задачей и мерилом политической мудрости. И все это длится больше года, создавая совершенно особый, какой-то сюрреалистический климат внутри страны и пагубно влияя на климат мировой.

Политический шоу-бизнес, однако, не так легкомыслен, как может показаться. Он умело направляет недовольство и протест миллионов людей — рядовых избирателей — в русло симпатий или антипатий к личностям кандидатов. Демократическим иллюзионом он прикрывает истинную роль элиты и манипуляцию властью. Он порождает видимость выбора и пере-

мен. Разочарование последует неизбежно, но острота его как бы снимается надеждами года выборов, а когда оно созреет вновь, на дворе уже будет новый високосный год, наступит новый тур обольстительного действа с новыми (или подновленными) персонажами, трюками и миражами. Так действует perpetuum mobile американской демократии.

У американской литературы политические сюжеты в чести. И в самом деле раздолье для живописания нравов, социального анализа.

В русле этой традиции трилогия Гора Видала была безусловно заметным явлением. Блестящая, остроумная, она вызвала немало споров. Насколько реалистично выписаны исторические фигуры, не окарикатурено ли прошлое в угоду настоящему? Однозначно не ответить. Сами по себе шокирующие подробности правдивы либо правдоподобны. В подтверждение можно сослаться на респектабельного хроникера многих избирательных кампаний в США Теодора Уайта. (Это он застолбил в политической журналистике формулу «Как делается президент»). Исследователь достаточно серьезный, чтобы обладать чувством юмора, Уайт подает классическую ремарку. Грязные трюки, пишет он, распространение лжи и слухов корнями своими уходят еще в практику Древнего Рима. (Что там «отцы-основатели» или 200-летняя история США!) Раскопки Помпеи дали тому монументальное доказательство. Извержение Везувия, оказывается, застигло город в разгар другого вулканического события — местной избирательной кампании. Под грудой пепла на стенах домов археологи обнаружили лозунги: «Голосуйте за Ваттиуса! Все владельцы публичных девок голосуют за него...», «Голосуйте за Ваттиуса! Все пьяницы и бандиты голосуют за него...», «Голосуйте за Ваттиуса! Все мужья, бьющие своих жен, голосуют за него...» Что и говорить, не лучшая надгробная надпись для города, но такова политика, ее вечная суета.

Вряд ли стоит удивляться, что зрелище раздевания американских исторических фигур получилось у Гора Видала не шибко привлекательное. И все же претензии к писателю не лишены основания. Что может быть менее плодотворного, чем циклевка исторических паркетов и лакировка фигур! Но и низвержение с пьедесталов еще не означает установления истины и справедливости. Реализм предполагает понимание историчности времени, диалектики намерений и последствий поступков, субъективного и объективного.

— Знаете, что сближает американскую и французскую революции?

Мы ходили по Дому Морриса на Гарлемских холмах в Нью-Йорке. Исторический этот дом описан в романе «Бэрр». Как и его хозяйка — одаренная и предприимчивая куртизанка Элиза Боуэн, на чьем боевом счету немало громких побед, уже в преклонных годах свою жизненную карьеру она увенчала замужеством с бывшим вице-президентом США Аароном Бэрром. Под крышей этого дома одно время размещалась резиденция президента Вашингтона, отсюда он не слишком удачно руководил обороной Нью-Йорка от англичан.

— ...Вернее не что, а кто сближает?— повторил гид, таинственно улыбаясь и явно нажимая на слово «сближает».— Хозяйка этого дома... (Мы как раз поравнялись с ее портретом.) Она — единственная женщина, которая была близка сразу с двумя самыми великими людьми своей эпохи — Наполеоном Бонапартом и Джорджем Вашингтоном.

На самом деле пути Наполеона и шустрой дамы могли пересечься, но не пересеклись, когда она оказалась у берегов Франции в 1813 году, что упоминается и у Видала. Так или иначе, как видите, покровы с истории можно срывать и весьма анекдотическим способом.

Нет сомнений, «отцы-основатели» в реальной жизни мало походили на свои хрестоматийные изображения. Автор Декларации независимости, открывающейся прекрасными словами «Мы считаем эти истины самоочевидными: что все люди созданы равными, что они наделены своим Создателем некоторыми неотъемлемыми правами...», был рабовладельцем. Но ведь верно и другое: вирджинский рабовладелец Томас Джефферсон б ы л автором Декларации независимости. И самое главное, что была эта Декларация. И был великий старт у этой страны, вдохновлявший своих современников в разных частях света. Плохо, когда задним числом улучшают историю, но нет надобности и ухудшать ее, переписывать под финал. Такая подгонка под современность, под настроение «постуотергейтской поры» свойственна почерку Гора Видала.

А своих рабов Джефферсон в конце концов отпустил на волю. Подобно тому, как Лев Толстой отпустил своих крепостных,— это уже добавляет Курт Воннегут.

«Разгребание грязи» — среди лучших традиций американской журналистики, и оно приносит успех у читателей. Политический роман питается современной журналистикой, драматической хроникой текущих событий. Все это естественно, но я в данном случае о другом. Даже у хорошей моды есть свои издержки. Слишком чуткое слежение за читательским спросом может быть опасно, тем более завороженность идеей успеха, столь свойст-

венная многим, в том числе и хорошим писателям. Потолок возможностей пишущего она не поднимает.

Начиная публицистическую карьеру в филадельфийском «Еженедельном курьере», молодой Бенджамин Франклин, один из серьезнейших людей своей эпохи, обещал «любыми средствами доставить обществу еженедельное удовольствие, сочетающее в себе черты разумного развлечения и поучения для читателей»... Развлекать читателя можно. Увлекать нужно. Это, как говорят американцы, «правило игры». Однако какие цели ставит перед собой писатель в конечном счете: развлечение или познание? Что его волнует на самом деле: урок истины или успех? И в чем он, успех?

«...Неудача для меня выше всего. Пытаться сделать что-то, что невозможно сделать, потому что это слишком трудно, чтобы надеяться на выполнение, и все-таки пытаться, терпеть поражение и пытаться вновь. Вот это для меня успех».

Мне очень нравятся эти фолкнеровские слова. И еще: «Я исходил в своих оценках из такой категории, как прекрасность неудачи, а не успех. Это отвага попытки, которая терпит неудачу. На мой взгляд, все мои работы являются неудачными, они недостаточно хороши, и это служит единственной причиной, заставляющей писать новую книгу».

Американскую жар-птицу звать Успех. Теннесси Уильямс написал о «катастрофе по имени Успех»...

Но не слишком ли строго по отношению к Гору Видалу? Быть может. Универсальных человековедческих или исторических задач он перед собой не ставит, а яд его письма разъедает окалину официальной мифологии, удовлетворяя общественную потребность в освобождении от иллюзий. Скепсис и даже подчеркнутый цинизм Гора Видала — зеркало настроений в Америке 70-х, и в этом смысле его политические исторические романы — очень точная хроника своего времени.

ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ГЛУПОСТИ ПО КУРТУ ВОННЕГУТУ

Свой роман «Завтрак для чемпионов» Курт Воннегут начинает со странной исповеди: оказывается, ему нравится, когда «говорят в непочтительном тоне об американской истории и всяких знаменитых героях». И даже делает еще более обескураживающее признание! «Теперь я зарабатываю на жизнь всякими непочтительными высказываниями обо всем на свете». У него репутация человека, который сочиняет фантасмагории, не упуская при этом возможности эпатировать читателя, или, наобо-

рот, эпатирует читателей, походя развлекая их фантастическими сюжетами. И он спешит подтвердить эту репутацию.

Нет ничего более далекого от истины.

В романах его действительно творится черт знает что. Герои путешествуют во времени как в метро, за углом может встретиться очаровательный инопланетянин и странные порождения человеческого ума вроде «льда-9» грозят убить все живое. Но путешествия во времени старая страсть и даже долг человеческий. Память — это урок и совесть. Фантазия — не обязательно мечта, но и предостережение разума. Тому, кто рассчитывает на будущее, надо возвращаться в прошлое. Тот, кого истинно заботит сегодняшнее, обязан заглядывать в завтра.

И между прочим, инопланетяне давно уже проникли в наш быт. Разве не помогают они газетам повысить свои тиражи в осенние месяцы подписки, а многим из нас коротать часы досуга в умной беседе о натуральности сверхъестественного. (Высказаться более решительно я опасаюсь, чтобы, не дай бог, не сослыть в глазах некоторых моих друзей ретроградом и не оказаться погребенным под обломками летающих тарелок, которыми забросают Фому неверующего.)

Что же касается «льда-9», то я тоже надеюсь, что он пока не выдуман. Очень надеюсь.

Несколько других фантастических сюжетов на выбор.

Ядерная американская боеголовка разносит близлежащий город. Самопроизвольный взрыв в обстановке антисоветского психоза принимают за атаку русских — в итоге...

Норовистый бомбардировщик из атомного патруля выбрасывает за борт собственного пилота и, превратившись в неуправляемый снаряд, устремляется на неведомую цель...

Или еще проще. Третью мировую войну по собственной инициативе объявляет компьютер...

Это не Курт Воннегут и даже не Килгор Траут. Это вообще не выдумка, а хроника реальных событий одной осени. И взбрык бомбардировщика «Б-52»... И взрыв ракеты «Титан-2» в пусковой шахте неподалеку от города Дамаскуса, штат Арканзас. (Ракета эта оснащена водородной боеголовкой, ее отбросило на несколько сот метров. К Н-взрыву это не привело, однако население из близлежащих районов пришлось эвакуировать из-за опасения, что могла произойти утечка радиации...) И компьютер, подключенный к американской системе предупреждения об атомном нападении, уже посылал сигналы о том, что атака началась, и поднимал по тревоге самолеты в воздух... К счастью, до финала дело ни разу не дошло, но что за апокалиптические шутки?! Ведь финал может быть только один — Конец! Каждый

раз объявляли расследование и публиковали успокоительные отчеты о том, что виновата-де некая техническая промашка. (В случае с компьютером это была деталька стоимостью в несколько центов, вышедшая из строя. В случае с «Титаном-2» — гаечный ключ, который уронил в шахту разиня из команды обслуживания; ключ пробил топливный бак, что привело к самовозгоранию...) Будто смерть по ошибке более приемлема, чем по стратегическому замыслу, и все так и рвутся отдать жизнь ни за грош. А может, это ищет самовыражения инстинктивная бизнесменская логика: продать войну за несколько центов — чем не сделка?

За пять лет в США произошло 125 инцидентов с ракетами «Титан-2». Были убитые и раненые, в том числе и среди гражданского населения... Это статистика из американской прессы.

За тринадцать лет в США произошло по крайней мере 955 «утечек» со складов химического оружия, вызвавших «определенные симптомы отравления»... Это признание американских военных источников.

Жуткие факты должны будить тревогу, бить в набат. Но нет. В определенных слоях общественного мнения США, притом самых могущественных, преобладает какой-то странный каннибальский восторг. С восторгом (или с уверенностью в том, что у голосующей публики это вызовет восторг и прилив симпатий к правящему президенту) в самый канун выборов 1980 года министр обороны Браун поспешил обнародовать весть о «крупном техническом успехе, имеющем большое военное значение»,— о разработке «самолета-невидимки», теоретически неуловимого для радаров. (Можно подумать, что потом не изобретут радар для ловли «самолетов-невидимок»...) С упоением конгресс США проголосовал за выделение средств на строительство в штате Арканзас завода по производству «бинарного газа нервно-паралитического действия». (Чем это хуже «льда-9»? Разве что не столь универсально схватывает...) А с каким неподдельным восхищением рекламировалась нейтронная бомба — идеальное оружие, которое убивает т о л ь к о живое, оставляя в живых все мертвое — материальные ценности! Без тени сомнения в неотразимости аргумента.

...В конце войны в фашистском концлагере группе ученых была поставлена задача — вычислить, как, в каком порядке лучше укладывать трупы задушенных газом людей, чтобы расход бензина при их сожжении был минимальным. Вокруг Германии сжималось кольцо возмездия, и потому... дефицитный бензин нужно было экономить. Опытным путем нацистские ученые нашли искомую формулу. У женщин, детей, стариков, муж-

чин — разная жировая фактура тела. А жир тоже топливо, в том числе и человечий... В пылающем уже «тысячелетнем рейхе» всерьез разрабатывали и неукоснительно соблюдали оптимальную комбинацию человечьего костра.

Подобная ассоциация может показаться слишком резкой, но, видимо, сам Воннегут и его «Бойня номер пять» навели на нее. В рамках поставленной задачи ученые действовали в высшей степени рационально. Правда, задача была чудовищна, а обстоятельства безумны, но на это они дисциплинированно закрывали глаза.

Логика внутри безумия. Логика как составная часть, деталь, эффективно действующий механизм безумия... Подобный конфликт рацио разных ступеней — отнюдь не прошлое.

В приступе необъяснимого бахвальства Картер мог заявить (пресс-конференция в Вашингтоне 18 октября 1980 года): «Мы представляем собой свободную страну, проникнутую могучим духом новаторства. Почти все новые виды оружия от радиолокаторов до многозарядных ракет, а теперь и крылатых ракет были изобретены в демократических странах, а не в странах с тоталитарными правительствами».

Довольно странная логика. Стоит ли так прямо, словно цыпленка из яйца или яйцо из курицы, выводить оружие из демократии либо демократию из нового оружия?

Треть ученых на Западе работает на военный костер — 400 тысяч человек в этой армии науки.

Каждая из сторон возможного термоядерного конфликта обладает потенциалом, способным многократно уничтожить все живое. Кажется, хватит, пора остановиться и, благословившись, двинуться в обратный путь. Ан нет, в топку гонки вооружений щедро подливается бензин новых астрономических ассигнований.

Помните значки с надписью: «Не троньте войну, которая вас кормит»? Война не только убивает. Кого-то она еще и кормит. Как тут не вспомнить притчу о Христе, который своими руками помогает сколотить крест для распятия возмутителя черни.

«Обстановка в мире выглядит не очень безопасной. И потому перспективы для нашей промышленности весьма хороши». Эти слова безымянного представителя концерна «Дженерал дайнэмикс» привел журнал «Ньюсуик». Военно-промышленный комплекс может быть поразительно откровенным.

Но я, кажется, не сказал, что производит «Дженерал дайнэмикс». Это не секрет. «Трайденты» — подводные лодки, оснащенные ракетами, которыми можно стрелять в любом положении из любой точки Мирового океана по любой цели.

«Лед-9», сковавший Мировой океан,— не такая уж и фантастика. И Курт Воннегут — вовсе не Жюль Верн, ибо и сам Жюль Верн в наше время схватился бы за голову от ужаса, что его предсказания сбылись в куда большей степени, чем он наивно полагал. Воннегут вообще пишет не про технику. Фантастическая техника, способная вознести человека к другим планетам и разнести в клочья эту единственную,— данность нашего времени, и поэтому она присутствует в его романах, но они про другое. Про то, что движет обществом и человеком и куда эти разнонаправленные «что-то» могут нас занести. Они не про науку, а про грех науки. Про мораль, которая подверглась самым тяжелым испытаниям в век концлагерей и Хиросимы и которая стала тем более необходимой, условием спасения цивилизации. Без морали человек всегда был готов превратиться в животное, сегодня он может стать строчкой в Красной книге, пеплом термоядерного костра. Гримируясь под научную фантастику — впрочем, не очень старательно, книги Воннегута про человеческое и социальное. Он пишет «историю человеческой глупости», общественных безумий, диктуемых всеми видами предрассудков и интересов: националистических, корпоративных, групповых. По его мнению, это — «сети, что липкой бессмыслицей опутывают человеческую жизнь», часто выдуманные сети, вроде старого обмана под названием «колыбель для кошки», в котором на самом деле нет ни колыбели, ни кошки. Эти путы он рвет яростно и безжалостно. Свое письмо он даже готов сопровождать примитивными рисунками, чтобы только возвратить человеку простейшие, первичные истины о нем самом.

У Воннегута есть свой эталон — вечный и неизменный, наподобие того идеального метра, что, как мы знаем со школьной скамьи, хранится в Севре близ Парижа. Это человечность и разум. И этот эталон он прикладывает к любым событиям и решениям, которые влияют на судьбы людей. При этом он не хочет слышать никаких соображений «высшего» порядка, всевозможных ссылок на политику, экономику или философию — мы же не растягиваем метр даже при очень уважительных обстоятельствах. Напротив, политику, экономику, философию — все на свете он в конечном счете проверяет этим своим метром.

Любимый прием Воннегута — парадокс. Однако природа дерзких его парадоксов проста — к самым сложным ситуациям он применяет простую человеческую логику. Это логика простодушного Кандида или Гулливера, который остается самим собой и среди лилипутов и среди великанов, лапутян или йеху. Эффект получается убийственный. Нормальная логика мгновенно

высвечивает любую ненормальность, под что бы та ни рядилась, и взрывает фальшь, эгоизм, бесчеловечность.

И еще один миф или, скорее, недоразумение, связанное с этим писателем, пора развеять. Воннегута часто относят к школе «черного юмора». Но давайте вчитаемся в его строки.

«Траут вышел на тротуар Сорок второй улицы. Место было опасное. Да и весь город был опасным — из-за всяких химикалий и неравномерного распределения богатств и так далее...

Люди шли на такой страшный риск, вводя всякие химикалии в свое тело, потому что им хотелось улучшить свою жизнь. Жили они в безобразных условиях, и от этого им приходилось делать всякие безобразия. Ни шиша у них не было, так что улучшить окружающие условия они никак не могли. Вот они и шли на что угодно, стараясь как-то украсить свою внутреннюю жизнь.

Результаты были катастрофические: самоубийства, грабежи, разбой, безумие и так далее. Но на рынок выбрасывались все новые и новые химикалии. В двадцати шагах от того места, где проходил Траут, на пороге порнографической лавчонки лежал без сознания четырнадцатилетний белый мальчик. Он проглотил полпинты нового растворителя для краски, поступившего в продажу только накануне. Кроме того, он проглотил две пилюли, предназначенные для предотвращения выкидышей у рогатого скота от заразной болезни, так называемой «болезни Ранга».

«Две молодые черные проститутки... были веселые, бесстрашные, потому что только полчаса назад съели целый тюбик норвежской мази от геморроя...

Девочки были из деревни. Они родились на юге этой страны, где их предками пользовались как сельскохозяйственными машинами. Но теперь белые фермеры больше не употребляли сельскохозяйственного инвентаря, сделанного из плоти и крови, потому что машины из металла были и надежнее и дешевле и довольствовались еще более простым жильем.

Поэтому черным машинам пришлось сматываться оттуда или умирать с голоду».

Да где же здесь юмор, если понимать под юмором некую веселую условность? Это жестокий бесприкрасный реализм, действительность, освобожденная от иллюзий. И если эта действительность часто черна, вины писателя в том нет.

Я вовсе не хочу этим сказать, что у писателя нет чувства юмора. Еще какое.

Вот, например, «Плясун-дуралей», очередной рассказ Килгора Траута.

«Существо по имени Зог прибыло на летающем блюдце на нашу Землю, чтобы объяснить, как предотвращать войны и ле-

чить рак. Принес он эту информацию с планеты Марго, где язык обитателей состоял из пуканья и отбивания чечетки.

Зог приземлился ночью в штате Коннектикут. И только он вышел на землю, как увидел горящий дом. Он ворвался в дом, попукивая и отбивая чечетку, то есть предупреждая жильцов на свом языке о страшной опасности, грозившей всем. И хозяин дома клюшкой от гольфа вышиб Зогу мозги».

Это действительно очень смешно. Прямо-таки до слез. Автор ведь заранее предупредил, что рассказ будет «о трагической невозможности наладить общение между разными существами».

Письмо Воннегута — попытка улыбаться, когда рот кривит гримаса боли. Это смех стоика. Смех — защитная маска, последняя линия обороны, отчаянная контратака человечности. Смех сквозь слезы все же облегчает. Когда же человек смеется, чтобы не плакать, он посылает сигнал: свой крест надо нести до конца. Какой уж тут «черный юмор» — чистая горечь.

Почерк пишущего — это очень важно. По жанру романы Воннегута — философские памфлеты. В них. образы идей важнее образов людей. Но школа, о которой стоит говорить применительно к Воннегуту,— это школа гуманизма.

Да, он «не стесняется в выражениях» и «говорит откровенно», «называя все своими словами». Да, он выбрасывает через плечо «всю рухлядь и мусор», которые у него накопились, и призывает американцев «освободиться от трухи». Но во имя чего? Во имя «культуры и человечности и гармонии в мыслях». «Жить без культуры я больше не могу»,— неожиданно вырывается у него признание.

И сколько бы он ни утверждал, что «зарабатывает на жизнь всякими непочтительными высказываниями обо всем на свете», кое-что для него свято. Что? «День перемирия» — первый день мира после мировой войны. И еще «Ромео и Джульетта». «И вся музыка»... Он верит, что в сердце каждого человека — «неколебимый луч света», иначе конец света действительно неминуем.

Циник оказался идеалистом.

«Если человек стал писателем — значит, он взял на себя священную обязанность: что есть силы творить красоту, нести свет и утешение людям». Да, это Курт Воннегут. Впрочем, он не был бы самим собой, если бы не высказал то же кредо иначе: «Надо отравлять мозги людей человечностью, отравлять, пока люди молоды».

Видимо, он чего-то добился. Признание пришло с неожиданной стороны. Реакционный журналист Норман Подгорец, один из тех, кого можно назвать голосом (или подголоском) американского военно-промышленного комплекса, выпустил книгу «Су-

ществующая опасность» — своеобразный манифест «неоконсерваторов». Тезисы ее, увы, вполне традиционны для рейгановского правления: «советская угроза» столь страшна, а американская мощь так ничтожна, что катастрофа неминуема... если, конечно, немедленно не бросить все ресурсы нации на гонку вооружений. Но кто довел американского колосса до унижения? Вот тут-то и начинается самое интересное. Оказывается, два человека своими писаниями разложили целое поколение американцев, вселив в них презрение к военной машине и посеяв преступный пацифизм. Это Курт Воннегут и автор «Уловки 22», блистательной антивоенной сатиры, временами заставляющей вспомнить гашековского «Швейка», Джозеф Хеллер. Невольный и тем более прекрасный комплимент писателям и литературе.

НЕ ГОВОРИТ ЛИ ОН ПРИТЧИ, ЭТОТ ДЖОН ЧИВЕР?

Наркоман, гомосексуалист и братоубийца. Таков положительный герой романа Джона Чивера «Фолконер».

Но что такое «Фолконер»?

Falcon — по-английски сокол. Falconer — сокольничий. «Фолконер» с большой буквы и в кавычках — это, если воспользоваться пушкинской записью в «материалах о соколиной охоте» — «светлица для выдерживания птиц». То есть темница. «Фолконер» — американская тюрьма.

Впрочем, стоп! По официальной терминологии тюрем в Америке нет, с некоторых пор они перевелись — в том смысле, что само слово это перевели на благозвучный лад. Саркастичный Чивер вносит свои штрихи в летопись исторической кампании по перелицовке грубой действительности с помощью благонамеренных словес.

«Острог Фолконер, 1871. Реформаторий Фолконер. Федеральное место наказаний Фолконер. Штатная тюрьма Фолконер. Исправительное заведение Фолконер. И наконец, название, которое так и не привилось,— Дом новой зари».

Что ни время — то имя. Смена вывесок на неизменной стене символизировала меру прогресса. Впрочем, не только она. Где-то к концу книги в соседней тюрьме — ее так и называли Стена — вспыхнет бунт, и заключенные, захватив заложников, наведут шороху на весь штат — точь-в-точь как в Аттике в 1971 году. И точь-в-точь как в Аттике, бунт расстреляют, раздавят железной пятой. Зато потом эхом прошлого взрыва (или страхом перед будущим взрывом) на узников Фолконера снизойдет благодать — в виде новой тюремной формы. Чивер опишет

это историческое событие так: «Новая форма была не погребально серого, а, скорее, зеленого цвета. Не цвета зелени,— подумал Фэррегут,— не цвета Троицы или длинных летних месяцев, и все же на какой-то тон, оттенок она отличалась от мертвенной серости живых трупов». И за эту зеленоватую революцию будет заплачено кровью — сарказм автора стреножит лишь его скорбь.

Тема Тюрьмы давно волновала Чивера. Пытаясь постичь мироощущение «заживо погребенных», писатель специально погружался в быт знаменитой нью-йоркской тюрьмы Синг-Синг.

Приметы места (и времени) точны. К кандалам — старорежимное железо и поныне в ходу, подмечает писатель,— примешиваются новейшие веяния в виде психоаналитических анкет, взятых на вооружение администрацией, и инъекций мелкой благотворительности. Расизм похуже, чем на воле. Невидимая и такая очевидная черта оседлости по цвету кожи пролегла и через тюремные решетки — ее блюдут и сверху и снизу как бы добровольно и потому куда строже, чем правила внутреннего распорядка. До белого каления дошла взаимная ненависть тюремщиков и заключенных, в любую секунду она грозит вспышкой ярости, размах и последствия которой непредсказуемы. К ненависти примешивается страх. Ограждая заключенных от мира непроницаемой стеной, охранники пытаются отгородить себя от гнева и отчаяния ее обитателей — они сами словно в осажденной крепости.

Место действия для Чивера и впрямь необычное. Его излюбленная территория — пригороды, эти ухоженные, приглаженные, подстриженные места обитания того, что американские социологи называют «средним классом» и даже делят на подвиды — высший средний класс, низший средний класс и, конечно же, средний средний класс. Это действительно нечто среднее между тружениками и собственниками, служащими и рантье, противоречивая амальгама из люмпен-интеллигенции, недобуржуазии и послепролетариата. Объединенное лишь ненасытным фетишем материального довольства, новое межеумочное сословие, похоже, унаследовало пороки разных классов без их достоинств — меркантилизм, бездуховность, высокомерие — и в силу крайней неустойчивости своего положения приобрело лишь одну черту — страх. И ту приходится скрывать. Во избежание реального краха. Неуправляемые стихии жизни и в самом деле способны испепелить столь дорогое благополучие в одно мгновение и таким множеством разных способов.

Все герои Чивера из этой среды.

В одном из его рассказов появилось название Буллет-парк. Потом оно замелькало на страницах других новелл. Затем вышел роман, так и названный «Буллет-парк». «Пуля-парк» или «Парк пули» — это и есть пригород — городок при большом городе. Он зелен, покоен и тих и весь состоит из уютных особнячков стоимостью в тридцать, пятьдесят, семьдесят и т. д. тысяч долларов с двумя, четырьмя, шестью и т. д. спальнями — в прямой пропорции к доходам. Город-спальня. Работа, дела, бизнес — все это там, в большом городе. Здесь же заслуженный отдых, сон и мечты. Здесь убежище от реальностей жизни. Только жизнь не признает подобной экстерриториальности. Она напоминает о себе смрадом пожарищ с того берега, где теснятся и наступают па реку-границу кварталы гетто, а эхо ночных выстрелов ворвется и в сон. Это тоже пир во время чумы, и он не может продолжаться бесконечно. Очаги болезни разрозненны и до поры скрыты — каждый ведь живет о с о б н я к о м. Однако едва ли не каждый из этих цветущих молодцов — жителей Буллет-парка носит в себе бациллы реальных проблем, борясь с ними в одиночку и пряча от близких и соседей симптомы надвигающейся катастрофы. Просто в один прекрасный день глаз резанет объявление «Продается» на некогда оживленном доме. Или вдруг тихоня сосед — кто бы мог подумать?— пускает себе пулю в лоб, подобно герою из «Буллет-парка», которого автор наделил единственной ремаркой: «Нет, я больше не могу...»

(В пересказе вдовы эпизод крушения выглядит так: «Он красил столовую и бормотал себе что-то под нос. «Нет, я больше не могу...» — говорил он. Я и сейчас, хоть убей, не понимаю, о чем это он. А потом вдруг вышел в сад и застрелился».)

В американской сабурбии — пригородье — проживают десятки миллионов человек. Она разбросана по разным географическим и климатическим зонам, по всей стране, но ее социально-психологические стандарты одинаковы. Буллет-парк — ее фото и марка. И потому он заслуживает того, чтобы познакомиться с ним поближе.

Собственно, роман и начинается с весьма энергичного описания Буллет-парка.

«Вдоль склона Пороховой горы поблескивают фонари, из труб поднимается в небо дымок, а на веревке развевается нежно-малиновый плюшевый чехол для стульчака. Если бы исполненный праведного гнева подросток ухитрился издали, со своего гольфового поля, разглядеть эту розовую тряпку, он не преминул бы назвать ее символом Пороховой горы, ее почетной грамотой, знаменем, за которым в своих остроносых английских туфлях выступает легион духовных банкротов, отбивающих друг

у друга жен, травящих евреев и ведущих ежечасную и бесплодную борьбу с собственным алкоголизмом. «К черту,— бормочет подросток,— к черту их всех! К черту яркие лампы, при которых никто не читает книг, нескончаемую музыку, которую никто не слушает, рояли, на которых никто не умеет играть! К черту их белые домики, заложенные и перезаложенные от подвала до чердака! К черту этих хищников, что скармливают всю океанскую рыбу норке затем лишь, чтобы нацепить мех своим женам на шею! К черту их пустующие полки для книг, на которых покоится один лишь телефонный справочник, переплетенный в розовую парчу! К черту их лицемерие, ханжество, безукоризненное белье, похоть и кредитные карточки! Будь они прокляты за то, что сбросили со счетов безбрежность человеческого духа, выщелочили все краски, запахи, все неистовство жизни! К черту, к черту, к черту!»

Подросток, разумеется, символический, впредь он больше не появится перед нами. И потому приходится догадываться: он, кажется, сбежал из сэлинджеровских рассказов. А может, его умыкнули оттуда или заманили в чиверовскую прозу, польстившись на горячность и прямоту. Похоже, что чувства настолько распирали романиста, что он не мог не излить душу сразу, еще до того, как страница за страницей действие и характеры убедят читателя в его правоте. Цитата из ненаписанного Сэлинджером стала своеобразным эпиграфом к роману.

И дальше Чивер частенько не сможет сдерживаться и будет высказываться начистоту — порой от лица рассказчика, чаще — вкладывая свои речи в уста оказавшегося под рукой персонажа.

«Как ничтожна эта жизнь, ограниченная коврами и креслами, как убого захламленное имуществом сознание, для которого воплощением добра является штампованный ситец, а зла — ребристый репс»,— осеняет вдруг Нэлли Нейлз. Она — добропорядочная жительница Буллет-парка, патриотка его образа жизни, но стоит ей выйти за пределы кокона-дома, как нападает смятение. И вот уже «она не могла отделаться от убеждения, что лишь закрытые двери, обособление, фальшь и слепота способны ее спасти, помочь ей сохранить стройное представление о мире».

Ей вторит муж, которого тоже однажды прорывает. И еще как!

«Мы ужасно любим говорить о свободе и независимости. Если бы тебе понадобилось определить нашу национальную задачу, ты вряд ли обошелся бы без этих слов. Президент постоянно говорит о свободе и независимости, армия и флот только и делают, что защищают свободу и независимость, а по воскре-

сеньям отец Рэнсом благодарит бога за нашу свободу и независимость. Но мы-то с тобой знаем, что черные—те, что живут в своих спичечных коробках вдоль Уэконсета,— не пользуются ни свободой, ни независимостью и не могут выбрать себе по душе ни профессию, ни жилье. Чарли Симпсон — отличный малый, но ведь и он, и Фелпс Марсдэн, и с полюджины других известных богачей Буллет-парка наживаются благодаря сделкам с... военными хунтами. Они больше всех болтают о свободе и независимости, а сами поставляют деньги, оружие и специалистов для того, чтобы подавлять свободу и независимость. Я ненавижу ложь и лицемерие — в самом деле, глядя на наше общество, которое терпит всех этих обманщиков, не мудрено затосковать. А ты думаешь, я располагаю свободой и независимостью в той мере, в какой бы хотел? Да нет. Еда, одежда, личная жизнь и сами мои мысли в значительной степени регламентируются кем-то сверху. Впрочем, подчас я даже радуюсь, когда мне говорят, как я должен поступать. Я не всегда способен решить, что правильно, а что нет...»

А вот врач-психиатр, вызванный к постели неведомо чем занедужившего сына Нейлзов. То ли шарлатан, то ли ясновидец, он изрекает: «В социальной прослойке, к которой вы принадлежите, наблюдается тенденция подменять нравственные и духовные ценности материальными». Больному его советы бесполезны, медицина тут вообще бессильна, но в его словах неожиданно серьезный диагноз общественной болезни.

Нейлз — один из полюсов романа. Второй полюс — Хэммер. По-русски первое имя означает «гвозди». Второе — «молоток». «Почти одного роста, веса и возраста, и оба носили один и тот же номер обуви». Одинаковые антиподы.

Здравомыслящий, доброжелательный, положительный во всех смыслах. Идеальный семьянин, которому и в голову не приходит, что можно изменить жене... Таким, как Нейлз, кажется, на роду написано быть счастливыми. В романе, однако, его ждет крах. Он не может помочь собственному сыну. Он не может его даже понять, из-за этого в припадке ярости он готов убить его — самое дорогое и близкое существо на свете. В итоге полный разлад — с сыном, с самим собой, с миром, от которого спасают лишь добытые из-под полы наркотические пилюльки.

А Хэммер?

Ни дома, ни семьи — лишь суррогаты того и другого и вечная погоня за их миражами. Ни дела — одна туманная склонность к поэтическим переводам. Нервен до патологии и алкоголизма. Перекати-поле во всем. Правда, он тонок, и душу его смущают видения прекрасного, томит тоска по гармонии. Тем

хуже для него и окружающих. Тоска неутолима. Идеал недостижим. Реальность так разорвана и страшна, что Хэммер в отчаянии приходит к идее-фикс — он должен распять этого совершенного Нейлза на кресте, как некогда распяли Христа. Потом безумный его взгляд остановится на сыне Нейлза. Бедный юноша, бывший сэлинджеровский подросток. Родной отец его чуть не убил, враг отца пытается распять его на кресте местной церкви.

Хэммер и Нейлз — дьявол и ангел Буллет-парка. Две его ипостаси и два пути: один ведет в мещанство, другой — в маниакальный бред. И каждый приводит к катастрофе.

Удивительно, как это совпадает с прозрениями другого писателя. В социально историческом очерке «Катилина» Александр Блок писал о «страшной болезни, которая есть лучший показатель дряхлости цивилизации». «Большинство тупеет и звереет, меньшинство — худеет, опустошается, сходит с ума». Это «болезнь вырождения», заключал Блок.

Если вдуматься в это странное единство противоположностей по имени Хэммер и Нейлз — разве лишены они добрых начал? «Я хотел, чтобы жизнь моя была не просто благопристойной, но образцовой». Это говорит не кто иной, как Хэммер. Искренне, истово говорит. «Я хотел быть полезным членом общества, непьющим и гармоничным». О, господи, какое простое и естественное желание! Но нет гармонии в обществе, где живут хэммеры и нейлзы, и простое оказывается безумно сложным, наивное — фантастическим и смехотворным, а естественное вырождается. У дроздов в Буллет-парке и у тех извратились инстинкты. Из-за многочисленных кормушек они перестали понимать, когда на дворе весна, а когда осень, и забыли о законе природы. Что уж тут говорить о людях...

В самом деле, чем они занимаются? Коммивояжеры, маклеры, биржевые агенты, специалисты по рекламе всякого вздора, «дилеры» — посредники по перепродаже подержанных автомобилей и перекупленных домов... Миссионеры-комиссионеры. Призрачные занятия, реальность которых удостоверяют лишь денежные знаки и иные знаки материального довольства. «Общество потребления» создало целую систему кормушек для своего «среднего класса», поставив разного рода спекулятивную деятельность выше производительной и истинно необходимой и позволяя тем, кто ловчей и бойчей, наживаться на дымах отечества. Но оно же превратило этих людей в рабов вещей, в идолопоклонников условностей, бессмысленных традиций, противоестественных ритуалов.

В Буллет-парке законы общества вошли в противоречие

с законами природы. И подавили их. Вот откуда этот горький сарказм у человека, чья фантазия породила Буллет-парк,— у романтика и реалиста, семидесятилетнего писателя-подростка Джона Чивера.

Но что за птица Фэррегут? Редкостный букет пороков и поражений, главный герой «Фолконера» тоже несет на себе крест Буллет-парка — через душевную суму и реальную тюрьму, через испытания духа и тела.

«Ну почему же ты наркоман?»

Сколько боли в этом вопросе сокамерника Фэррегута. Это чиверовская боль и наша с вами скорбь за человека, наделенного от природы ясностью ума и талантами и гибнущего на глазах из-за того, что в определенный час суток его организм не получил пилюли размером с бусинку. Почему?

Но разве мы уже не знаем, отчего стал фактически наркоманом такой положительный Нейлз? Без контрабандной пилюльки он теперь не может сесть в электричку — так разыгрываются нервы. Реальное и надреальное, как это постоянно у Чивера, переплетаются. Поезд — единственная связь между пригородом и городом, между существованием и средствами к существованию, между убежищем от жизни и самой жизнью. Без этой связи — смерть. И эту нитку жизни разрывает страх, с которым, кажется, может совладать только та самая пилюлька.

И разве не звучал с такой удручающей трезвостью пьяный монолог совсем иной натуры, нежели Нейлз,— изломанной интеллигентной возлюбленной Хэммера — о том, что невозможно, если «есть нервы и немного ума», ездить по этим дорогам, не оглушив себя виски или марихуаной. Жестокая, сводящая с ума действительность, от которой надо отключаться...

Начав с простых объяснений падения Фэррегута — юношей война затащила его в гиблые топи джунглей, на тихоокеанские острова, под японские пули и там им для бодрости что-то давали,— Чивер кончает развернутым по всему фронту обвинением обществу. В семье и в школе, в экономике, науке и администрации, в самом воздухе городов и общественной атмосфере разлиты миазмы угрозы, тень унижения и уничтожения.

«Его (Фэррегута) поколение было поколением наркомании. Это была его школа, его институт, флаг, под которым он шел в бой. Объявления о наркомании были в каждой газете, журнале, в голосах радио- и теледикторов... Сливки послефрейдовского поколения были наркоманы».

Здесь нет эстетизации порока. Искусство говорит о социальной беде, достигшей поразительных масштабов, плачет о ней, заклинает от нее. Оно сражается с ней тем, что тащит нас в са-

мые затаенные очаги этой новой чумы. Оно ставит диагноз. Страх за себя и других, за ближних и дальних. Страх перед Бомбой и взрывом населения, перед голодом и городом, перед будущим и настоящим, перед иным цветом кожи и чужими взглядами, перед жестокостью людей и дикостью обстоятельств... Все виды страха держат акции в этом гигантском предприятии под названием Наркомания.

Семейный климат, ответственность и вина семьи — одна из постоянно звучащих струн болящей совести писателя. Дефицит родительской любви, который не восполнить никогда и ничем — вечная рана в душе человека и самый первый ключ к сундуку несчастий. Универсальный идиотизм брака, основанного на непонимании, какофония семейной жизни с ее сором ссор, ритуальной руганью и выматывающей душу холодной войной двух человеческих существ, чреватой атомным взрывом, всемирным потопом и апокалипсисом сегодня...

Чивер — очень человечный писатель. И очень социальный — может быть, именно поэтому. В жестоком обществе семья тем более должна служить прибежищем и защитой, а не разоружать перед ударами судьбы и не наносить удары в спину.

Американские конфликты бесчисленны и накалены. Расовые, социальные, политические бури порознь или разом обрушиваются на человека. Научно-техническая революция штурмует небо — за счет человека. Экономический прогресс спотыкается о критические спады, но и за то и другое платит человек, расплачиваются человеческим. Таков изначальный принцип американского рационализма. Железная логика исторического развития отработала для Америки такую модель, для гуманизма в ней места не предусмотрено. Гуманизм здесь тоже частная инициатива.

Человек — не цель, но средство — это вообще закон капитализма. Ни в одной капиталистической стране, однако, он не осуществляется с такой жестокой откровенностью, как в США.

Может ли это не влиять на психологическое и даже психическое состояние общества?! Сладковатый дымок марихуаны вьется над студенческими «кампусами» и даже над школьными дворами — это уже мало кого удивляет. И никого не убивает дикая статистика: треть американцев нуждается в услугах психиатров. Поистине, «больное общество».

Мог ли Фэррегут не быть наркоманом?

...Фэррегут убил своего брата. Но кого убил Фэррегут?

В пьесе Дэвида Рейба «Как брат брату» молодой здоровый добропорядочный брат — типичное дитя Буллет-парка, если хотите,— своею рукой подает брату, физически и душевно иска-

леченному вьетнамской войной, чашку с ядом. Надоел он — этот несчастный вьетнамский ветеран, всей семье мешает своими трагедиями и потусторонней отрешенностью — туда ему и дорога... Братоубийственные гражданские войны, как видим, неслышно бушуют и под мирными американскими крышами, разделяют и самые благополучные дома.

Лишь в конце романа мы узнаем, что за создание брат Фэррегута. Это гнида, гнилое, смердящее смертью существо. Жену, детей — всех он довел до ручки — до больницы, до могилы, до тюрьмы — своей гнусной садистской правильностью. Каждый раз он ухитряется найти у человека самое незащищенное место и ударить именно туда, пока однажды не получил в ответ от Фэррегута кочергой по голове.

Каин убил Авеля, и это уже не изменить. А если бы Авель убил Каина, может быть, вся человеческая история пошла поиному?

Да нет, конечно, ибо на Авеле, убившем Каина, остался бы след каиновой печати.

И все же, когда в ту предроковую минуту Фэррегут бросает: «Я не хочу быть твоим братом. Не дай бог, если кто-нибудь на улице, кто-то на всем свете скажет, что я похож на тебя. Пусть уж лучше я буду самым последним извращенцем или наркоманом, только чтобы не спутали с тобой...» Когда Фэррегут швыряет ему эти слова в лицо, разве не становится все на свои места?! Фэррегут убил не брата. Он убил убийцу.

В течение всего романа писатель играл с нами в прятки, испытывая на истинность наш гуманизм. Сначала ошеломил непомерной тяжестью пороков и преступлений, которые он, подобно веригам, навесил на своего героя. Потом ошарашил скопищем грязи и мрака — картинами американской тюрьмы и, как сквозь круги ада, провел через них своего героя и нас вместе с ним. Поверим ли мы в то, что и на самом дне человеческого общежития могут быть свет, и любовь, какие бы искореженные формы она ни принимала, и вера, и надежда? Или никто, кроме бесплотного ангела, не может умиротворить наш привередливый нравственный вкус? И когда романист убеждается, что мы поверили, он заставляет своего героя окончательно прозреть, понять, как низко он пал, мобилизовать все силы и всю человечность против деградации. Восстав против тюрьмы в себе, новый Фэррегут преодолевает и стены Фолконера. Как?

Его друг спасается вознесением. Самым натуральным. Переодевшись в сутану, он после рождественской службы — по такому случаю в тюрьму прибыл сам кардинал — садится в его вертолет и возносится к свободе... Вполне приличное чудо, ни-

чего не скажешь. Фэррегуту, однако, Чивер дарует еще более безукоризненный путь на волю. В камере у него на руках умирает старик заключенный — нет, не аббат, но по воле божьей тоже обладатель несметного сокровища — фальшивого брильянта. Тюремщики зашивают труп в саван-мешок и...

Вы догадались, что было дальше? Да, конечно. Вот уже двести лет мы знаем, что было дальше. И знаем, что за остров сокровищ — человек, перед ним бледнеют и клады Монте-Кристо. И что секрет власти над жизненными обстоятельствами прекрасен и прост — нужно быть честным и верным самым светлым идеалам на свете — идеалам юности. Чего бы это ни стоило. И до конца.

Но неужели это Чивер — современный американский реалист, критик нового мещанства и язва Буллет-парка? Он самый. Какой уж тут сэлинджеровский подросток, похоже, автор пытается пробудить в нас иных мальчишек — тех, для кого нет бога выше Дюма и героев желанней д'Артаньяна и графа Монте-Кристо. Да, это именно тот писатель. Ибо самый дотошный, глубокий и критический реализм не мешал ему в глубине души оставаться романтиком и поэтом, каким, в сущности, является каждый настоящий писатель. Нравственные ценности мировой культуры универсальны, а этот писатель любил ассоциации. Так что за беда, если в финале страшного, переполненного натуралистическими подробностями романа о сегодняшней американской Тюрьме, он напомнил о том, что происходило в классической крепости Иф, связав тем самым свою мысль о человеке с традициями старого доброго вечного гуманизма.

«И сказал я: о, Господи Боже! они говорят обо мне: «не говорит ли он притчи?»

В самом деле. Фамилия Фэррегут дальним эхом рифмуется с Фариа — платоническим обладателем несметных сокровищ аббатом Фариа. А может, и имя героя нам что-то скажет о намерениях автора?

«И увидел я, и вот, рука простерта ко мне, и вот, в ней книжный свиток. И он развернул его передо мною, и вот, список исписан был внутри и снаружи, и написано на нем: «плач, и стон, и горе».

И сказал мне: сын человеческий! съешь что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори...»

Библия не нуждается в представлении. Разве что в уточнении. Это Книга пророка Иезекииля. Прежде чем родится способность к пророчеству, должно съесть сполна тяжкий список.

«И было ко мне слово Господне: и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город кровей? выскажи ему все мерзости его.

И скажи: так говорит Господь Бог: о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое, и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя! Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя, и приблизил дни твои, и достиг годины твоей».

Так гласит рассказ пророка Иезекииля. Своему герою Чивер дал библейское имя Иезекииль. Или короче, по-американски,— Зик Фэррегут. По его путям он судит территорию, стольным градом которой стал Буллет-парк.

«И будет для вас Иезекииль знамением...»

Классические мастера, родоначальники культуры обнаружили неисчерпаемость человеческого духа. Великие географические открытия литературы XIX века: человеческое достоинство обретается не только у подножья Олимпов, в италийских дворцах, датских замках или салонах парижской знати. Благородство — не классовая привилегия, среди плебеев крови тоже могут быть аристократы духа. Боль и любовь беспредельны... Многообразный реализм XX века продолжает расширять наши представления о человеке. Фолкнеровских фермеров и горожан терзают шекспировские страсти. «Чудики» Шукшина вызывают улыбку. И слезы. Ибо их мучат в конечном счете те же вечные вопросы жизни. Герои Айтматова и Распутина принадлежат тому же человечеству, что и герои Маркеса или греческих трагедий.

Раздвигать границы человечества и человечности — не в этом ли величие писателя? Горький нашел человека на Дне. Кането Синдо — на Голом острове. Чивер — в американской Тюрьме.

«...Богач, вспомни бедняка; свободный, вспомни узника; воскресший, вспомни мертвеца». Не из этой ли фразы графа Монте-Кристо родился роман?

«Фолконер» развивает идеи предыдущего романа, но в ином направлении.

Хэммер и Нейлз — двуединое порождение Буллет-парка. Фэррегут тоже родом оттуда, но из тюрьмы он в него уже не вернется — в этом и смысл бегства.

Хэммер и Нейлз — жертвы Буллет-парка и орудия его преступления: молоток и гвозди. Они — доказательство и иллюстрация его давящей силы и всесилия. Таков был замысел, он исполнен прекрасно. Но не могут быть люди только жертвами обстоятельств, под любым социальным прессом должен в человеке, если он человек, открыться ресурс человечности — сопротивления и стоицизма.

Автор чувствовал, что в самом замысле есть слабина — невольный налет публицистичности, если хотите,— отсюда прямые

филиппики, которые так легко цитировать, в том числе и в адрес героев. «Но отчего они не кажутся живыми людьми, существующими в трех измерениях, а какими-то плоскими персонажами журнальной карикатуры?» — вопрошает он читателя о чете Нейлзов, и, боюсь, есть в этом сардоническом вопросе и доля неудовлетворения собой.

Да, своими героями он разжег в нас страсть неприятия Буллет-парка, но, кажется, он хотел чего-то большего — чтобы мы обливались над ними слезами. И тогда он написал другой роман, где появился герой, достойный наших слез. Но это уже роман не только о месте унижения человека, но и о самом человеке.

Попытка распятия вылилась в происшествие для местной хроники. «Буллет-парк», однако,— роман о Голгофе. «Фолконер» — роман о воскресении человека, распятого сегодняшней американской цивилизацией.

...В соседней тюрьме, что зовут Стеной, полыхает бунт. И потому радиоприемники изъяты, все контакты прерваны. Но Фэррегут должен знать, что происходит там, за Стеной, он уже не может жить вне связи с миром. И тогда из слухового аппарата товарища по несчастью и каких-то проводков он сочиняет простенькое принимающее устройство. Не хватает лишь кристаллического диода. Брильянт! — осеняет его. Он начинает выпрашивать у соседа его драгоценность. Но как!

«Единственное, почему я продолжаю тебя умолять,— это моя вера в бессчетные богатства человеческой природы,— безошибочно обращается он не к своему сомневающемуся соседу, но к нам.— Мне нужен твой брильянт, чтобы спасти человечество».

Впрочем, ведь и в «Буллет-парке» было нечто похожее. Хэммер не просто сошел с ума. Стуком своего молотка он хотел «разбудить человечество».

Разбудить, спасти человечество — не в этом ли миссия литературы, покуда пребудет она сама и покуда есть человечество!

И снова Курт Воннегут:

«Скажите, сэр, от чего умрет человек, если его лишить радости и утешения, которые дает литература?

— Не от одного, так от другого,— сказал он.— Либо от окаменения сердца, либо от атрофии нервной системы».

МИСТИФИКАЦИЯ И ПРАВДА

В предисловии к роману «Jailbird» Курт Воннегут старательно связывает нитки своей фантазии и жизни. Он рассказывает, кто из близких ему людей — знакомых или даже родст-

венников — послужил прототипом для того или иного героя, какие черты характера он перенес на бумагу в целости и сохранности, а какие изменил. Это очень увлекательно, а главное, убедительно, даже если на поверку оказывается, что автор сравнивает один выдуманный им персонаж с другим выдуманным персонажем. Опять мистификация, столь свойственная стилю этого писателя! Однако у этой мистификации отчетливый посыл: «То, что я пишу,— до последней буквы правда. Ищите сходства с жизнью!».

И вот я ищу. Собственно, мы всегда ищем, когда имеем дело с книгой. Знаем прекрасно, что сказка — ложь, но ищем в ней намек и добрым молодцам урок. Ищем правду про эту жизнь. Но сейчас мой поиск, конечно, у́же. Меня волнуют конкретные экскурсы из романа в действительность. То, как события текущей американской истории переливаются у того или иного писателя в роман (а иногда и в его собственную судьбу или хотя бы факты личной биографии). Как люди, действительно жившие на этом свете, становятся литературными героями. И к каким потерям или обретениям это ведет.

Логика литературных встреч была непроизвольной, но задним числом я вижу в ней тем больший смысл — с каждым новым именем связь между высоким небом литературы и глубинами жизни становится все прозрачней и беспредельней. На линии горизонта одна стихия непосредственно переходит в другую. Вблизи видно, как облако отражается в волнах, а волны, кажется, в облаках. Но чем глубже и выше, тем меньше непосредственных отражений и тем более грандиозна картина вселенского создания.

Норман Мейлер пишет про съезды демократов и республиканцев, где решается, кто будет выдвинут кандидатом в президенты на следующее четырехлетие, про Мохаммеда Али на гребне славы или про Мэрилин Монро, раздавленную жизнью женщину и божество.

Он пишет по горячим следам, спешит, пока публика переживает перипетии борьбы, триумфы или катастрофы своих кумиров. Книги его тут же расходятся, они у всех на устах. Что потом? Потом начинается гамбургский счет. Кумиры сменились, события отшумели. Кого волнует былая интрига? Все развязки, эпилоги и послесловия уже известны, давно закрыта и сдана в архив сама книга событий.

«Осада Чикаго» и «Майами» кончаются тем, что на финишную прямую в избирательной кампании вышли Хэмфри и Никсон. Ну и что? Мы ведь знаем, а то и успели забыть за ненадобностью, что в том далеком уже 68-м году Хэмфри чуть-чуть

отстанет от соперника. Потом по неизлечимой инерции честолюбия он будет продолжать подсчитывать свои шансы на президентство в 72-м и 76-м, пока еще год спустя жестокая болезнь не поставит последней точки в его амбициях и расчетах... А счастливый избранник 68-го года?! Никсон дождется своей величайшей виктории в 72-м и величайшего падения в 74-м. Впрочем, и «Уотергейт» еще не станет финалом, ибо, соразмерившись с обстоятельствами, падший ангел начнет вскоре делать миллионы долларов и даже политический капиталец на своем падении, а с подъемом «неоконсервативной» волны в американской политике ждать если не реванша, то реабилитации... С тех пор на американском политическом небосводе стремительно взойдет звезда Джимми Картера и померкнет в одночасье. Он будет выдавать себя одновременно за простецкого парня с арахисовой фермы, «заново рожденного» баптиста, государственного мудреца, мирового моралиста, милитариста, миротворца и бог знает за кого еще, а на деле окажется обыкновенным провинциальным пронырой, человеком «чего-изволите-только-оставьте-на-второй-срок!». Ему сказочно повезет в политической рулетке, но лишь однажды. А потом после неизбежной отставки вновь небытие, ибо придет черед новых актеров на роли всеведущих и всемогущих администраторов Америки.

Если бы Мейлер писал только события, его прежние книги сегодня были бы интересны одним профессионалам-историкам и журналистам. Но его репортажи — литература (и это урок для журналистского цеха: тот, кто хочет, чтобы написанное им осталось, должен подниматься до литературной высоты). Не сиюминутное «что, где, когда», но более существенное «кто, как и почему» волнует Мейлера. Психология истории, ее человеческий нерв. Конечно же, писать о «звездах» — значит непременно оказаться в центре внимания. Однако в самой этой притягательности есть общественный феномен, который стоит исследования. «Звезды», по Мейлеру, это концентрированные мечты, надежды, вожделения миллионов. Это рекламные знаки времени, американские герои. И это еще люди, для которых шапка может быть тяжела, роль трагична. В «звездах» Мейлер видит образы страны и века.

Нечто схожее, но только с историческими персонажами, делает Гор Видал. Он как бы ведет в своих романах злободневный репортаж о событиях классической истории. Беда не в том, что он не сохраняет при этом академической бесстрастности («История слишком важна, чтобы оставлять ее историкам», как скажет Эдгар Лоуренс Доктороу, автор «Рэгтайма», отличного

романа об Америке начала нашего столетия). Не оставляет ощущение, что в замыслах своих Видал прагматичен. Преобладают техника и рассудок. Его ирония, безусловно, интригует и очаровывает, она даже верна до определенной границы, но подчинять ей всю логику исторического процесса — уже чересчур. Романы Гора Видала, скорее, сочинены, чем выстраданы.

Так или иначе, и Мейлер, и Видал творят свои истории из глины реальных фактов и судеб, оживляя их дыханием собственного темперамента, пристрастий, убеждений.

В прозе Чивера иные отношения с реальностью. В ней нет непосредственных реконструкций, лишь изредка слышны отголоски конкретных событий. Зато быт, нравы, страсти страны и времени переданы ярко, точно и одновременно гротескно, символично. В сознании этого творца на правах реальности жили идеи и образы, прекрасные мифы, рожденные человеческим воображением на протяжении всей цивилизации, в свой многослойный притчевый сказ он вводил их как нечто сущее. И это тоже помогало ему высказаться о человеке и времени, в которое мы живем.

А ведь есть еще и фолкнеровская высота, божественный метод создания собственного мира, равного настоящему, гениальный уровень претворения космоса в эпос. Сколько, однако же, литература знает способов сказать правду об этой жизни...

Но мы, кажется, забыли Воннегута — в тот самый момент, когда его вновь уличили в мистификации.

А что, если мистификация в данном случае — тоже способ выразить истину? Странно? Вовсе нет, в литературе и такое возможно. Безудержный фейерверк Маркеса — феерия правды, в то время как очевидная натуральность часто оборачивается правдоподобием и ложью. В связи с новым латиноамериканским романом заговорили о «магическом реализме», но Литература всегда магия. Великое чудо фантазии, она из веку объясняет мир и сердце человека лучше, чем любой род точного знания.

«Jailbird» начинается с неожиданного эпиграфа. Неожиданность его в документальности. Это отрывок из предсмертного письма Сакко сыну.

«Помогай слабым, тем, кто просит о помощи, помогай преследуемым и жертве — они твои лучшие друзья. Это товарищи, которые сражаются и погибают, как сражались и пали вчера твой отец и Бартоло, за радость свободы для всех бедных рабочих. В этой битве жизни ты узнаешь любовь и будешь любим. Никола Сакко (1891—1927)».

Но многие ли в Америке помнят сегодня о Сакко, рабочем-

мученике, распятом капиталистическим правосудием?! И автор поясняет:

«Из его последнего письма тринадцатилетнему сыну Данте от 18 августа 1927 года за три дня до казни в Чарльстаунской тюрьме в Бостоне, штат Массачусетс. «Бартоло» — Бартоломео Ванцетти (1888—1927), он умер той же ночью на том же электрическом стуле, изобретении дантиста. И точно так же умер еще более забытый человек — Челестино Мадейрос (1894—1927), признавшийся в том, что именно он совершил преступление, за которое были осуждены Сакко и Ванцетти, хотя в момент признания разбиралась апелляция на приговор ему по делу о другом убийстве. Мадейрос был настоящий преступник, но он вел себя самоотверженно в конце».

Впрочем, самые поразительные страницы романа идут еще до эпиграфа. Это сцена расстрела мирной рабочей демонстрации. По времени и месту она вынесена за пределы действия, в пролог истории.

...Трагедия собирается как гроза. Владелец Кайяхогской металлургической компании, талантливый инженер и столь же одаренный предприниматель (вроде реального Генри Форда), не может не давить рабочих, выжимая из них все соки, на ропот голодных у него один ответ: «за ворота!» И это естественно, ибо кем бы он ни был в прошлом или в частной жизни, главное, что он олицетворение и орудие собственного капитала, капитал же должен давать прибыль, максимум прибыли... А рабочие не могут не протестовать, им нужно кормить свои семьи и потом они ведь тоже люди, а не безгласные придатки к машинам... Рано или поздно эти две силы столкнутся, и тогда быть беде. Беда разражается как бы помимо воли тех или иных участников и тем более неотвратимо — с неотвратимостью стихийного бедствия или, скорее, общественного закона.

Кадр за кадром, сцена за сценой восстанавливаются обстоятельства, психология участников — вольных и невольных судей, палачей и жертв. Картина возникает перед глазами столь реальная и знакомая... Кентский университет, май 1970 года, тринадцать студентов, оставшихся лежать на зеленом ковре лужайки после столкновения антивоенной демонстрации с силами порядка (четверо убитых, девять тяжело ранены). Аттика 1971 года, где те же сводные отряды национальных гвардейцев, полиции и охраны штурмовали тюрьму и подавили бунт заключенных ценою нескольких десятков жизней... То же первое ощущение случайности кровавого финала, сквозь которую проглядывает неотвратимость трагедии. Историк американского рабочего движения, впрочем, скорее вспомнит жестокие столк-

новения конца прошлого века — эпохи безжалостного и открытого капиталистического хищничества — вплоть до знаменитой чикагской маевки — первой пролетарской маевки... А индейский отлив самого имени — Кайяхога, «резня при Кайяхоге»,— разве не будит он еще более ранние ассоциации о кровавой купели, в которой рождалась молодая нация...

А краски на глазах густеют, детали вырастают в размерах. Взобравшись на специальпо сколоченный помост, высший полицейский чин зачитывает толпе строки указа: собираться свыше двенадцати — преступление, караемое тюремным заключением от десяти лет до пожизненного. Точно ли так звучал закон в Америке XIX века?! Но автор, кажется, намекает на куда более старый источник — тот, в котором сказано про двенадцать христовых апостолов. А стук молотков, не дававший уснуть виновному в ночь под рождество — день расстрела. С тем же стуком два тысячелетия назад сколачивали крест для возмутителя черни.

В самом романе автор доводит намек до ясности символа, превратив исторический факт в притчу. Последние дни Сакко и Ванцетти он окрестил «современным вариантом Страстей Господних». «Как и на Голгофе,— пишет он,— трое бедняков были казнены государством. На этот раз, однако, не просто один из трех был невиновен. На этот раз невиновны были двое».

Резня при Кайяхоге — собирательный образ, это автор подчеркивает особо. Пролог романа, по замыслу, разрастается до пролога ко всей американской истории.

Это самый необычный роман Курта Воннегута. Начать с того, что он написан в подчеркнуто реалистической манере, как бы на грани двух школ — документальной и натуральной. Правда, ближе к развязке фабула все-таки прибегнет к фантасмагории, но выверт этот встречаешь едва ли не с огорчением. Две-три «байки» от имени Килгора Траута сгоряча кажутся вообще лишними, написанными по инерции для поддержания фирменной марки писателя как фантазера и придумщика.

Необычен герой — то ли неудачник, то ли подлец. «Jailbird» между прочим означает «арестант». Отсидев свой срок, он выходит на первых страницах романа из тюрьмы. В 66 лет предстоит начать новую жизнь и, как водится, подбить бабки в старой. Денег нет, друзей нет, семьи нет. Но что-то ведь есть все-таки, не может быть, чтобы совсем ничего не было. И это что-то находится. 66 лет жизни героя — это шесть десятилетий американской истории с ее пиками и провалами в виде Великого кризиса 1929—1933 годов, участия в антигитлеровской коалиции во второй мировой войне, эпохи маккартизма и «Уотергейта»

Ричарда Никсона. Маленький и явно недостойный человек волею судьбы или авторской волей поставлен в центр больших событий, от которых действительно зависели судьбы страны. И по крайней мере в некоторых из этих событий он сыграл не то чтобы активную, но заметную роль.

В разгар маккартистского шабаша он предал лучшего друга. Друг, правда, женился на его девушке, но может ли это быть оправданием тому, что он натворил? На вопрос известного охотника за ведьмами Ричарда Никсона в соответствующей комиссии конгресса он под присягой заявил, что друг его в свое время был коммунистом. Карьера оклеветанного мгновенно рухнула, да что там карьера, вся его жизнь пошла под откос, два года спустя подающий надежды дипломат переместился из своего блестящего кабинета в тюремную камеру... И тридцать сребреников значатся в зарплатной ведомости героя. Бывший конгрессмен от Калифорнии, сделавший себе имя на антикоммунистических процессах, не забыл лжесвидетеля. Став президентом, он назначил его своим помощником по молодежи. Правда, сребреники не пошли впрок. Когда завертелась Уотергейтская карусель, герой наш тоже оказался за решеткой как самый маленький, быть может, но все же член преступной команды. Поделом ему. Да и «Jailbird» означает не просто «арестант», но буквально — «тюремная птаха».

Очень своевременно это напоминание писателя о временах недавнего прошлого — многие серьезные исследователи считают, что маккартизм в Америке возвращается.

Историческое свидетельство не помешает — чтобы было с чем сравнивать. Несколько выдержек из книги американского публициста Л. Гурко о том печальном времени. Или, как назвала его Лилиан Хеллман,— о «времени негодяев».

«Одним из наиболее пагубных последствий холодной войны является распространение в Соединенных Штатах угрожающего явления, широко известного под названием маккартизм,— пишет публицист.— Это движение, возглавляемое самым беспринципным из всех политических демагогов послевоенного периода — пресловутым сенатором Маккарти, под флагом защиты национальной безопасности развернуло наступление на гражданские свободы, на демократические течения и либеральные традиции и в конце концов приняло форму злобного антиинтеллектуализма. Ловко спекулируя на страхе американцев перед Россией, маккартисты взяли такой курс, который был способен не только установить их контроль над американской внешней политикой, но и окончательно превратить их в цензоров над образом мыслей американцев...»

А вот как это выглядело на практике! «Государственных служащих, даже не имевших явных связей с коммунистами, но когда-либо участвовавших в либеральных движениях, пригвождали к позорному столбу в различных комиссиях по расследованиям и, очернив их репутацию, увольняли с работы. Под подозрение ставились преподаватели колледжей, Организация Объединенных Наций, учебники, даже те произведения фольклора, в которых встречался хотя бы слабый намек на социальные перемены (в штате Индиана легенда о Робин Гуде была названа коммунистической пропагандой, потому что в ней идеализировался человек, грабивший богатых, чтобы помогать бедным)... Неустанная погоня за «подрывными элементами» распространилась на армию, на частные предприятия, на профсоюзы, колледжи и университеты, образовательные, научно-исследовательские, благотворительные учреждения, на увеселительные заведения; наконец, под обстрелом оказалась даже сама конституция».

И в дополнение к фотографии маккартизма — портрет Маккарти-личности: «Пожалуй, самое страшное в нем было то, что он никогда не высказал ни одной мысли ни по одному вопросу, за исключением своей ненависти к коммунистам. Если не считать вопроса о преследовании коммунистов, он не проронил ни одного слова по поводу важнейших современных политических и социальных проблем... Маккарти представлял собой американскую разновидность одного литературного героя — нового неандертальца, из мозга которого все мысли были изъяты и заменены чистой ненавистью. ...Главными жертвами Маккарти неизбежно стали мыслящие люди».

Можно ли, находясь в здравом уме, оправдывать такое? Однако это происходит, что само по себе говорит не столько об умственном состоянии возбудителей «неомаккартизма» (в более широком плане пишут сейчас о «неоконсерватизме» или «новом национализме»), сколько об их взглядах и намерениях, а в конечном счете — об общественной атмосфере, в которой такое возможно.

«...Вне сомнения, коммунисты работали в госдепартаменте во времена маккартизма». Это задним числом оправдательный приговор неандертальцу 50-х годов выписывает современный бронтозавр Норман Подгорец. Впрочем, в его книге «Существующая опасность» — манифесте «неоконсерваторов» — есть еще более красноречивые строки. Он вспоминает классический «эпизод» маккартистской эры, которым собственно и открылась общенациональная «охота за ведьмами», и дает ему следующую характеристику:

«Разоблачив Олджера Хисса в качестве советского агента, конгрессмен Ричард Никсон сделал главный вклад в донесение до страны советской угрозы и, следовательно, в мобилизацию поддержки внешней политики США, направленной на противостояние ей».

Стоит разобрать по косточкам этот безупречный, несмотря на псевдоакадемическую корявость, образчик неандертальской логики.

Олджер Хисс никогда не был советским агентом — это общепризнано в Америке. Однако три десятилетия спустя идеолог правых всерьез и без тени смущения нахваливает полностью фальсифицированный процесс. Его волнуют не факты, а цель, не соответствие идей действительности и, уж конечно, не мораль и право — только возможный эффект. Любой ценой обеспечить проведение антикоммунистической внешней политики — такова была цель, и не беда, что для ее реализации понадобилось сварганить фальшивки...

Призрак «советской угрозы» заклинали в 50-е годы — в итоге была развязана «холодная война», подогреваемая маккартизмом дома. (Сам по себе маккартизм, может быть, и плох, но поскольку он поддал для нее жару, и дыму, и копоти, то уже и хорош.) И тот же шабаш и шаманство нужны и сегодня — тем, кто мечтает об американской империи. В итоге возрождаются псевдопанические крики о «существующей опасности» и реабилитируют за былые преступления.

Джозеф Маккарти «видел коммунистов под каждым кустом... И он был прав».

Это говорит уже Уильям Курс, член могущественной калифорнийской семьи, человек из ближайшего окружения Рональда Рейгана.

И все же вернемся к откровению Подгорецa. Его пассаж — подарок для этих заметок. Ведь ключевой эпизод романа с лжесвидетельством в комиссии Никсона — не просто плод писательской фантазии. Он навеян Воннегуту реальными событиями и прежде всего процессом над Олджером Хиссом.

В отличие от публициста или историка писатель бередит сердце, пробуждает в нас сочувствие или презрение, согласие или протест. В самом деле, это же черт знает что за система, если одного слова предателя, завистника, провокатора или дурака достаточно для того, чтобы человеку нужно было век оправдываться неизвестно в чем, чтобы перечеркнуть все его прошлое, а заодно и будущее.

Вокруг героя после его показаний создалась зона отчуждения — люди, считавшие себя порядочными, не смогли спасти

ошельмованного, это действительно было им не по силам, но не подавать руки виновнику происшедшего, к счастью, смогли многие. А один из них — старый авторитетный богатый либерал — демократ рузвельтовской еще традиции и закваски, чувствовавший себя достаточно уверенно, чтобы не только иметь собственное мнение, но и высказывать его иногда, даже бросил в лицо герою слова, которые и много лет спустя жгут его изнутри.

«...За весь тот урон, который он (Старбук) нанес своей стране, его следовало бы повесить, разорвать на части, привязав к хвостам лошадей, четвертовать...» — вспоминает Старбук. «Я всего лишь сказал правду»,— проблеял я... Меня тошнило от страха и стыда».

«Ты сказал лишь часть правды,— сказал он,— которую сейчас выдают за всю правду! Образованные и наделенные состраданием государственные служащие — почти наверняка русские шпионы! Вот все, что можно услышать ныне от полуграмотных старорежимных мошенников и болтунов, которые вновь рвутся к власти и которые считают, что она по праву должна принадлежать им. Если бы не ваш с Лейландом Клюзом (имя жертвы.— *А. П.*) идиотизм, им никогда бы не удалось связать воедино предательство и сочувствие и мозги... Ты просто еще один простофиля, который, оказавшись там, где не надо, и тогда, когда не надо, ухитрился отбросить гуманизм на целое столетие назад!..»

Очень актуальное высказывание.

И крепко сказано, не возразишь. Но почему, так строго измерив масштаб содеянного и не постеснявшись вынести приговор из кодекса древних восточных тиранов, он называет преступника неожиданно мягким словом «простофиля»?

Так или иначе, постигаешь авторский замысел: преступление не остается без наказания. Рано или поздно старый грех должен быть искуплен и виновный сполна изопьет из чаши страданий, на которую он обрек свою жертву. На волю герой выходит, конечно же, для того, чтобы постичь эту истину. Наверное, он даже встретится с тем, кому принес столько зла. У того давно зажили раны, но это будет подарок судьбы — наглядное торжество справедливости. И прекрасно, что роман написан от первого лица. Показать изнутри, сколь мелка душонка предателя и как бездонно подонство — задача, достойная пера Достоевского.

Герой действительно встречается со своей бывшей жертвой. И тот рад этой встрече. Просто рад без злорадства. Нет, они с женой ничего не забыли. Они очень хорошо помнят все, что

случилось много лет назад. И за это они ему... благодарны! Но почему?

Вместо того чтобы пригвоздить обидчика на месте, жертва дает смехотворный ответ, но тем не менее она его дает, и мы вынуждены к нему прислушаться. «Потому что жизнь — это испытание,— сказал он.— Если бы моя жизнь продолжала идти тем же чередом, я бы оказался на небе, так и не узнав, что существует хоть что-то посложнее пареной репы. И святой Петр сказал бы мне: «А ты ведь вовсе и не жил, мой мальчик. Кто скажет, какой ты на самом деле...» А сейчас у нас с Сарой есть не просто любовь, у нас есть любовь, которая выдержала тяжелейшие испытания».

«Звучит прекрасно»,— эхом откликнулся Старбук. Даже слишком. Прекрасно, когда люди выдерживают испытания, когда их чувства не изменяют им, а принципы не изменяются. Но благодарить за страдания?!

Боюсь, что мы поторопились с расшифровкой авторского замысла. Перед нами совсем иной роман. И фигура главного героя иная. Придется вернуться к ключевому эпизоду.

«Человек, который предал лучшего друга...» Но Лейланд Клюз не был его лучшим другом — просто приятелем, не более того. В принципе это еще ничего не меняет — приятелей тоже не стоит предавать,— однако неточность должна настораживать. Потому что, хотя истина не сводится к собственным частям, даже самая большая правда не может основываться пусть на самой маленькой, но лжи, рано или поздно она взорвется.

Может быть, Старбук мстил приятелю? Нет. Выслуживался перед комиссией в расчете на вознаграждение? Тоже нет. Высочайшей милости не ждал, она пришла негаданно — двадцать лет спустя. Так что же он делал? Он говорил правду! Вернее, он думал, что говорит правду — психологически это одно и то же.

Больше того, он думал, что говорит лестную правду.

Вот его собственное описание содеянного: «Под присягой и в ответ на вопрос конгрессмена Никсона я перечислил несколько человек, о которых было известно, что в годы Великой депрессии они были коммунистами, но оказавшихся выдающимися патриотами во время второй мировой войны. В этот почетный список я включил имя Лейланда Клюза». Он не мог иметь в виду ничего дурного. Состоять в компартии перед войной было «так же естественно, черт побери, для поколения, пережившего Депрессию, как и стоять в очереди за хлебом». Это его слова. И у него есть верное алиби: в те тяжкие годы он сам был коммунистом и не скрывал этого.

Клюзу от этого не легче, но ситуация резко меняется. Старбук не Иуда Искариот. Он не преступник, он простофиля.

Но зачем он пошел тогда служить Никсону? После «Уотергейта» вопрос звучит безупречно. Но так ли он безупречен до? Человек, искренне хотевший послужить своей стране, получает лестное предложение от самого президента. «Неужели я должен был отказаться на том основании, что Америка в ту пору не была такой, какой я хотел бы ее видеть?» — спрашивает герой. Судя по прошлому, ему бы пришлось ждать несколько веков — у его страны молодая история. В других случаях счет пошел бы на тысячелетия. А после злосчастного свидетельства он так долго был без работы...

Хорошо, но почему Никсон пригласил именно его? Ирония судьбы, можно сказать. Или издевка памяти. Или ухмылка циника. «Из жалости», поясняется в романе. Между тем на своем посту он трудился честно: бился над причинами молодежного бунта, мучился, переживал, искал выход. Только его мнения никто не спрашивал, о нем просто забыли. Вспомнили о нем, вернее, о его каморке на задворках лишь тогда, когда нужно было куда-то задвинуть с глаз долой ящик с незаконными деньгами, что, кстати, и реально было при «Уотергейте». Так он оказался соучастником «преступления века». Но почему он не сказал на суде, что не имеет ни к ящику, ни к деньгам, ни к делам этим никакого отношения? Объяснение чудовищное. Он знал, что каждое его слово означает для кого-то тюрьму, а после того, что произошло с Лейландом Клюзом, он не хотел, не мог обречь кого-то на такое. Даже истинно виновного — лучше отправиться самому.

Глупость какая. А он и сам готов признать это. «Я дурак»,— говорит он без тени стеснения. Правда, прежде он признается кое в чем еще.

«Даже сейчас, 66 лет от роду — печальный возраст, — я ловлю себя на том, что готов поклониться каждому, кто все еще считает возможным, что когда-нибудь на Земле будет жить одна большая и счастливая семья — Семья Человека...»

Послушайте, но ведь он признается в идеализме?! Именно так. «Мой идеализм не умер даже в никсоновском Белом доме, не умер даже в тюрьме, не умер, даже когда я стал вице-президентом... в корпорации «РАМДЖАК». Я все еще верю, что что-то можно сделать, чтобы были мир, изобилие и счастье. Я дурак».

Нет, он не простофиля, этот Старбук. Он гораздо хуже. Он действительно идеалист.

Еще немного — и впору объявить его героем? Нет, герой

Воннегута — не герой. Он не пытается своротить горы. Он обыкновенный человек.

Но много ли может человек в нашем мире? Да, считает Воннегут. Вокруг столько опасностей и соблазнов, но он может быть честным, как бы трудно это ни было. Пройти через все испытания и собственные ошибки, выдержать все, снести любую муку — и остаться человеком! Изменить систему? Этого ему не дано. Как не может он, скажем, изменить погоду, отменить грозу или дождь. Капитализм — та же стихия, вполне равнодушная к человеческим надеждам и бедам. Так считает Воннегут.

«Jailbird» интересен именно тем, что в нем крупным планом запечатлены социальные убеждения писателя — их сильные стороны и слабости. По взглядам, по темпераменту, по тяготению пера Воннегут — критик. Разоблачительный пафос всех калибров — таков заряд его творчества. Однако впервые он рассчитался с капитализмом как с социально-экономической системой. Рассчитался сполна.

Резня при Кайяхоге — не исторический казус и не случайный сюжет. Конечно, на эпохе первоначального накопления с ее дикими нравами капитализм не остановился, однако надежды на его стихийное облагораживание беспочвенны. Одну за другой Воннегут разбивает расхожие иллюзии.

«Народный капитализм»? Воннегут рассказывает вполне реальную, возможно, даже документальную историю про «знаменитый эксперимент в области промышленной демократии». Либеральные хозяева небольшой фирмы — моральная антитеза владельцу кайяхогской компании — попытались отнестись к своим рабочим как к партнерам. Фирма прогорела. По Воннегуту, это не частное банкротство, но банкротство самой идеи. Капитал заинтересован в прибыли, а не в морали. Его дело — деньги, а не демократия.

«Каждый может стать миллионером»? Воннегут рисует убийственный образ капиталистического алкоголика — человека, одурманенного азартом наживы до полной потери чувства реального. Он проповедует беспредельность американской свободы... заключенным американской тюрьмы и к тому же сам отбывая срок. Чушь он несет, будто несет слово божье. «В Америке я был дважды миллионером! — приводит он абсолютно неотразимый аргумент, искренне забывая о том, что обе попытки пробиться в высший класс кончались камерой. И живет он лишь единой надеждой — смошенничать в третий раз, что кажется ему верхом возможностей, гарантируемых обществом свободной (до ареста во всяком случае) личности. Созна-

ние это наполняет его чувством странного самодовольства и даже превосходства по отношению к обществу иной формации, где люди лишены этого дара фортуны.

Кстати, если каждый может стать миллионером, то почему бы не стать миллионерами всем? И почему их немного даже в богатейшей Америке — десятая доля процента? Простая мысль...

Самый живучий из капиталистических мифов Воннегут добивает притчей от имени Килгора Траута. Господь лично выступает в рассказе верховным жрецом этого мифа. Любой невинной душе, прибывающей на небеса, ангелы внушают: ты сам виноват, человече, что не использовал на земле свой шанс. Вот, скажем, Альберт Эйнштейн. Его жизнь вполне могла состояться, а сам он стать состоятельным человеком... Если бы в 1905 году, прежде чем объявить миру, что $E=mc^2$, он вложил деньги, вырученные от второй закладной на дом, в урановые рудники, он умер бы миллиардером... Уязвленный исключительно математической стороной дела, ученый разоблачает обман, рассчитанный на простые души. Ангелы плутуют — во всей вселенной не хватит богатства, чтобы обеспечить подобные обещания, доказывает он цифрами.

Это как в лотерее: чтобы один выиграл, тысяча должна проиграть. Но тысяча будет играть в надежде на счастливый билет —психология сильнее статистики. Так что для организаторов это беспроигрышная лотерея.

Но если теорема не имеет решения снизу — каждый не будет наверху, то, может быть, она разрешима сверху? Дарят же меценаты публике прекрасные галереи, организуют благотворительные фонды своего имени... А если представить себе подобный акт снисхождения в гораздо большем масштабе? Некий благородный и бездетный миллиардер возьмет и одарит после смерти общество экономической справедливостью, за неимением наследников откажет ему все свои миллиарды. Богатства вернутся к народу, и каждый будет осчастливлен на равную долю. Не так ли?

Довольно фантастическое предположение. Но на то Воннегут и фантаст, чтобы поражать нас раскованностью воображения.

Я ведь упоминал о фантасмагорическом повороте сюжета в романе. Заключается он вот в чем. На улице к герою пристает грязная старая нищенка. С упавшим сердцем он узнает в ней первую возлюбленную своей молодости. Но главная неожиданность еще впереди: оборванная нищенка — в действительности тайная и единоличная владелица гигантской корпорации

«РАМДЖАК», подмявшей под себя все на свете — в Америке и за ее пределами.

Строго говоря, в этом пока еще никакой фантастики нет. Крупнейшие американские корпорации давно переросли национальные и чисто экономические границы, им принадлежит беспрецедентная власть и влияние на жизнь американского общества и даже на климат международной политики. И то и другое они не стараются афишировать. Нужно ли их владельцам при этом скрываться? Совсем не обязательно. Но после истории Говарда Хьюза, входившего то ли в тройку, то ли в пятерку богатейших людей на Земле, этим никого не удивишь.

Двадцать лет — с 1958 по 1976 год — его не видел никто, кроме нескольких слуг-телохранителей из секты молчаливых мормонов. Никто не знал, где он живет и жив ли вообще. Чтобы доказать, что он существует, ему было предписано предстать перед судом — в ответ ни звука. С доверенными лицами, с собственными управляющими он общался заочно, записками-приказами. В конце жизни он был явно безумен, болен, истощен до крайности — его роспись на чеках ставили за него другие...

Ну и что? Был или не был Хьюз-человек, но Хьюз-предприятие и источник власти явно были. Его аэрокосмический концерн входил в узкий круг «доверенных лиц» и крупнейших поставщиков Пентагона и ЦРУ, что гарантирует самые высокие прибыли на Земле. Шесть миллиардов долларов из государственной казны за десять лет весомее любого суда доказывают, что для правительства США он был. Явно или тайно он мог продать в один прекрасный день авиакомпанию «TWA» и получить на руки чек на полмиллиарда долларов (на 546 549 771 доллар, чтобы быть точным) — крупнейшая единичная сделка в истории бизнеса. В другой — скупить пол-Невады — отели и казино, дороги и аэропорты...

И для множества американских политиков он тоже был, даже если они его в глаза не видели — не удостаивались чести лицезреть. На подкуп политических деятелей он тратил, по разным сведениям, от ста тысяч долларов до миллиона в год. Самое крупное его политическое капиталовложение — Ричард Никсон, которого он подкармливал десятилетиями. Хьюзовские деньги помогли запустить молодого честолюбца на капитолийскую орбиту с одного из калифорнийских округов... Сто тысяч долларов в стодолларовых купюрах, вырученных в лас-вегасских казино, тайно адресованные Хьюзом президенту Никсону, фигурировали в Уотергейтском деле. Зато и потребовать коечего взамен мог таинственный благодетель. Например, такого:

«Отправляйся к нашим новым друзьям в Вашингтоне и посмотри, что можно сделать, чтобы война продолжалась». Это из записки 1969 года по поводу войны во Вьетнаме... Был или не был Хьюз для судов и судачеств, но как деньги и власть Хьюза было видимо-невидимо.

Он должен был умереть, чтобы доказать, что был жив, писали о Хьюзе в 1976 году, когда он все-таки предстал перед публикой — уже в гробу, в виде усохшей до 40 килограммов старческой мумии. Неплохо сказано по поводу действительно странного миллионерского чудачества. Но можно сказать и другое: этому капиталисту нужно было исчезнуть, чтобы самым наглядным образом доказать, что капитализм при этом не исчезает. Хьюз мог пропасть с глаз долой на два десятилетия, впасть в манию или даже в ко́му, но бизнес его шел как обычно. И сейчас концерн, носящий его имя, остается в привилегированном кругу главных поставщиков его всеамериканского величества Пентагона. Смерть капиталиста не отразилась на функции его капитала.

Весь внешний рисунок роли нищенки — подпольной королевы — Воннегут взял из истории Хьюза. Но не внутренний. По убеждениям она... социалистка.

Фантастично? Безусловно. У нас в конце концов есть прототип для сравнения. «Ярый расист, ненавистник «красных»; он покупал генералов и политиков вплоть до хозяев Белого дома, как покупал мужей тех женщин, которых домогался». Это написал о Хьюзе консервативный лондонский еженедельник «Обсервер». Но Воннегут и не пытается нарисовать реалистический образ. У него другая задача. Он ищет ответ на вопрос, который волнует многих на Западе: может ли капитал сам по себе трансформироваться в нечто более демократическое и гуманное? Может ли социалистическая идея реализоваться, оставаясь в капиталистических рамках? Ради ответа Воннегут пускается во все тяжкие. Он ставит литературный эксперимент, экстраполирует идею, проверяет свою социальную гипотезу гигантским гротеском. Он вкладывает бешеные деньги в чистые руки. Героиня при этом не перерождается, по условиям задачи автор оставляет ей страстное, преданное человечеству сердце. Она жаждет вернуть общественное богатство тем, кому оно должно принадлежать по праву —рабочему люду, — вот что руководит всеми ее действиями. Но для этого нужно сначала загрести как можно больше, в идеале все... Оставшийся от покойного мужа капитал она лихорадочно приумножает, захватывая все новые и новые отрасли и предприятия. Когда в конце концов она умирает на руках у нашего героя, «улыбка космического счастья

бродит у нее на устах»: несметная собственность «РАМДЖАК» завещана американскому народу.

Эксперимент поставлен. Что получилось?

При жизни прекраснодушной хозяйки «РАМДЖАК» источал эксплуатацию, конкуренцию, подкупы, грязь. Он даже свергал правительства за рубежом — все как в жизни с супермонополиями. После ее смерти добавились не менее точные штрихи: деньги, отошедшие в казну и не разворованные по дороге, ушли на оплату бюрократического аппарата и «приобретение новейшего оружия, которого так заслуживает наш народ».

«План мирной экономической революции» — формулировка принадлежит герою — блистательно провалился. Почему? Ответ стоит процитировать: «Бизнес, предназначенный исключительно для того, чтобы извлекать прибыль, по большей части так же равнодушен к нуждам народа, как, скажем, гром. Радости и горести людские так же мало влияли на деятельность «РАМДЖАК», как гибель Сакко и Ванцетти на электрическом стуле — на дождь, что шел в ту ночь. Он бы все равно шел»

Капиталистическая экономика — это «бездумная» (наверное, стоило бы добавить: «и бездушная») «система вроде погоды — и ничего больше»,— делает вывод герой.

К этому он приходит в самом себе. А что происходит с ним во внешней жизни? Одно связано с другим — он ведь идеалист, а у идеалистов это неразрывно, они не подбирают взгляды поудобнее, сообразно окружению и обстоятельствам, напротив, убеждения ведут их за собой — порой в огонь или на плаху. Воннегутовского героя его идеалы приводят обратно в тюрьму.

Между прочим, «Jailbird» имеет еще и третье значение: «рецидивист». В своем прощальном слове герой так о себе и говорит: «Я рецидивист». Все воспринимают это как шутку, хотя ему не до шуток. Он вновь без цента в кармане, так же одинок, еще менее молод, а впереди маячит срок. Так что говорит он всерьез. Он рецидивист, потому что раз за разом берется за старое. Он верен себе — вновь и вновь думая о других прежде себя.

Благодаря хозяйке «РАМДЖАК» он приобрел возможность делать добрые дела — по его рекомендации несколько честных людей были назначены вице-президентами необъятной компании, как и сам он (вот такая частная благотворительность вполне по силам меценату). Однако после короткого периода благополучия герой вновь оказался перед выбором. Завещание находилось у него в руках, и он один знал, что хозяйки «РАМДЖАК» уже нет в живых. Но он знал и то, какой ката-

строфой обернется для окружающих объявление ее воли. Пусть уж лучше остается все по-старому, пока возможно. Так он вновь преступил закон.

Собственно, иного выбора у него не было. У человека без принципов всегда множество вариантов, ничто не мешает ему строить любые комбинации. А у идеалиста есть совесть, и сердце, и бог в душе. И он думает об окружающих, а не о том, сколько придется заплатить за честный поступок.

...Но не слышится ли в этой работе Воннегута ближнего эха или дальней рифмы с другим романом — с «Фолконером» Джона Чивера?

В самом деле, вслушаемся в названия. «Тюрьма Сокольничий» — в одном случае, «Тюремная птаха» — в другом. И в том и в другом романе развязка фантастична, на помощь героям приходит спасительное чудо. Правда, один герой в конце концов преодолевает тюремные стены, а другой, напротив, возвращается в каменный мешок. Но так ли велико противоречие? Да и полемика ли в этом нарочито контрастном исходе?

В оценке американской тюрьмы оба писателя схожи. Чивер, видимо, знал ее лучше и пишет о ней больше. Но и Воннегут пишет о ней так: «Каждому, кто попадает в тюрьму впервые, ломают хребет. Потом он срастается, но уже не так, как прежде».

Впрочем, для Чивера тюрьма еще и метафора общества, сгусток его черт и проблем. Подчеркнуто условное бегство героя — знак разрыва с обществом. У Воннегута тюрьма — просто тюрьма. Его герой возвращается в нее только по одной причине: для порядочного человека в этом обществе места нет. Так что приговор обоих писателей одинаков: это общество устроено против человека. И оба болеют за человека, ищут возможности помочь, спасти его. И спасают — каждый по-своему и очень схоже.

Ты можешь все, человек, если найдешь в себе силы захотеть, словно бы говорит Джон Чивер. Его царство — безбрежная область человеческого духа и морали.

Нет, человек, всего ты, конечно, не можешь, как бы говорит более трезвый Воннегут — взгляд его при этом прикован к социально-экономической системе. Общества ты не изменишь. Но при всех обстоятельствах ты должен оставаться человеком. И помогай ближнему!

Оба призывают человека находить силу прежде всего в самом себе, и это не эскапизм, а вера во внутреннюю беспредельность человека, в неисчерпаемость его духа.

При всем своем скептицизме Воннегут не призывает отвер-

нуться от общества и замкнуться во внутреннем дворике собственной тюрьмы. Его герой знает, что общество не переменится в одночасье, но он не расстался с надеждами юности, даже и утопическими. Ему скорбно из-за того, что люди сегодня не помнят, кто были два рабочих-мученика. А ведь когда-то он думал, что «историю Сакко и Ванцетти будут пересказывать так же часто, с той же страстью и столь же неотразимо, как и историю Иисуса Христа». Однако и сейчас он «ловит себя на мысли о том, что история Сакко и Ванцетти еще, быть может, проймет будущие поколения. Только для этого, вероятно, нужно будет еще несколько раз пересказать ее».

Именно это и делает Курт Воннегут — раз за разом, рассказ за рассказом, пытается пробить стену беспамятства, пробудить совесть. Он не растерял веры в неотразимость этического идеала социализма. Он не скептик, он идеалист.

«РАСПЯТЬ БЕЛОГО НЕГРА...»

«СВЕТ В АВГУСТЕ»

...Нет, время не относительно, оно абсолютно. Это расстояния относительны.

«Я пришла из Алабамы: путь далекий. Пешком из самой Алабамы. Путь далекий». Думает, *меньше месяца в пути, а уже в Миссисипи, так далеко от дома еще не бывала...».* И в конце романа героиня не перестает удивляться: «Ну и ну. Носит же человека по свету. Двух месяцев нет, как мы из Алабамы вышли, а уже Теннесси». И действительно, где Алабама, а где Теннесси! Это сейчас рядом, если машиной, тем более самолетом — просто рукой подать, а тогда пешком, если повезет — на телеге да еще одинокой молодой женщине, которая дальше родной околицы не бывала.

За это время она ушла из дома, ибо дома нельзя было больше находиться ни часу — по животу ее уже все стало ясно — и обрела свой собственный дом. Оставила семью и нашла новую, для которой приспела. За это время она стала матерью.

Время измеряется не расстоянием, скорее, наоборот. Мера времени — напряженность человеческого существования.

За это время она нашла отца своего ребенка, чтобы тут же без сожаления потерять его. За это время она нашла человека, который стал отцом ее ребенку. За это время случился пожар, и убийство, и погоня, и скорый суд Линча. За это время люди

теряли и обретали все, что только можно потерять или обрести,— от жизни до смысла.

За это время человек родился и человек умер.

Есть только одна мера времени и эта мера — жизнь и смерть человеческая.

Действие романа происходит в начале века — приметы времени переданы тонко и точно. Но это и наше время, а каждое следующее поколение читателей найдет в нем свое. Ибо это время по Фолкнеру — густое, напряженное, полное извечных страстей человеческих.

Мы погружаемся в трудную и прекрасную фолкнеровскую прозу, в фолкнеровский мир — эпический и яростный. Мир, где каждый герой — человек во плоти и крови и каждый несет на своем челе печать предназначения, где все точно с позиции житейских подробностей и все — на уровне общечеловеческой символики. Снова американский Юг, маленький городок Джефферсон.

Итак, «Свет в августе». В центре повествования изгой. «Лицо у него было худое, ужасающе ровного пергаментного тона. Не кожа — само лицо, насквозь, словно голова была отформована с холодной, страшной правильностью и потом обожжена в раскаленной печи...»; «бездомностью от него так и веяло, словно не было у него ни города, ни городка родного, ни улицы, ни камня, ни клочка земли».

В каждой фразе у Фолкнера — уже весь роман. Судьба изгоя прослежена пристально и подробно — от зачатия и до смерти. Ибо зачатие определило смерть, в нем уже были ее семена. Ребенок еще не родился, а они уже проросли ненавистью, которая отравит все. Жизни у него не будет, будут только шаги к гибели, ступени по лестнице отвержения: сиротство, неприкаянность, отчаяние и ответная ненависть ко всему свету, в котором для него нет места. Эта ненависть страшна для окружающих, но прежде она выжжет все внутри. Последняя вспышка самосожжения лишь поставит точку в этой трагедии, высветит ее неизбывность и неизбежность.

И все — из-за нескольких капель черной крови в его жилах, которые то ли были, то ли нет. Из-за этого сумасшедший дед подкинет его в приют и будет преследовать всю жизнь в злобном фанатическом исступлении. Из-за этого он будет всегда один — не в силах примкнуть ни к белым, ни к черным. Белый негр. К черту окружающее, его внутренний мир расколется надвое, превратится в змеиный клубок. Белый, ненавидящий в себе негра. Негр, ненавидящий в себе белого. Негроненавистник — негр. Ненавидящий белое — белый... И все это в

одном лице, и все это он. Только смерть может разрубить этот клубок. Он станет страшен, ибо обручится со смертью. Ничто не сможет его остановить — он все будет готов сокрушить и смести со своего пути — чужую ненависть и чужую любовь. Но и собственная смерть его не испугает. Он встретит ее с готовностью, будет ее искать, примет как избавление.

Его мыканье начнется в рождественскую ночь. Сестры, в чьи руки попадет подкидыш, так и назовут его смехом — Кристмас (Рождество), Джо Кристмас с намеком на библейского Иосифа. Его бег оборвется в тридцать три года, когда толпа линчевателей распнет его после короткой жестокой погони или после долгого жестокого преследования, — смотря что считать распятием — последний миг или всю жизнь с первого крика на этой земле. Аллегория с Иисусом Христом очевидная. Только какой грех должно было искупить распятие белого негра? И чей грех?

Почему герои Фолкнера (особенно более ранних его произведений) так несвободны? Они словно задавлены чем-то надличным. Хотят они или не хотят, они прежде всего должны. У добрых и злых, у сильных и слабых — все у них вроде бы предсказано наперед.

Вспомните, как часто юные герои фолкнеровских романов вылезают в окно, через окно бегут из переспевшего отрочества — навстречу то ли жизни, то ли погибели. Спускают веревку. Слезают по дереву. Прыгают с высоты... Никакие преграды не в силах их остановить. Ибо то, что внутри, сильнее любых преград. Природа берет свое? Да, конечно. Только под природу рядится страсть, предназначение. Страсть предназначения. Это она говорит голосом природы.

Дорог они тоже не разбирают — фолкнеровские герои — и всегда выбирают ту единственную, что неотвратимо ведет к цели. Как дед Джо Кристмаса, ночью пустившийся вскачь за дочерью, сбежавшей с циркачом — то ли мексиканцем, то ли черным полукровкой, с чего все и началось. Как взявший маленького Джо на воспитание Макихерн, чья лошадь принесла его прямо к деревенской танцульке навстречу удару по голове, которым Джо должен был разделаться со своей забитой юностью — из волчонка ему пора было превратиться в волка. В затравленного волка, ибо гон уже был в разгаре.

Предназначение исполняется с неотвратимостью приговора и яростью вулканического извержения. Счастье и гибель у фолкнеровских героев в крови. А часто единое неразрывное, переливающееся из одного в другое — счастье-гибель...

Герои Фолкнера не однозначны, они одностластны. Каждый

из них выражает одну идею, с фолкнеровским темпераментом исчерпывая ее до конца. Удел Лины Гроув — продолжать род, и этот удел возвышает ее над миром, освобождая от мелочных забот и треволнений. Байрон Банч — человек долга и добра. Маленький, незаметный — «такой, что, если он один на дне пустого бассейна будет сидеть, его и то не сразу заметишь» — в заботе о другом человеке он вырастает на глазах. Макихерн — догматик благочестия, каменноголовый изувер, этот Христа ради убьет и не усомнится. Чтобы спасти ребенка, он готов забить его до смерти. Его жена — воплощение бессловесности, беспомощности и бессилия приниженной доброты. Каждый герой Фолкнера словно бьется в силках судьбы, силится и не может порвать неведомые и невидимые путы. И над всеми ними довлеет единый и грозный рок.

«И вот тут, насколько помнит Байрон, ему впервые пришло в голову, что имя человека может быть не просто служебным звуком названия, но и каким-то предвестием того, что человек совершит — если, конечно, другие сумеют вовремя разгадать его смысл. Ему казалось, что никто из них и не смотрел особенно на пришельца, покуда они не услышали его имя. Но когда услышали, впечатление было такое, словно имя намекает, чего от него ждать, словно он сам нес роковое предупреждение о себе — как цветок несет свой запах, как гремучая змея гремушку...»

Это про Джо Кристмаса. А вот мисс Берден глазами джефферсонцев. «Но и поныне что-то тяготеет над ней и именем — что-то темное, нездешнее, грозное...»

Мистика? Да нет, реализм! Если есть Создатель в фолкнеровском царстве, то это сам автор, и его воля все определяет, воля — не произвол. Это его прозрениями видят его герои. Это он освободил их от власти случайного. Остался один закон, доведенный до абсолютности рока. Вот когда гениальность формулы о свободе как осознанной необходимости очевидна до наглядного. Несвободность героев Фолкнера — не заданность, она отражение той несвободы, в которой живут реальные люди, закономерностей, царящих в обществе.

Сам же автор свободен, абсолютно свободен, ибо он осознал, познал необходимость — дух и законы человеческого общества и существа. И имя року, что довлеет над всем и вся в обществе, которое он пишет, ему открыто. Проклятие и приговор американского Юга — рабство. Расизм — его первородный грех.

Мисс Берден обречена в этом краю. Но рок тяготеет не над ней, во всяком случае не над ней одной — это только джефферсонцам так кажется, он над всей этой землей. Види-

мость противоположна сути. Однако пора привести цитату целиком.

«Она живет одна в большом доме — женщина средних лет. Живет там с рождения, но все еще пришлая, чужая: ее родители приехали с Севера в Реконструкцию (то есть после гражданской войны. — *А. П.)*. Северянка, негритянская доброхотка — до сих пор по городу ходят слухи о ее странных отношениях с неграми, городскими и иногородними, хотя прошло уже шестьдесят лет с тех пор, как ее дед и брат убиты на площади бывшим рабовладельцем в споре об участии негров в штатных выборах. Но и поныне что-то тяготеет над ней и имением — что-то темное, нездешнее, грозное, хотя она всего только женщина, всего только отпрыск тех, кого предки города не без оснований (так они считали по крайней мере) страшились и ненавидели. Но тут оно: отпрыски тех и других в их связях с вражьими тенями и рубежом меж них — видение давно пролитой крови, ужас, гнев, боязнь».

Что-то тяготеет над ней. Темное, грозное — да, но здешнее!.. Южанам кажется, что беда чужая, пришлая, что занесена она с Севера как зараза, только беда сидит в них самих — в их традициях и представлениях. И отвергают они не болезнь, а ее симптомы. Совесть. Пробуждение совести. Напоминание о беде страшнее беды.

Рок сбудется, и мисс Берден будет убита. Джефферсонцы угадают — ее убьет негр. И это будет чудовищное преступление.

Если бы Кристмас убил своего деда, помешавшегося на чистоте белой крови, или местного фашиста Перси Гримма, или любого из тех, кто преследовал его и травил, кажется, это было бы понятно. Но он убил единственного человека, который не отталкивал его, зная, что он белый негр, единственного, кто его не ненавидел — любил. Увы, так и должно было случиться. К ненависти Кристмас привык, но не к любви. С ненавистью он встречался всю жизнь, с ней он породнился, хотя так и не научился ее сносить — потому и погиб, с любовью же столкнулся впервые и тут же почуял ее опасность — смертельную для себя такого, каким он стал, для своей ненависти. Женщина протянула ему руку, в ответ он ударил. Увы, это так свойственно людям — бить тех, кто тебя любит, ненавидеть того, кто протягивает тебе руку. Нет, не в сочувствии нуждался Джо Кристмас, сочувствие может и унизить униженного, гордый нуждается в равенстве. Лучше отчуждение в равенстве, чем унижение в близости. Для Кристмаса равенство было недостижимо. Тогда пусть будет презрение, свет его по крайней

мере честней, он не бросает обманчивых теней, в которых так быстро плодятся иллюзии... Но ведь женщина искренно протягивала руку, она не хотела обмануть или унизить, у нее просто болело сердце. Но нет ответа между двумя, в том-то и дело. Личная трагедия мужчины и женщины двумя не замыкается, неличный у нее исход. Бесчеловечность заложена генетически, она в крови этого общества, из веку разделенного и проклятого. На гибель обречены оба — и тот, кто протягивает руку, и тот, кому она протянута.

И все же до чего несправедливо! Но от кого вы ждали справедливости — от рабства? Несправедливость, дикость этой жертвы проявила зловещую неправедность строя и порядков, воцарившихся на этой земле.

Джефферсонцы ошибутся, мисс Берден убьет белый негр. Ее убьет та же сила, что шестьдесят лет назад убила ее деда и брата — наследие белого рабства. Но в тот раз оно выступило с открытым забралом, а сейчас нанесло предательский удар из-за угла руками главной своей жертвы.

Прошлое опутывает настоящее невидимыми цепями. Это понял Хайтауэр, неудавшийся священник, неудавшийся отшельник, неудавшийся доброхот. Все ему не задалось, он потерпел поражение по всем позициям. Правда, он прозрел в конце. Когда уже все было потеряно, он понял почему. Он увидел свет.

Мало быть добрым в этом мире, нужно видеть свет. Не миражи — свет. Мир в реальном свете. Ибо самые добрые намерения расколются об искаженную картину мира.

Нет власти прочней, чем власть родных мифов. Мифы — материя неосязаемая, и потому ее не разорвешь так просто. Они не имеют плоти и входят без стука, не спросясь. И вот уже крепость захвачена, над нею реет новый флаг, и только те, кто внутри, не заметили переворота. Ибо это переворот в сознании. Отныне для жертвы все будет выглядеть по-иному. И черное уже будет не черным, и белое не белым, и факты обретут какой-то иной смысл.

Подлинной жизни для Хайтауэра словно не существует. Он весь в былом. Героическое видение — дед, убитый во время гражданской войны, владеет всеми его помыслами. Только не было героической смерти, была смерть позорная. Не враги, не северяне, не солдаты даже убили деда, а женщина, жена своего же, конфедерата. Из охотничьего ружья, из дробовика, в курятнике. За курицу — не за идею. Нет, не был сам факт открытием для Хайтауэра, он всегда его знал, вот что поразительно, и все равно плененное его сознание, воображение, поддернутое пеленой, рисовало случайную смерть мародера ги-

белью героя. Ему привиделся «чудесный образ вечной юности и чистой страсти, которая создает героев».

Хайтауэр стремится служить идее, он вовсе не эгоист, но нельзя служить мертвой идее, служение мертвой идее приводит к краху. Тогда он отрекается от самой идеи служения, ищет убежище в пустыне одиночества, замыкается в себе. Но тесно в себе доброму человеку, все равно что самому заколотить над собой крышку гроба. Хайтауэр восстанет еще, человеческий его темперамент прорвется сквозь броню самоограничений. Он поможет Лине и Брауну и чудно́й старушонке, оказавшейся бабушкой Кристмаса, он попытается помочь даже самому Кристмасу в последний час. И этот бунт против себя, бунт добра, активного сострадания против самоугасания просветлит его сознание, придаст его жизни то, чего так ей не хватало, — смысл. И с ним, наконец, придет долгожданное ощущение если не счастья, то удовлетворения собой.

Смысл и предназначение человека — человечность, считает Фолкнер. Однако до чего необычен гуманизм фолкнеровских героев. Будто нежеланный. Будто мешает он и сковывает героев, виснет тяжкими веригами.

Вот в самом начале двухмесячного пути из Алабамы в Теннесси, на котором происходит столько разных событий, Лине Гроув встречается странная пара — мистер и миссис Армстид. Он подвезет ее на телеге и, преодолевая страх перед суровой женой, привезет на ночь в собственный дом. Она же наутро отдаст ей все свои сбережения. Но как она это делает! Говорит она «грубо, в сердцах». «Лицо у нее сердитое, злое». «Остервенело» роется в ящике, потом «внезапно она срывает с ноги туфлю и одним ударом разносит копилку». «С яростной решимостью» завязывает мешок с добровольным своим даром и «перевязывает — узлом, тремя, четырьмя». От себя самой. Чтоб не одуматься.

Эти деньги она копила всю жизнь, они нелегко ей дались, а отдает первой встречной. Миссис Армстид разрывается. Она понимает, что поступает глупо, и ничего не может с собой поделать, доброта оказывается сильней здравого смысла. И потому эта «остервенелость» и «яростная решимость». Добро она творит со злостью.

Фолкнеровским героям незнакомо самоумиление. Их человечность не очевидна, она как бы прорывается через преодоление себя. Человек загоняет ее внутрь, заталкивает, а она рвется наружу, и когда прорывается с кровью и болью, наступает облегчение. У нас — читателей.

Что, человек — изначально добр или зол? Наивный вопрос.

Человеку трудно быть добрым на этой земле — вот что утверждает Фолкнер. Вот откуда эти прорывы «яростной решимости» у его героев. Это человеческое рвется сквозь социальное. Гуманизм фолкнеровских героев трудный, потому что выстраданный. Но разве бывает легкий гуманизм? И что может стоить легкий гуманизм?..

«ОСКВЕРНИТЕЛЬ ПРАХА»

И снова город Джефферсон. И снова та же фабула и тот же конфликт в основе романа, написанного в 1948 году, то есть шестнадцать лет спустя. Это — «Осквернитель праха».

Средь бела дня убивают человека — белого человека. Нет сомнения, что это сделал старый негр Лукас Бичем: он был пойман на месте преступления с пистолетом в руке. К тому же он давно славился строптивым нравом и независимостью поведения, что весьма подозрительно для негра. Родичи убитого собираются отомстить за него, и весь город живет предвкушением скорого суда Линча. Однако представление несколько задерживается. Сначала нужно похоронить убитого, вдобавок, как назло, убийство произошло в субботу, пока похороны закончатся, будет уже вечер воскресенья — время, когда добропорядочные христиане кознями и казнями не занимаются, так что хочешь не хочешь, а наказание негра приходится отложить на понедельник... Отсрочка оказалась решающей. Ибо за воскресную ночь двое мальчишек — белый и черный — и одна старуха (у каждого из троих была своя причина это сделать: шестнадцатилетний Чик Мэллисон — чтобы отплатить Лукасу, который когда-то много лет назад, как ему казалось, оскорбил его своим благородством, его одногодок Алек Сэндер — просто так, за компанию, по инерции товарищества, а восьмидесятилетняя девица леди Хэбершем — потому, что покойная жена Лукаса была дочерью ее кормилицы) — вот эти трое, вернее, как позже определит Чик, «одна и две половинки» пробрались на кладбище и разрыли могилу убитого. И тут вдруг выяснилось, что в могиле лежит совсем не тот человек, которому бы полагалось там лежать... Остальное было уже сравнительно простым делом: предупредить шерифа, найти все трупы, а они за эту насыщенную и даже перенасыщенную событиями ночь с воскресенья на понедельник будут не раз перемещаться самым фантастическим, а впрочем, легко объяснимым способом, отыскать настоящего убийцу и отпустить Лукаса Бичема, предупредив его — для его же пользы, конечно, чтобы в следующий раз он постарался не ввязываться в такие переделки...

В романе три главных действующих лица: Лукас Бичем, старый упрямый негр, из-за которого и разгорелся сыр-бор. Город, у него есть свое имя — Джефферсон, но чаще он просто Город, воплощающий традиции своей страны и главную из них — белое господство, а потому мстящий Бичему. И Чик Мэллисон, бросивший вызов самому Городу ради справедливости. Чик спасает Лукаса Бичема, но верно и другое: Лукас Бичем спасает Чика, ибо, борясь за старого негра, мальчишка борется за человека в самом себе. А может быть, верно и третье: в борьбе с Городом оба они — нет, не спасают Город, это все же не под силу одному, пусть даже очень гордому старику и одному, пусть даже очень храброму мальчишке, но по крайней мере преподносят ему урок справедливости...

«Это было в то воскресенье, ровно в полдень шериф подъехал к тюрьме с Лукасом Бичемом, хотя весь город (да уж если на то пошло, весь округ) еще со вчерашнего вечера знал, что Лукас Бичем убил белого человека».

В первой же фразе четко и бескомпромиссно обозначилась главная коллизия: Лукас убил не человека, а белого человека, цвет здесь важнее сути, цвет, собственно, и есть суть. Убей Лукас своего соплеменника, это было бы простое происшествие, подсудное обычному уголовному суду. Но он убил белого человека, тем самым совершив самое большое преступление, которое только может быть на этой земле и отплатить за которое должен весь белый род.

Лукаса Бичема знал «всякий из живущих здесь белых». Но прежде чем пояснить почему, следует описать сцену первого знакомства Лукаса Бичема и Чика Мэллисона. В ней своеобразный психологический ключ к характерам и того и другого.

Как-то во время охоты на зайцев Чик (в ту пору ему было двенадцать лет) свалился в ледяной ручей. Выбраться из воды помог оказавшийся поблизости Лукас Бичем Он повел мальчишку к себе домой, накормил, высушил его одежду и заставил переодеться. Тут-то и произошла сцена, с которой все началось.

Помимо воли самого Чика его сознание регистрировало в происходящем два плана. Ребенок, он невольно подчинялся властным полусоветам-полуприказам взрослого... Маленького белого человека возмущал тон, которым с ним посмел говорить старый негр. Но аристократ, он повел себя по отношению к зарвавшемуся негру так, как подсказывало его южное воспитание. Негр оказал ему услугу, негр получит вознаграждение. Мальчишка полез в карман, собрал в горсть все, что там

было: монету в пятьдесят центов, десятицентовик и еще две монетки по пять центов и протянул Лукасу Бичему.

«...И в ту самую секунду... понял, что... опоздал навсегда, и уже непоправимо, и медленно горячая кровь — медленно, как ползут минуты, — приливала к его щекам и шее, и так он стоял, протянув онемевшую ладонь с четырьмя позорными крохами отчеканенного в монеты сплава, пока наконец этот человек не проявил что-то похожее по меньшей мере на жалость.

— Это еще зачем? — сказал он, даже не двинувшись, даже не наклонив головы, чтобы взглянуть, что у него там на ладони, и опять целая вечность, и только густая горячая недвижная кровь прихлынула и стоит, пока наконец яростно не кинулась ему в голову, не зазвенела в ушах, и тут он хоть как-то справился со своим стыдом и увидел, как повернулась его ладонь и не то, что швырнула, а стряхнула монеты, которые, звеня и подпрыгивая, покатились по голому полу, а один пятицентовик попал в какую-то длинную покатую выбоину и скатился по ней с таким суховатым шорохом, словно мышь пробежала, и тут же голос: подбери его... Ну, а теперь идите стрелять зайцев, — сказал голос. — Да держитесь подальше от ручья».

Негр Бичем не считал себя негром — тем бессловесным, униженным существом, которое должно благоговеть при каждом капризе белого господина, даже если им является двенадцатилетний сопливый мальчишка. Парадокс, но именно поэтому в округе к нему относились как к Негру — с большой буквы. Он считал себя человеком, равным всем другим людям, и отвергал двойную мерку морали, когда по одной шкале измеряются подлинные ценности, а по другой все, что связано с белым, объявляется высшим, лучшим, превосходящим любое, что связано с черным. Американский критик Эдмунд Уилсон назвал его «негром с белой кровью». Это факт, дедом Лукаса был белый плантатор, но у Фолкнера факты обладают не столько физической, сколько метафизической сутью. Единственный из негров округа Лукас Бичем выдавил из себя раба, и за это его знали и ненавидели все белые.

Нет, он отнюдь не был идеальным героем. Если присмотреться попристальнее, он был даже в чем-то смешон. Этот неизменный черный потертый костюм из тонкого сукна и поношенная плантаторская шляпа. Этот дурацкий пистолет на боку по субботам — непременный атрибут праздничного костюма настоящего белого южанина — пистолет настолько древний, что и стрелять-то толком не мог, но уж подвести «под монастырь» — каждую минуту. Эта роскошная золотая зубочистка в углу рта, о которой он никогда не забывал, выходя на люди,

не забыл он отдать ее на сохранение шерифу и в тот момент, когда расправа над ним самим казалась неминуемой. Он выглядел не столько как белый, сколько карикатурой на белого. Все в нем было нарочито, вызывающе, кричаще. Символы довольства он, казалось, ценил больше самой жизни, но, что поделаешь, ему ведь нужно было быть не просто равным любому белому, но быть «более равным», чем любой из них, пользующийся всеми правами от рождения. Ему приходилось доказывать свое равенство ежедневно и ежечасно, а для этого нужно было кричать. Для этого нужно не бояться быть смешным.

К тому же и сам идеал, которому сознательно следовал Лукас Бичем, мягко говоря, не совершенен, но в этом уж виноват не старый негр.

Вот Лукас беседует с адвокатом Гэвином Стивенсом, дядей Чика, которого в других романах саги о Йокнапатофе называют не без легкой усмешки, но с внутренним уважением просто Юристом, как господа Бога, с большой буквы, ибо он, по мысли Фолкнера, олицетворяет собой и едва ли не воплощает все чувство справедливости, отпущенное на Город.

— «У меня нет друзей, — сказал Лукас гордо, сурово и непреклонно и вслед за этим прибавил что-то еще, хотя дядя уже заговорил:

— Ты прав, верно, ничего не скажешь, нет у тебя друзей. — Что? — перебил себя дядя. — Что ты сказал?

— Я сказал, что я сам за себя плачу, — сказал Лукас.

— Понятно,— сказал дядя,— Ты не одалживаешься у друзей, ты платишь наличными».

Лукас Бичем хочет быть человеком, но живет он ведь не в безвоздушном, а, скорее, в бездушном пространстве, где мера ценности человека — в деньгах. К тому же он понимает, что есть только одна вещь, которая делает его действительно равным любому белому, и эта вещь — деньги. А он хочет быть человеком. Человеком!

«Если бы он только сначала был немножко негром...»

Эта фраза как мольба, как несбывшееся заклинание повторяется в романе в десятках вариантов, но Лукас Бичем проходит через все удары судьбы, оказывается на волосок от смерти и лишь случайно спасается, но не уступает, остается прежде всего человеком. И когда в последних строках романа уже свободный от подозрений и угроз он приходит к адвокату и требует взять с него гонорар (сцена с Чиком словно повторяется, только роли и акценты меняются: ему, Лукасу Бичему, белые оказали услугу, белые получат вознаграждение) и адвокат соглашается на символическую сумму в два доллара, и

когда он достает из тряпочки и отсчитывает по пятаку да по центу эти несчастные и никому, кроме него самого, не нужные два доллара, а потом еще требует расписки — этот вредный, упрямый, назло всему белому свету ничуть не изменившийся и не изменивший себе старый негр, которого даже близкая могила не сделала горбатым, он не просто смешон, он велик.

«— Интересно, захватил с собой Хэмптон лопату? Это все, что ему понадобится.

— Ему там дадут лопату.

— Д-да, если останется, что закапывать. Бензин там у них найдется даже на Четвертом участке.

— Нет. Сегодня они ничего не будут делать. Они сегодня днем хоронят Винсона, а жечь негра, пока похороны не кончились, это неуважение к Винсону.

— Верно. Должно быть, на вечер отложат.

— В воскресный-то вечер?

— А что, разве это Гаури вина? Лукасу следовало об этом подумать раньше, а не убивать Винсона в субботу.

— Ну насчет этого я не знаю. Но сдается мне, Хэмптон не такой человек, чтобы у него так просто было забрать заключенного!

— Негра, убийцу? Кто в этом округе и во всем штате станет помогать ему защищать негра, который стреляет белому в спину?

— Да и на всем Юге?

— Да. И на всем Юге».

Город готовится к суду Линча. Мерно, деловито, без лишней спешки. То, что должно быть сделано, будет сделано, волноваться же по-пустому нет оснований. На собственных грузовичках и пикапах на Площадь к Тюрьме подъезжают жители Первого, Второго, Третьего, Четвертого, Пятого участков. Роли заранее распределены. Штурмовать Тюрьму, вызволять из рук властей Негра будут Гаури с Четвертого участка — это их убитый и возмездие — их право и святая обязанность. Остальные пока просто зрители, равнодушные, даже благожелательные: в конце концов то, что произошло, дело житейское, а они ведь не изверги, не садисты какие-нибудь, чтобы запах крови приводил их в неистовство и ярь. Они стоят, балагурят, добродушно шутят.

— «Что это вы задумали, Хоуп? — спросил он... — Или вы не слыхали про этот новый закон, который провели янки насчет линча? Те, кто линчует негра, обязаны вырыть ему могилу!»

И вдруг...

«...И вдруг, прежде даже чем он успел повернуться на сиденье и поглядеть назад, он почувствовал, что толпа уже ворвалась в переулок и настигает их, еще секунда, миг и вот сейчас она обрушится на них, взметет, подхватив по очереди: сначала дядину машину, потом пикап, потом машину шерифа, как три куриные клетки, потащит за собой, смешав все в одну сплошную, сразу потерявшую смысл и теперь уже ни к чему не годную кучу, и швырнет туда, вниз... Затем, повернувшись на сиденье, он поглядел секунду-другую в заднее окно и действительно увидел не лица, а Лицо, не массу, даже и не мозаику из лиц, а одно Лицо — не алчное, даже и не ненасытное, но просто двигающееся, бесчувственное, лишенное мысли или хотя бы какого бы то ни было побуждения; выражение, не выражающее ничего... лишенное всякого достоинства и даже не внушающее ужаса: просто лицо без шеи, дряблое, осоловелое, повисшее в воздухе, прямо перед ним, тут же, за стеклом заднего окна, и в тот же миг чудовищно страшное...»

Что случилось? Почему Лицо и куда девались лица? Где люди, наконец?

А были ли люди?

Наверное, были. Даже, конечно, были. Мирные люди, в обычной жизни они добронравны и трудолюбивы. Они любят своих жен и детей и уважают законы и обычаи своей страны.

А что, если эти законы абсурдны, а обычаи — гарантия беззакония, оправдывающие преступления против человечности?

Они не задают себе этих вопросов. Им и так хорошо. И вот на наших глазах и вместе с тем невидимая глазу происходит какая-то странная цепная реакция, и те же самые люди превращаются в атомы толпы.

Дикая метаморфоза. И все же из ничего ничто не рождается. Значит, что-то было в этих людях с самого начала, что предопределило их падение. Это что-то — отказ от себя, от собственной личности.

«...Бесчисленная масса лиц, удивительно схожих отсутствием всякой индивидуальности, полнейшим отсутствием своего «я»...» — так характеризует толпу Фолкнер.

Но что тогда приводит к расщеплению и в конечном счете утрате личности? Ответ следует искать в обществе — в его институтах, духе, традициях. Однако часть ответа всегда есть в самом человеке. Фолкнер моралист, в том смысле, в каком моралисты Шекспир или Толстой. В первую очередь его интересует мораль, идеалы или их отсутствие, то, что в соответствующей обстановке может обеспечить человеческой личности спасительный иммунитет.

Люди одинаковы только в одном случае, когда они одинаково безличны. Когда они спокойствия или какой другой причины ради отказываются от неотъемлемого человеческого права и святой обязанности: мыслить.

«Какой небольшой запас слов требуется человеку, чтобы жить себе спокойно и даже успешно обделывать свои дела...» — пишет Фолкнер. Он пишет об этом почти бесстрастно, но это обманчивая бесстрастность. Он не сотрясает воздух восклицаниями по поводу «слабости» или «извечной греховности» человеческой природы, он понимает, что вопрос скорее в природе общества. В фолкнеровской бесстрастности — боль за маленького человека, оказавшегося слепым, беспомощным, бессильным найти собственный путь в космосе враждебных ему и непостижимых социальных отношений. Обстоятельства мяли его, лепили как глину, закладывали в любую форму, а он, превратившийся в равнодушного наблюдателя чужих страданий или полусознательного линчевателя, даже не заметил, что насилие свершилось над ним самим.

Но и космический масштаб насилия не может снять вины с личности, потерявшей себя. Потому что она могла, должна была сопротивляться и не сделала этого.

«И опять его поразила бедность и почти вошедшая в норму скудость не словаря того или иного человека, а Словаря вообще, самого запаса слов, пользуясь которым даже человек может жить более или менее мирно огромным гуртом, стадом, даже и в бетонном садке...»

Поступки горожан, их реакции, мнения и даже несравненный юмор вешателей лишены индивидуальных черт. Они как бы запрограммированы всем воспитанием, традициями, местной психологией, заранее стали общим местом. Задолго до атомного взрыва общего психоза люди Города были готовы превратиться в толпу, в гурт, стадо. И это превращение состоялось.

Интересно сравнить толпу в изображении Фолкнера и Стейнбека. Помните, в «Путешествии с Чарли в поисках Америки» Стейнбек описывает южную толпу фактически при тех же обстоятельствах: идет травля маленьких негритянских девочек, посмевших пойти в белую школу. Крики, свист, улюлюканье, перекошенные рожи... первобытные инстинкты вырвались наружу. Казалось бы, что может быть страшнее? И все же фолкнеровская толпа страшнее. Она спокойнее, добродушнее, обыденней, если хотите, и именно поэтому страшнее. Стейнбек фотографирует, он фиксирует момент, когда опьяненные расовой ненавистью люди теряют человеческий облик, превращаются в

зверей, вернее, в скотов. Читая Фолкнера, понимаешь, что это было неизбежно, что дело не просто в мгновенном опьянении, скорее — в логике своеобразного социального выбора, который делает любой человек, как бы далеко он ни отстоял от непосредственно политической сферы, причем делает задолго до часа и мгновения пик, пусть даже незаметно для самого себя. Быть человеком, сохранить за собой право на собственную оценку происходящего и не бояться ее отстаивать или заранее отдаться па волю волн, поступать «как все» — это ведь тоже вопрос социального выбора. Добровольный отказ от собственной личности, наверное, одна из первых психологических составных общественного климата, в котором могут расцвести любые обскурантистские идеи, будь то расизм, фашизм или любой другой тоталитарный «изм».

«...Для нас он был, что называется, обыкновенным провинциальным, захолустным маляром: холостяк, живет с отцом в домишке на окраине, по субботам ходит в цирюльню мыться и бриться, а потом немножко напивается — не особенно сильно: всего два-три раза в год воскресным утром он просыпался в местной тюрьме, признавал свою вину, и его выпускали — попадал он туда не за пьянство, а за драку, хотя дрался он именно под пьяную руку и только в тех случаях, когда кто-нибудь (противники всегда оказывались разные — все равно кто) вдруг пытался разбить прочную, завещанную ему отцами веру в то, что генерал Ли был трус и предатель и что земля плоская, с закраиной, как крыши сараев, которые он красил. Потом в овраге за кладбищем он немножко играл в кости, пока к концу воскресного дня не проходил хмель, а с понедельника он уже брался за свои краски; кроме того, раза четыре в год он ездил в мемфисский бордель...»

Это из другого романа Фолкнера, из «Особняка», но я позволил себе привести еще одну, «чужую» цитату, несмотря на обилие их в этом тексте, потому что здесь, как мне кажется, Фолкнер дал почти совершенную форму вселенского обывателя. Вот он, как на ладони, весь нехитрый символ его веры: что земля плоская, что генерал Ли предатель и что во всем виноваты (в зависимости от географии) негры, или евреи, или велосипедисты, как мрачно, «по-черному», шутили герои Ремарка. Почему велосипедисты? А почему негры или евреи? Логики здесь не ищите — от нее отказались заранее, это правило игры. Нужен жупел для оправдания собственных пороков и провалов, а жупелы иррациональны... И за эту веру он — этот тихий и мирный человечек, не пьяница, не транжир и не буян, знающий свое дело и свое место, готов размозжить голову любому. Та-

кой человек сам по себе может быть смешон, но в массе, в Толпе он страшен. Впрочем, все это ведь есть у Фолкнера.

«...Теперь перед ним было не Лицо, теперь все они были к нему спиной, и он видел затылок — один составленный из множества, единый затылок единой Головы, хрупкий, заполненный мякотью шар, беззащитный, как яйцо, но страшный в своем едином, монолитном, безликом напоре...»

Что можно противопоставить Толпе, ее страшному напору, сметающему на своем пути все: храмы, идеи, человеческие жизни? Толпа иррациональна, поэтому — разум. Толпа слепа и глуха к чувствам, поэтому — человечность. Ибо нет все-таки на земле силы сильнее разума, помноженного на человечность. В это во всяком случае из века призывала верить Литература.

У Чика Мэллисона оказалось достаточно человеческих качеств: смелости, достоинства, уважения к себе, к своей земле, к справедливости, чтобы пойти наперекор Толпе.

Образ Чика Мэллисона — самый сложный в романе. Чик широк и обременен предрассудками, он смел, но не бесстрашен, он очертя голову бросается в неравный бой за правду, но до самого конца не расстается с сомнениями. Он весь соткан из противоречий, но ведь он плоть от плоти и кровь от крови своего края, своего времени, и величие и низость его земли отражены и в его характере. Тотальная расовая борьба черного и белого — основной конфликт американского Юга, преломляясь в судьбе Чика, приобретает характер его личной моральной драмы.

Вот мы знакомимся с ним на первых страницах романа: юный двенадцатилетний джентльмен, до отказа напичканный представлениями и предрассудками Города, которые он впитал с молоком матери. Он смотрит на мир, окружающий его, но видит не вещи и явления в реальном свете, а их проекцию, искаженную пристрастными представлениями поколений его белых предков и окружения. Почти непроницаемая пелена прикрывает его глаза. Позже она спадет, и Фолкнер прямо так и напишет:

«И тут, словно какая-то завеса или перепонка вроде как на глазах у кур — а он даже и не подозревал, что она у него есть, — спала с его глаз...»

Но пока она есть, и он ее не замечает, только изредка, сам себе удивляясь, делает открытия подлинного мира и подлинной меры вещей.

Он входит в дом Лукаса Бичема и...

«Сразу же запах, который он безоговорочно считал всю жизнь чем-то присущим всякому дому, где живут люди, у которых в жилах хоть капля негритянской крови».

Но может быть тошнотворный этот запах — печать не расы, а нищеты? Уже сам по себе вопрос — свидетельство маленькой революции во взглядах мальчишки-южанина.

Чик смотрит на портрет жены Лукаса. Портрет и впрямь необычный: негритянка сняла перед фотографом повязку, с которой черной батрачке на роду написано не расставаться. Но Чику видится уже «что-то страшное, что-то дико несообразное...».

Как же силен в человеке груз предрассудков, которых он не замечает, потому что это его собственные, кровные, родные предрассудки. Как же сладок их груз, как удобны они и приятны, сколько сил они сберегают, освобождая от необходимости думать, делать свои выводы и оценки, принимать решения. Негры едят свою неудобоваримую пищу, потому что им так нравится. Негритянка должна быть батрачкой. Мэллисоны непременно методистами... Почему? Разумного ответа нет. Так всегда было... Как будто будущее — это все то же неизменное прошлое. Почему весь город сразу же, с первой секунды, уверился в том, что именно Лукас убил Винсона Гаури? Да потому, что все всегда считали, что каждый негр только и думает, как бы из-за угла всадить белому пулю в спину, тем более этот старый строптивый Негр. Это тоже затасканное клише, фраза из Словаря, готовая к употреблению без раздумья, фраза настолько всесильная, что ни у кого: ни у шерифа, ни даже у самого добродетельного Юриста, благороднейшего дядюшки Чика, не вызвала сомнения. Нужно было быть мальчишкой, с мозгом, еще не закостеневшим от стереотипов, чтобы, не особенно и веря в успех, попытаться по крайней мере проверить факты.

Как важно не дать предубеждениям застлать глаза, сохранить трезвость и широту мысли, способность понять, разобраться в чужой точке зрения, даже если она вовсе не похожа на твою собственную, а не отмести ее с порога как вредную и опасную ересь. Как важно сохранить простое человеческое свойство — умение сострадать. Маленький мальчик Чик Мэллисон из городка Джефферсон сумел сохранить и развить в себе эти качества. И он выиграл бой не только со страшным противником — слепой безрассудной Толпой, но и еще более серьезный — с самим собой. Потому что толпа страшна не только свойством крушить, сметать, затаптывать все на своем пути, но и способностью медленно отравлять каждого, кто хоть чуть ей поддастся, бездумностью, апатией, безразличием к Добру и Злу.

Но и просто сохранить человеческую способность мыслить — мало. Идеалы не консервы, их не сохранишь даже в таком темном и укромном месте, как собственная душа. Их нужно за-

щищать, за них нужно сражаться. Любой отказ от борьбы равносилен предательству, полной сдаче позиций. Промолчал, ушел в кусты однажды — пиши пропало. Толпа возьмет свое...

Однако бывает же так, что вступать в борьбу просто неразумно — противник слишком силен или еще там что-нибудь.

В конце концов могут ведь обстоятельства быть сильнее человека? Нет, считает Фолкнер, ибо человек таков, каким он себя мыслит, и может он то, на что решится. А если не решится, то как он будет жить «сам с собою дальше?» Как ответит перед собственной совестью, которая и есть первый и последний судья?

Защищать человечность, истину, справедливость любой ценой — призывает Фолкнер. Не давать себя убаюкивать предательским мыслишкам о всесилии врага или о том, что, мол, все равно ничего не изменишь. Потому что в конце концов «ведь не так уж много надо; в ту воскресную ночь оказалось достаточно троих, даже и одного может оказаться достаточно...».

И этот один можешь быть ты.

Проповедь? Конечно, но ведь проповедь идеалов, проповедь личной борьбы за идеалы во все века и у всех народов была долгом и обязанностью литературы.

И уж коль скоро речь зашла о проповедях, приведу еще одну цитату:

«— Да? — сказал дядя. И потом, выждав, сказал: — Да, есть вещи, которые ты никогда не должен соглашаться терпеть. Вещи, которые ты всегда должен отказываться терпеть. Несправедливость, унижение, бесчестие, позор. Все равно, как бы ты ни был юн или стар. Ни за славу, ни за плату, ни за то, чтобы увидеть свой портрет в газете, ни за текущий счет в банке...»

Он, конечно, резонер, дядюшка Гэвин, но эту его фразу я бы включил во все учебники человеческого бытия. Если, конечно, такие учебники могут помочь...

Вот эти два романа. По мнению известного литературоведа Ж. Дональда Адамса, «Свет в августе» и «Осквернитель праха» — две высшие точки в творчестве Уильяма Фолкнера. Мне близка эта точка зрения, хотя в критике немало споров на этот счет. Но я о другом. Эти два романа словно перевертыши. В обоих случаях в центре действия одно и то же преступление: убили белого человека. В обоих случаях пойман негр — полукровка. В обоих случаях Город, все тот же город собирается его линчевать. Но это не одно и то же. Это ситуация и ее антивариант, зеркальное отражение. Неслучайно Лукас Бичем, в отличие от Джо Кристмаса, не совершил преступления. Лукас Бичем не Джо Кристмас, он его антипод, хотя и тому и другому суждено

родиться и умереть, стиснув зубы. Джо Кристмас — белый негр, капля черной крови превратила его в парию. Лукас Бичем — черный белый, капля белой крови, что течет в его жилах, сделала его в собственных глазах равным любому белому. И тот и другой поставлены за черту, но одного сопротивление уничтожает как человека, другого поднимает до уровня человека. Одна и та же посылка в одних и тех же обстоятельствах развивается в совершенно разные выводы.

Конечно, художник ставил перед собой разные задачи. В первом романе Фолкнер хотел показать всесилие обстоятельств. Во втором всесилие человека. Но не только в этом дело. Мы снова возвращаемся к «странной» форме фолкнеровского гуманизма, к не менее «странному» фолкнеровскому фатализму. Да, каждый его герой несет на своем челе знак судьбы, но рок не над ним, рок в нем самом. Каждый человек беременен собственным будущим, обрекает себя на собственное будущее, получает то будущее, которого он заслуживает. Даже если он его не заслуживает. Даже если он заслуживает куда лучшего. Писатель ведь судит не по признакам успеха — карьеры или материальных обретений. У него внутренний, то есть нравственный, счет.

И все же — обстоятельства или человек? Какой ответ ближе к истине, какой из двух романов более правдив? Оба. Ибо нет простых ответов на вопросы бытия. Оба вместе — так, пожалуй, будет верней. Все творчество писателя в целом, вся сага о Йокнапатофе — это самое верное. Особенность этого писателя такова, что каждый следующий роман содержит в себе все предыдущие и все последующие тоже, те, что еще должны были быть написаны. Пусть в виде зародыша будущих мыслей — им еще предстоит развиться во что-то более зрелое, но они уже тут, уже воздействуют на все окружающее. Ибо «память верит раньше, чем вспоминает знание. Верит дольше, чем помнит, дольше, чем знание спрашивает».

«Я ОТКАЗЫВАЮСЬ ПРИНЯТЬ КОНЕЦ ЧЕЛОВЕКА...»

Мне хочется немного отойти от романа и поговорить о его создателе.

Под Оксфордом — университетским городом в штате Миссисипи и родным городом Фолкнера — тут неподалеку он родился, здесь прожил почти безвыездно всю жизнь и умер, у него была ферма. Ферма как ферма. Две семьи издольщиков выращивали на ней хлопок и кукурузу, держали мулов и свиней.

Дохода ферма не давала, она и не предназначалась для дохода. Зато у Фолкнера было основание говорить, что он не писатель, а фермер. Да, он любит писать истории, говорил он, но главным образом он фермер. Эта бездоходная ферма под Оксфордом принесла американской литературе самую высокую прибыль в XX веке. Не будь Фолкнер так близок к земле, он, возможно, не стал бы тем писателем, каким он стал.

Действие почти всех его романов и рассказов происходит в округе Йокнапатофа, который он выдумал до такой степени подробности, что даже чертил его карты. Одну из карт (роман «Авессалом, Авессалом!») он подписал: «Уильям Фолкнер, единственный владелец и предприниматель». Известно, что территория Йокнапатофы 2400 квадратных миль, а население — 15 611 человек. Маленький клок американской земли. Маленький? Но этот клочок оказался равным всей американской земле — таков был замах художника. «Я создал собственный космос...» — писал Фолкнер, и это была не бравада, а констатация факта.

Все романы Фолкнера самостоятельны, и все связаны друг с другом. Герои переходят из романа в роман, по мере необходимости выходя на первый план или на время удаляясь в тень. Снова и снова автор возвращается к одним и тем же событиям и ситуациям. Набор излюбленных приемов, отмычек? Нет. Характеры и судьбы собственных героев для Фолкнера словно объективная данность, существующая пусть даже и в нем, но как бы сама по себе, реальность реальней настоящей. А раз так, то к ней можно вернуться, зайти с боку, с тыла, если с фронта недостаточно, открывая все новые и новые грани укрывающегося смысла.

Он словно ничего не придумывает, он исследует. Раз за разом идет он на приступ уже знакомого, чтобы исчерпать все до конца. Вот почему «Свет в августе» и «Осквернитель праха» — словно две стороны одной медали, противоположные проекции одной модели. И вот почему читателям нужен весь Фолкнер. Каждый его роман — звезда. Но только вместе они космос.

Фолкнер прошел весь путь гения — от непризнания до канонизации, которая, увы, служит главной формой посвящения в классики. В разные времена порой одни и те же критики обрушивали на писателя громы и молнии и превозносили до небес.

За что только не ругали Фолкнера. Ругали за туманность, слабость формы и за формализм... Фолкнер действительно писал трудно. Фразы у него безумно длинные, густые, сквозь

них не продраться любителю легкого чтения. Но для любителей легкого чтения пишутся другие книги... Каждая фраза у Фолкнера — запечатленная драма развивающейся мысли. Вот она родилась на наших глазах, но тут же отринула самое себя, подвергнув тяжелейшему испытанию не на достаточность даже, а на правоту. И новый тур сомнения. И новая купель самобичевания, жестокой пробы на истинность, самоотрицания, из которой она не просто выходит очищенной от случайного, приблизительного, видимого, но взмывает на недостигнутую ранее высоту. И тут оказывается: ничто из прежнего не упущено, не забыто за крутыми поворотами. Все ценное удержано. Накопившись, оно, собственно, и обеспечило взлет.

Все происходящее дается у Фолкнера глазами того или иного героя. Надо ли говорить о том, что субъективная эта манера позволяет каждый раз повернуть действительность новой неожиданной гранью, лучше показать объективное. Не впадая в апологетический раж, наверное, можно утверждать, что мерой сознания является не фраза, но мысль, фраза-мысль с ее поворотами-ассоциациями, взлетами, отклонениями, естественной диалектичностью. В сознании нашем ведь нет ни точек, ни запятых, нет и сложно или несложно сочиненных предложений. Поток человеческого сознания Фолкнер и пытается воспроизвести в максимально неупрощенном, «близком к тексту» виде...

Да, читателя, который впервые возьмет в руки книжку с фолкнеровским романом, нужно еще раз предупредить: это нелегкое чтение и непривычное чтение. Зато и открытия, которые ждут в итоге, выйдут за рамки многих привычных представлений. Не в этом ли смысл чтения?

Фолкнер — на редкость сложный писатель. Но вопреки расхожей поговорке, не все гениальное просто, его гениальное — это очень сложно. Последние фолкнеровские романы более спокойны, ближе к гармонии, они, быть может, даже добрей, но что это — мудрость старости или убывающая сила? Все-таки и то и другое. Не стоит путать отстаивание Добра с добротой в быту, гуманизм с одописательством. Нет гармонии в том разорванном мире, который писал Фолкнер.

Конечно, можно сказать, что в титаническом разгуле страстей, бушующих в его романах, виноват сам автор. Разве не несет он ответственности за своих героев? Ведь как бы конкретны и реальны они ни были, все герои одухотворены Фолкнером — это факт. А сила духа у него действительно титаническая... Но можно сказать и по-другому. Только титанический дух мог отразить эпический масштаб социальных страстей, разрывающих на части эту великую страну. Фолкнер ответст-

вен не столько за своих героев, сколько перед ними. Они ведут его за собой, он служит им голосом. Страсти по Фолкнеру — суть отражение реальных общественных страстей художником, чей талант оказался созвучен национальному характеру и соразмерен национальной драме.

Но не болен ли сам талант? Иначе откуда бы в романах Фолкнера столько безумцев и сумасшедших? Таков один из любимых вопросов критиков, подозрительно косящихся на творчество противоречивого писателя. Полный ответ потребует больше места и может увести далеко от главной темы, но вот безумец из романа «Свет в августе» — дед Кристмаса Юфьюс Хайнс, «городской сумасшедший». Только «городской сумасшедший» смешон, а этот страшен, ибо страшен Город. «Это омерзение Господне,— говорит Юфьюс о своем внуке. Говорит и верит.— И я орудие Его воли». Он свихнулся на всеобщем кошмаре, на идее, ужасней которой здесь ничего не бывает. «А вы хотели бы, чтобы ваша дочь вышла замуж за негра» — так она звучит до сих пор. Когда другие доводы белых черносотенцев уже перестают действовать, в ход идет этот, последний, апеллирующий уже не к рассудку, а к предрассудкам, к самому дну их, к подонкам. Расизм обращается к инстинктам, абсурд выливается в безумие.

Черно-белая драма, которую отразил в своем творчестве Фолкнер, достигла безумного накала — с каждым годом мы убеждаемся в этом все сильней, наблюдая страсти, полыхающие на американской сцене. Сейчас в ней можно найти уже все: безысходность и массовую истерию, праведный гнев и патологию, осознанный протест и шизофрению слепого бунта... Наблюдающим из-за океана не все и не всегда в ней понятно. И тогда на помощь приходит Джо Кристмас. Отчаяние и ярость белого негра, рожденного фантазией художника, проливают нам свет на подлинные события.

И тогда на помощь приходит городок Джефферсон в вымышленном округе Йокнапатофа. В реальной жизни он может называться по-разному — в зависимости от момента. В 1958 году — Литтл-Рок, где губернатор Фобус лично воевал с маленькой черной школьницей. В 1962-м — родной фолкнеровский Оксфорд, географический прототип Джефферсона, университетский город штата Миссисипи, здесь не пускали в университет негра Мередита. В 1963-м — Бирмингем, он же «Бомбингем». В 1965-м — Селма, там местный шериф Кларк сажал за решетку нобелевского лауреата Мартина Лютера Кинга, затем лос-анджелесское гетто Уоттс: 34 убитых, сотни раненых. В 1967 году Детройт: 43 убитых, 7200 арестованных, сплошное зарево пожаров. Чер-

ная эстафета — Гарлем, Ньюарк, Бостон, Луисвилл, Майями — передавалась через годы...

Фолкнера не раз упрекали за «мрачность». Один из критиков, например, сделал такой странный комплимент писателю за роман, который ему пришелся больше по душе: «В «Особняке» нет отталкивающей патологии, исступленной зауми, напыщенной риторики, стремления запутать читателя, сбить его с толку». Очень ярко написано. Так сразу и представляешь: сидит Фолкнер за рабочим столом и старательно сочиняет «отталкивающую патологию» пополам с «напыщенной риторикой», всячески «стремится запутать читателя», «сбить его с толку». Бредовая картинка, надо отдать ей должное.

...Стиль Фолкнера позволяли себе называть «декадентским», «готическим», «реакционным». В действительности Фолкнер просто не помещался в рамки модных схем. Он был крупней, масштабней, истинней, богаче любых схем, даже своих собственных, не говоря уже о чужих.

В рабочем кабинете писателя в оксфордском доме прямо на стене аршинными письменами запечатлена полная диспозиция романа «Притча». Не знаю, какая надобность была заносить план на скрижали домашней истории, но известно, что с романом этим Фолкнер связывал весьма амбициозные расчеты... В нем единственном писатель оторвался от почвы родной Йокнапатофы, действие происходит в Европе на фронте первой мировой войны. Но и это исключение лишь подтвердило правило. Его сформулировал другой прекрасный писатель и тоже южанин Роберт Пенн Уоррен: «Фолкнер, как Антей, мог сражаться, только упираясь в землю». Творческую фантазию и дух писателя питала ферма.

В том же кабинете самые необходимые вещи: конторка, сделанная его руками, на ней коробка с табаком, бутылка с какой-то жидкостью для лошадей. В соседней комнате блестящие ботфорты и ярко-красный костюм для верховой езды. С портрета кисти местного художника в университетском зале «фолкнерианы» глядит лицо типичного южного джентльмена...

Фолкнера не раз обвиняли и в том, что он романтизирует Юг, противопоставляет Юг Северу, преувеличивает способность Юга самостоятельно решить расовые проблемы.

Подобные мотивы действительно можно услышать, в частности, в «Осквернителе праха». Читатель, познакомившийся с одним романом, может остаться в недоумении: да полноте, и это Фолкнер, совесть и суд своей земли? Но не спешите выносить приговор честности писателя. Заглянем на полтора десятка лет назад, в «Свет в августе».

Вот Кристмас спрашивает у северянки мисс Берден:

«— Почему твой отец не убил этого... как его звать — Сарториса?

— А-а,— сказала она.

Снова наступила тишина. За дверью плавали и плавали светляки.

<...>

— Я думала об этом. Почему отец не застрелил полковника Сарториса. Думаю — из-за своей французской крови.

— Французской крови? — сказал Кристмас.— Неужели даже француз не взбесится, если кто-то убьет его отца и сына в один день? Видно, твой отец религией увлекся. Проповедником, может, стал.

Она долго не отвечала. Плавали светляки, где-то лаяла собака, мягко, грустно, далеко.

— Я думала об этом,— сказала она.— Ведь все было кончено. Убийства в мундирах, с флагами, и убийства без мундиров и флагов. И ничего хорошего они не дали. Ничего. А мы были чужаки, пришельцы, и думали не так, как люди, в чью страну мы явились незваные, непрошеные. А он был француз, наполовину. Достаточно француз, чтобы уважать любовь человека к родной земле, земле его родичей, и понимать, что человек будет действовать так, как его научила земля, где он родился. Я думаю, поэтому».

Насилие ничего не решает, напротив, «видение давно пролитой крови, ужас, гнев, боязнь» разделят и грядущие поколения. Нельзя импортировать или экспортировать справедливость. Так считал Фолкнер. Это не значит, что его оценки конкретных политических событий и актов были всегда безупречны. Но даже ошибки гения нужно исследовать доброжелательно, они часто не менее плодотворны, чем открытия. Это серость плутает на пустом. Гений может заблудиться лишь в поисках истины.

Фолкнер не верил, что спасение от расизма придет с Севера. Однажды оно уже приходило. И что же? После гражданской войны южная атмосфера приобрела привкус горечи, уязвленного самолюбия, а былые порядки окрасились в ностальгические тона. Бездуховность северного, то есть классически капиталистического образа жизни не вдохновляла Фолкнера. Его страшило, что пороки механического существования, нивелирования личности, стяжательства заразят и его край. И страхи эти не были необоснованными. А эпицентр расовой напряженности? Разве не переместился он на наших глазах с отставшего Юга на воспетый поколениями американских либералов Север?

Фолкнер знал, что «не во вторник на этой неделе» придет долгожданное равенство.

Он как-то сказал: любят не за достоинства, любят, несмотря на недостатки. Такой любовью он любил Юг.

...Фолкнера порой обвиняли и в том, что он слишком копается в душе человеческой и недооценивает, дескать, социальных отношений и прочего. Это дань вульгарным концепциям. Фолкнер действительно считал, что душа человеческая — самая неизведанная из стран, и неутомимо и страстно исследовал ее. Но, удивительное дело, читаешь сейчас эти книги, задача которых «скромна» — человековедение, а перед тобой встает и страна Америка. По саге о Йокнапатофе американский Юг — его порядки и нравы, его характер и хозяйство — можно изучить лучше, чем по десяткам специальных учебников. В ней можно найти ответы на вопросы о том, что было, больше того — это свойство всякой великой литературы — о том, что будет.

Вопрос: К какой литературной школе Вы себя причисляете, мистер Фолкнер?

Ответ: Я сказал бы так — и, надеюсь, это правда: единственная школа, к которой я принадлежу, к которой хочу принадлежать,— это школа гуманистов.

«Я отказываюсь принять конец человека,— говорил Фолкнер в знаменитой речи при вручении ему Нобелевской премии.— Легко сказать, что человек бессмертен просто потому, что он выстоит: что, когда с последней ненужной твердыни, одиноко возвышающейся в лучах последнего багрового и умирающего вечера, прозвучит последний затихающий звук проклятия, что даже и тогда останется еще одно колебание — колебание его слабого неизбывного голоса. Я отказываюсь это принять. Я верю в то, что человек не только выстоит: он победит. Он бессмертен не потому, что только он один среди живых существ обладает неизбывным голосом, но потому, что обладает душой, духом, способным к состраданию, жертвенности и терпению. Долг поэта, писателя и состоит в том, чтобы писать об этом. Его привилегия состоит в том, чтобы, возвышая человеческие сердца, возрождая в них мужество, и честь, и надежду, и гордость, и сострадание, и жалость, и жертвенность — которые составляли славу человека в прошлом,— помочь ему выстоять. Поэт должен не просто создавать летопись человеческой жизни; его произведение может стать фундаментом, столпом, поддерживающим человека, помогающим ему выстоять и победить».

ЧУМА ВО ВРЕМЯ ПИРА

Председатель:
Послушайте: я слышу стук колес!
Едет телега, наполненная мертвыми телами,
Негр управляет ею.
А. С. Пушкин. «Пир во время чумы»

Священник:
Я заклинаю вас святою кровью
Спасителя, распятого за нас:
Прервите пир чудовищный...
Там же

«СКАЖИТЕ, ЧТО Я БЫЛ БАРАБАНЩИКОМ СПРАВЕДЛИВОСТИ...»

Вечером 3 апреля 1968 года Мартин Лютер Кинг выступал с проповедью в негритянской церкви в Мемфисе. «Ну вот я добрался до Мемфиса,— сказал он.— И здесь говорят, что мне угрожают, что наши больные белые братья могут сотворить что-нибудь со мной. Ну что ж, я не знаю, что теперь может случиться. Впереди у нас трудные дни... Как и все, я хотел бы прожить долгую жизнь. У долгой жизни свои преимущества. Но сейчас не это меня волнует. Мне хотелось бы только выполнить божью волю. Он дал мне подняться на гору. И я глянул оттуда и увидел землю обетованную. Может быть, я не попаду туда с вами, но как народ мы достигнем этой земли обетованной. И вот я счастлив сегодня вечером. Ничто меня не беспокоит. Я никого не боюсь».

Ему осталось жить меньше суток.

В шесть часов вечера 4 апреля пуля убийцы настигла его на балконе местного мотеля «Лорейн». Стремительная жизнь оборвалась, когда Кингу не было и сорока. Хотя чему тут нужно удивляться больше: тому, что он погиб так рано, или тому, что он все-таки дожил почти до сорока лет.

Смерть не раз стучалась в двери его дома. Метафора, впрочем, условна. В 56-м году в его дом была брошена бомба, в 57-м — еще одна, в 58-м его ударили ножом в грудь, в 64-м по коттеджу, где он остановился на ночь, стреляли из автомата, в 66-м — снова нож... Дом его младшего брата — священника в Бирмингеме — взлетел в воздух. Какой уж тут стук в дверь! Не считать же за предупреждения анонимные угрозы, которыми, как скат электричеством, были заряжены его телефон и почтовый ящик. Или три десятка арестов за десять лет. Это были не предупреждения, а шантаж. Посягательства на его дух и волю. Попытки морального линчевания, однако, с тем большей вероятностью должны были разрядиться физической расправой, что сами по себе были обречены.

Понимал ли это Кинг? Гадать нет нужды. Коретта Кинг не забудет день, когда они с мужем услышали весть об убийстве президента Кеннеди. Он тогда сказал: «Со мной произойдет то же самое. Я же говорил тебе, что это больное общество».

(«Больное общество»... Через шесть лет после убийства Мартина Лютера Кинга убьют его мать. В церкви. В той самой

атлантской церкви Эбинезер, откуда его провожали в последний путь и где он сам когда-то вел службу вместе со своим отцом, бессменным пастором Эбинезерского прихода в течение 44 лет).

«Каждый день я живу под угрозой смерти»,— сказано Кингом публично. И еще он предупреждал на массовом митинге: «Если вы когда-нибудь найдете меня мертвым, я не хочу, чтобы в ответ вы применяли силу».

О смерти говорят, когда заворожены страхом. Или когда ее ни в грош не ставят. Второе предпочтительней, и все же есть в бесшабашности этой что-то противоестественное, какое-то недомыслие в отношении ценности — бесценности! — единственной нашей жизни. Не то у Кинга. Мысли о неизбежности гибели не оставляли его, но он научился жить с ними, неподвластно им. Не то чтобы они совсем на него не влияли, нет, но они влияли не так, как надеялись те, что террором пытались отвадить его от борьбы. Он знал, что срок, отпущенный на исполнение его миссии, может оборваться в любую минуту. С тем большей самозабвенностью, отказываясь от всего остального, держался он Дела жизни.

Жизнь и Дело... У Кинга они совпадали без зазоров. Дело было жизнью, а жизнь — делом. До какой же степени нужно было ценить эту жизнь, чтобы не отказаться от нее, даже ясно понимая, что ничем другим, кроме гибели, она кончиться не могла.

«Мой муж часто говорил детям, что, если у человека за душой нет ничего, ради чего достойно было бы умереть, то ему не стоит и жить»,— вспоминала Коретта Кинг на митинге после убийства.

Не надо спрашивать, за что умер Кинг. Лучше спросить, ради чего он жил. Ради чего?

Но чтобы ответить коротко, придется начать издалека.

Один из участников борьбы за равенство докинговской поры Уолтер Уайт (фамилия означает Белый — он и был «белым негром», очень светлым мулатом, практически не отличимым от белого) вспоминает, как он впервые ощутил, что он черный. И пусть это возвращение в чужое детство поможет нам понять самое главное — мироощущение черного американца.

Итак, Атланта, столица южного штата Джорджия (город, где Мартин Лютер Кинг родился и похоронен). Черные кварталы парализованы слухами о готовящемся погроме. Маленький мальчик — это и есть Уолтер Уайт — вместе с отцом почтальоном развозит почту. Только-только они свернули с одной из центральных улиц в боковую, как...

«...Как откуда-то по соседству раздался жуткий рев. Ничего похожего я в жизни не слыхивал. Меня охватило странное чувство — смесь страха и возбуждения. «Можно я сбегаю посмотрю, что там», — спросил я у отца. «Сиди на месте», — отец был непривычно резок. Мы выехали на главную трассу — Пичтри-стрит и вновь услышали душераздирающие вопли. На этот раз они были совсем рядом и с каждой секундой приближались. Мы увидели, как, припадая на одну ногу, отчаянно бежит чистильщик-негр из парикмахерской Херндона, а за ним по пятам мчится толпа белых. В какой-нибудь сотне ярдов от нас погоня достигла цели. Мы увидели, как под вопли ярости и ругательства обрушились дубинки и кулаки... Вдруг крик разнесся над толпой: «Вон идет еще один негр!» Дело было сделано, и толпа бросилась за новой жертвой. На дороге в луже крови осталось лежать растерзанное тело...»

Образование тринадцатилетнего Уолтера Уайта на этом не закончилось. Вечером начались погромы. В негритянских кварталах одни вооружались, другие запирались, прятались в подвалах и чуланах и в надежде на спасительную темноту били уличные фонари.

«Через несколько минут, высвечивая себе путь факелами, появилась голова толпы. Кто-то завопил: «Вот где живет почтарь-ниггер. Сжечь надо этот дом, он слишком хорош для ниггера». Я узнал голос. Он принадлежал сыну бакалейщика, в его лавке мы годами покупали всякую снедь. Отец обернулся ко мне, и я увидел его бледное лицо. «Не стреляй, сынок,— сказал он мне тихим голосом.— Не стреляй, пока первый из них не ступит на лужайку перед домом. А потом уж гляди не промахнись...»

В прыгающем свете факелов толпа раскачивалась, накоплялась и вдруг потекла на нас...»

Для рассказчика в тот вечер все кончится благополучно — иначе много лет спустя он не имел бы возможности вспоминать, как это было. Где-то рядом раздались выстрелы, и слепую от ярости толпу развернуло и понесло от дома. Но для тринадцатилетнего мальчишки миг, когда он заглянул в глаза собственной смерти и когда сам примерился к убийству, стал переломным.

«...В тот момент я как бы прозрел, понял, кто я есть. Я негр, человек меченый, и мета эта означала, что со мной можно делать что угодно — охотиться на меня, распять, оскорблять, подвергать дискриминации, держать в нищете и невежестве, чтобы те, у кого белая кожа, всегда имели под рукой доказательство своего превосходства, доказательство достаточное и необ-

ходимое, доступное любому идиоту, любому дебилу, как, впрочем, и мудрецу. Сколь бы низко ни пал белый, неважно, он всегда мог прибегнуть к спасительному убеждению, что стоит выше двух третей человечества, ибо две трети человечества не обладают белизной его кожи. И наплевать, что миллионы моих братьев могут быть одарены умом или талантами. Подобие иудиного проклятия лежало на нас, знак унижения, освященный авторитетом самого неба... Я был негр, и мне не полагалось ничего из того, что именуется добром, справедливостью, светом...»

Чрезвычайный случай? Еще одно свидетельство.

«Никогда не забуду. Мне было десять, а Медгару восемь, когда это случилось, но до сих пор все стоит у меня перед глазами. Впервые тогда мы увидели, как линчуют... Мы жили в Дикейтере. Там у отца был приятель — мистер Тингл, Уилли Тингл. Кто-то брякнул, что он не так поглядел на белую женщину, оскорбительно поглядел, и тут же собралась толпа. Тингла привязали к повозке и потащили по улицам городка. Потом его повесили и долго дырявили тело картечью. И еще несколько месяцев одежда убитого, вся в крови, лежала на том самом месте, и Медгар, и я видели ее каждый божий день. Я и сейчас закрою глаза и вижу все до мельчайших подробностей. Мы были детьми, но для нас будто свет померк... В тот день я сразу стал старше».

Это говорит Чарлз Эверс, человек, которого не надо представлять в Америке. Его называл «своим другом» Роберт Кеннеди. Впервые в штате Миссисипи он стал мэром маленького, но все-таки города Файетт — с таким поистине историческим свершением его поздравили тогдашний президент Ричард Никсон, экс-президент Линдон Джонсон, сенатор Губерт Хэмфри и многие другие. Ну, а Медгар, который упоминается в рассказе, это его брат Медгар Эверс, руководитель движения за гражданские права в штате Миссисипи. В 1963 году его убили выстрелом из винтовки на пороге собственного дома.

Воспоминания Чарлэа Эверса предельно красноречивы, и все же позволю себе выделить одну его фразу: «Впервые тогда мы увидели, как линчуют». Впервые... Но ведь это значит и то, что не в последний раз. Не знаю, можно ли привыкнуть к сцене убийства, но представьте себе это детство и эту жизнь, в которой убийство — привычная сцена...

Конечно же, это крайность. Ибо если вообразить на секунду, что смерть перестала быть крайностью, то что же тогда становится крайностью — жизнь? Да такое общество просто не могло бы существовать, оно бы обрекло себя на гибель. Однако и без крайностей жизнь черного человека в Америке всегда бы-

ла чревата трагедией. С «момента истины», первого страшного мига, когда любой мальчишка или девчонка с черной кожей осознают свою чернокожесть — рождаются ведь, говоря словами Декларации независимости, все действительно равными,— и до последнего дыхания на этой земле — трагедией униженности, второсортности, бесправия.

Могут сказать, что детство Уолтера Уайта пришлось еще на начало века, а отрочество братьев Эверсов — на предвоенную пору. Но и в 50-е годы, когда страна услышала имя Мартина Лютера Кинга, в положении негров мало что изменилось. На Юге страны незыблемо царила сегрегация — принцип и практика разделения рас. Черные практически не голосовали, в органах власти или охраны порядка их представителей не было. Черные не имели права войти в гостиницу, кинотеатр, закусочную, парк, даже туалет для белых. Не говоря уже о школах или больницах. Автобусы были общие (раздельные автобусы — все же слишком дорогое удовольствие для транспортных компаний), но негры входили только с заднего входа и занимали места только сзади и то после того, как рассядутся все белые пассажиры. Негритянка — старуха или беременная женщина — обязана была уступить место великовозрастному белому балбесу — в противном случае водитель мог отправить ее под арест.

Мартин Лютер Кинг начал именно с этого — с автобуса. 1 декабря 1955 года в городе Монтгомери (штат Алабама), где молодой Кинг только-только обосновался пастором в церкви, за отказ уступить в автобусе место белому была арестована негритянка Роза Паркс. В ответ Кинг организовал бойкот городского транспорта. «Ходьба во имя свободы» продолжалась много месяцев и несмотря на яростное сопротивление увенчалась успехом. С 21 декабря 1956 года во исполнение решения Верховного суда США негры Монтгомери, а значит, и всего Юга стали равны, если не перед господом богом, то перед лицом белого водителя автобуса.

Это была разведка боем. Битва разгорелась в городе Бирмингеме в 1963 году и продолжалась весну, лето и осень. Все в ней было: полицейские псы, спущенные на людей, пожарные брандспойты, которые заливали демонстрации, школьные автобусы, превращенные в тюремные фургоны,— настолько массовыми были аресты, взрывы бомб и ку-клукс-клановские сеансы страха. Но ради чего вся эта жуть и дичь? Ради того чтобы не пустить негров в закусочные при универмагах...

Удивительно, как точно выбирал свои цели молодой Кинг. Они были предельно конкретны и потому достижимы, что очень важно. Но при всей их кажущейся, да и действительной огра-

ниченности, истинный их смысл был шире физической видимости. Он проникал в глубь морали и психологии, в сферу чувствований черного человека. Возможность выпить чашку кофе в универмаге — пустяк, но невозможность сделать это, поскольку у тебя черная кожа — драма.

Средства Кинг выбирал под стать целям. Бойкот торговцев, то есть удар в солнечное сплетение, которое у них находится в области кармана. Мирные демонстрации в пику полицейскому насилию. Драматизация общественного мнения в стране и за рубежом. «Моральными средствами осуществлять моральные цели». Вот в чем была его сила. И слабость тоже, но об этом — позже.

Он победил и в Бирмингеме, Мартин Лютер Кинг... Здесь нет возможности даже перечислить все битвы и кампании, в которых он добивался успеха или терпел поражение. Хотя как не упомянуть звездный час его жизни борца и лидера — грандиозный митинг в Вашингтоне 28 августа 1963 года, когда 250 тысяч людей — черных и белых — внимали рвущимся из глубины его сознания и чувства, а может быть — из векового опыта страданий его народа словам: «У меня есть мечта...»

«Сегодня я говорю вам, друзья мои, что у меня все еще есть мечта. Однажды школы только для белых и школы только для черных уйдут в прошлое. И белые и черные дети будут сидеть вместе, за одними партами...»

Я слышал эти слова. Я даже видел, как они произносились, — с режиссером Владленом Трошкиным мы делали документальный фильм об Америке, названный «Право на жизнь», и не могли оторваться от пленки, запечатлевшей тот исторический миг на вашингтонской площади.

«И еще одна есть у меня мечта. Однажды трущобы с крысами отойдут в область преданий. И черные и белые будут жить бок о бок в приличных и чистых домах».

Казалось, он не замечал волнующегося людского моря. Обращаясь к собравшимся, он сам внимал одному ему различимому голосу, идее высокой и властной.

«И еще одна есть у меня мечта. Однажды жители Миссисипи будут накормлены, а в Аппалачах снова заработают заводы. И братство перестанет быть пустым звуком...»

Он не грозил, не приказывал. Он грезил вслух, делился услышанным зовом и заветом с теми, кто в этом больше всего нуждался.

«И еще одна есть у меня мечта. Однажды все божьи дети смогут ступать по этой земле с достоинством и честью...»

Затаив дыхание, слушали люди его слово, похожее на вздох.

Хор мольбы заполнял невольные паузы: «Помечтай еще, Мартин!» — просил народ. И он откликался снова и снова.

«И еще одна есть у меня мечта. Однажды во всех наших законодательных собраниях окажутся люди, верящие в справедливость. И это будет новый день. Это будет день, когда все люди станут братьями. Это не будет день белого человека. И это не будет день черного человека. Это будет день просто Человека».

С богом в душе Мартин Лютер Кинг мечтал о равенстве. Он не увидел свою мечту исполненной, но он приблизил ее. Если сейчас на Юге черные имеют физическую возможность голосовать, если из мест общего пользования исчезли оскорбительные надписи «Только для белых», то в этом заслуга того бурного десятилетия 60-х и его — Мартина Лютера Кинга.

Так чего же он достиг — многого или малого? Но где масштаб — «какой измерить мерой»?

В память врезался урок политграмоты, который когда-то преподал мне в Атланте знакомый американец. «Два парня-одногодка закончили школу. Один из них — белый, другой — черный. Вместе они приходят наниматься на фабрику. Кого возьмет хозяин?» — «Конечно же, белого»,— ответил я, внутренне даже огорчившись детскости поставленной задачи. «Почему?» — «Потому что хозяин — расист». «А если хозяин без предрассудков?» Я растерялся... «Все равно он возьмет белого парня. Потому что черный парень учился в черной школе, а качество преподавания там гораздо хуже. И хотя оба они формально получили одинаковое образование, черный парень по уровню реальных знаний при прочих равных условиях должен отстать от своего белого одногодка примерно на два-три года. И соответственно он хуже подготовлен к любой профессиональной деятельности, если не считать, конечно, самой неквалифицированной работы. Понятно?»

Понятно?

А вот и пример с Севера. Формально сегрегации, как и рабства, здесь не было. Но стоит при въезде в любой большой город съехать с шоссе, и сразу бросается в глаза — пригороды сплошь белые. Неужели здесь живут одни расисты? Необязательно. Теоретически многие весьма терпимы, кое-кто может даже похвастаться друзьями-черными. Но здесь живут собственники. Эти удобные, уютные или роскошные дома — собственность. А собственность имеет цену. И если по соседству поселится черный, пусть даже богатый черный, то все дома в округе упадут в цене. А кто же хочет терять деньги? Так мир собственников диктует свои условия.

Предрассудки — гнусность. И принято считать, что нет ничего труднее, чем переделать сознание, но переделать действительность еще труднее, а именно она диктует сознанию. Расизм не просто предрассудок, как мы порой склонны инстинктивно считать. Его питает и пестует сама система.

Кинг как-то очень точно сказал: «Во всем, что есть хорошего в жизни, негру достается приблизительно половина того, что имеет белый; из плохого он имеет в два раза больше белого». Гетто, в полтора-два раза ниже уровень жизни и соответственно в полтора-два раза выше уровень безработицы... Это ведь уже не моральные факты, а факты социально-экономической действительности. И их трагическая концентрация порождает такую густоту безнадежности и гнева, в которой без остатка растворяется удовлетворение недавними успехами.

Они тяжело дались — эти успехи и многое значили для своего времени, но с высоты новых десятилетий былые пики кажутся не более чем предгорьями. Да, сегодня можно сказать, что и на американском Юге со слезами и шумом проводили на покой официальную сегрегацию. Не стоит недооценивать этот факт, в конце концов это было бы неуважительно по отношению к тем бесчисленным жертвам и жизням, что легли на алтарь борьбы за гражданские права черных,— к тому же Кингу в первую очередь. Но и переоценивать масштабы достигнутого нет оснований. К 70-м годам XX века в «технотронной» Америке распрощались с самым наглядным наследием рабовладельческих веков. Прошлое ушло в прошлое — с грехом пополам. Как, однако, быть с настоящим — с теми проблемами, которые породил уже сам капитализм? Расизм безликий, всепроникающий, связанный с корнями этого общества,— противник куда более серьезный, чем явно зажившаяся на белом свете старомодная южная дама по имени Сегрегация.

Кинг это понимал. «1963 год — это начало, а не конец»,— так говорил он про год своего триумфа. «У негров имеется лишь отправная точка в их борьбе и ничего больше... Негры боролись и побеждали, но это были победы в мелких стычках, а не в решающих сражениях». «Будущее гораздо сложнее. Ликвидировать трущобы, населенные сотнями тысяч семей,— не такое легкое дело, как, например, отменить сегрегацию в закусочных или автобусах. Гораздо труднее создать для негров рабочие места, чем включить их в списки избирателей... Негры выиграли в результате некоторых ограниченных изменений, которые в моральном отношении удовлетворяют их, но в материальном — недостаточны». «Для подавляющего большинства белых амери-

канцев прошедшее десятилетие — первый период — был борьбой за приличное, вежливое обращение с негром; это не было еще борьбой за отношение к нему как к равному. Белая Америка в большинстве своем была готова потребовать, чтобы негры были избавлены от жестокого, грубого и унизительного обращения, но она никогда не выступала за то, чтобы помочь им выйти из тисков нищеты, эксплуатации и всех других форм дискриминации...» «От отдельных вопросов, относящихся к сфере человеческого достоинства, негры ушли далеко вперед — к программе, затрагивающей основы социальной и экономической жизни...»

Или совсем коротко:

«Какой прок от того, что ты имеешь право пообедать в закусочной при универмаге, если тебе не на что купить котлету?»

Вот ведь как заговорил этот проповедник, для которого истинным богом были чаяния — не не отчаяние — его народа. «Моральными средствами осуществлять моральные цели...» — это прекрасно, однако цели приобретали все более отчетливый социально-экономический смысл, и Кинг искал новые средства, достойные этой цели. Какие? Одно можно сказать с уверенностью, зная Кинга, они не были бы аморальными.

Насчет возможных результатов он вряд ли обольщался. Он как-то заметил: «Человеку, который достиг зенита в 27 лет, предстоят тяжелые дни. Люди ждут, что до конца своей жизни я, как фокусник, буду доставать кроликов из шляпы». Он знал, что время переменилось, что запас близко достижимых результатов исчерпан и впереди трудная борьба, в которой разочарований уготовлено больше, чем поводов для оптимизма. Что с того? Тем упорнее надо идти по избранному пути к цели. И пусть, «быть может, я не попаду туда с вами, но как народ мы достигнем этой земли обетованной».

Вера его в лучшее будущее своего народа была безгранична.

Кинга называли вождем черных, их пророком. Сам он не искал громких титулов.

«...Если вы хотите, скажите, что я был барабанщиком. Скажите, что я был барабанщиком справедливости. Скажите, что я был барабанщиком мира. А все остальное неважно».

За два месяца до гибели он выступал в той самой атлантской церкви Эбинезер, с которой судьба связала его такими крепкими узами, и, видно, томимый предчувствиями, подвел итог своей жизни. Второй раз — в магнитофонной записи — эти слова прозвучали под эбинезерскими сводами, когда его отпевали.

А БЫЛА ЛИ АТТИКА?

В субботу, 11 сентября 1971 года, нью-йоркская «Амстердам ньюс» вышла, как всегда, с «молитвой недели», «Отче наш,— просила «Амстердам ньюс»,— ниспошли мир нашему поколению, дозволь тем, кто столько раз пережил ужас кровопролития, достичь небесного рая любви и спокойствия». Тут же для любознательных и благочестивых читателей — очередной вопрос кроссворда на библейские темы: «Как звали капитана фараоновой гвардии?»

«Амстердам ньюс» — крупнейшая черная газета Америки, ее редакция в Гарлеме на одной из главных улиц — Амстердам-авеню. Выходит раз в неделю тиражом до ста тысяч экземпляров. Отличается довольно незлобивым нравом. Впрочем, с приходом издателя Клэренса Джоунса, купившего ее в июне 1971 года за два миллиона долларов, газета стала больше писать на темы, волнующие черную бедноту: о безработице, наркомании, переполненных школьных классах, о необходимости тюремной реформы... В редакционном зале среди прочих любопытный плакат: «Эволюция грядет!» (нетрудно понять, элегантно отточенное острие полемики метит в адрес тех, кто считает, что грядет революция). Еще один плакат, претендующий на символ веры, правда, кредо это больше напоминало кредит: «Black power!» — в который раз в Америке увидели мы этот лозунг. Однако трактовка его была своеобразной. Под решительной надписью «Власть черным!» — черный кулак, решительно сжимающий зеленые купюры.

«Отче наш...» Молитва умеренной черной газеты, верящей в Христа, и в равенство, и в доллар, видимо, возымела действие. Воскресенье, 12 сентября, прошло спокойно. Кровавая баня разразилась утром в понедельник... Речь об Аттике.

Но почему Аттика? 43 жертвы полицейского террора давно уже похоронены, а сотни ран залечены. И все же главная рана не закрылась. Конечно, случай, что именно эта захолустная тюрьма оказалась на перекрестке самых важных для Америки движений. Но то, что драма разыгралась именно в тюрьме, закономерность.

Тема тюрем сфокусировала на себе внимание самых разных слоев американской публики. Кандидаты в президенты вставляют в свои предвыборные программы ту или иную трактовку вопросов права. «Сан-Квентин, я ненавижу каждый дюйм твоей тюрьмы...» — пел Джонни Кэш, знаменитый исполнитель так называемой «country music» — «деревенской» народной музыки. «Долой тюрьмы! Свободу политзаключенным! — под

этим лозунгом выступают левые течения, организации и группы.

Важнейшим звеном в борьбе прогрессивной Америки считала кампанию за прекращение политических репрессий Анджела Дэвис.

Процесс шел за процессом. Судилище за судилищем. Над «соледадскими братьями», над братьями Берриганами, над Бобби Силом и Эрикой Хаггинс, над Хью Ньютоном, над «сиэтлской шестеркой», над «чикагской семеркой», над «кейтонсвильской девяткой». Над «пантерами», над священниками, над студентами. Наконец, самый одиозный процесс тех дней — над самой Анджелой Дэвис.

А при чем тут Аттика? Не слишком ли далеко Анджела от Аттики? Аттика на севере штата Нью-Йорк, Сан-Хосе — это штат Калифорния, крайний запад, берег другого океана. Анджела была политической заключенной, Аттика же — уголовная тюрьма. Но, между прочим, как остроумно заметила американская коммунистка Беттина Аптекер, на словах в США нет политических узников, есть только «террористы», и те, кто «осуществляет уголовное насилие». В Америке нет даже «заключенных» («prisoners»), а есть только «inmates» (что-то вроде «людей на содержании»). Естественно тогда, что в Америке нет и тюрем, а есть исправительный департамент и есть «исправительные заведения», можно сказать, «удобства» («correctional facilities»), оснащенные «образовательными программами», «добровольным обучением» и необходимой «психиатрической терапией». Аттика — это выходит тоже не тюрьма, а «удобство», как и Соледад, Фолсом, Сан-Квентин, по которым мыкался Джордж Джексон, пока его не убили.

То, что Анджела была узницей политической, оспорить невозможно, но «штат Калифорния» обвинил ее в уголовном преступлении — «соучастии в убийстве». Джордж Джексон, «соледадский брат», был узником политическим, но первоначально в тюрьму он попал действительно за мелкое уголовное преступление. Аттика — уголовная тюрьма, но бунт ее заключенных был актом политического отчаяния. На площади Аттики — не той, что послужила ложноклассической декорацией к сегодняшней американской трагедии, а подлинной — древние греки упражнялись во владении искусством метафизики и диалектики. Не в меньшей степени древнее искусство это необходимо и тем, кто окажется сегодня на площади перед американской тюрьмой...

В «Амстердам ньюс» нас принимал Дик Эдвардс. По-нашему, он ответственный секретарь редакции. Но главное не в этом.

«Амстердам ньюс» была единственной газетой, чьих представителей пригласили к себе взбунтовавшиеся заключенные. (Из всей большой прессы они невольно доверяли только черной газете.) Кроме Дика Эдвардса и фоторепортера «Амстердам ньюс», в «блоке Д» побывали лишь два черных кинооператора с телестудии в Буффало, а также на личной основе — обозреватель «Нью-Йорк таймс» Том Уикер. (Этот либеральный журналист и писатель с сочувствием пишет о проблемах черных и национальных меньшинств. По требованию узников он был включен в так называемый «комитет наблюдателей», пытавшийся посредничать между бунтовщиками и властями.) К их свидетельствам я и буду прибегать в первую очередь. Разница только в том, что Дик Эдвардс лично рассказывал нам о том, что он видел за стеной.

Бунт произошел в четверг, 9 сентября, когда более 1000 заключенных вышли из повиновения. «Блок Д» — один из четырех блоков тюрьмы — стал «освобожденной территорией Аттики». В плен были захвачены 32 охранника. Восставшие объявили их заложниками и предъявили администрации длинный список в 30 требований. Полной неожиданностью для властей они не были. За два месяца до взрыва заключенные направили петицию на имя главного полицейского комиссара штата Освальда. Она мало отличалась от того, что появилось на свет в четверг бунта.

Больше того, задним числом писали, что не чуравшийся новых веяний Освальд, дескать, сам склонялся к необходимости введения ряда реформ в духе того, что требовали отчаявшиеся узники. Однако либеральный Освальд тянул время, говорил, что нельзя спешить, что он не хочет нового Сан-Квентина. Взамен он получил Аттику.

С четверга бунта до понедельника расправы сохранялось тревожное статус-кво. В какой-то момент могло даже показаться, что в переговорах достигнут прогресс. Но так только казалось.

Уже наготове стояли части национальной гвардии. Позже губернатор штата скажет, что «они находились на федеральных учениях, которые кончились в четыре часа дня — не то в субботу, не то в пятницу, и мы их задержали». А еще он скажет, что «окончательное решение о применении силы было принято в воскресенье днем на случай, если дальнейшие переговоры потерпят провал».

Дальнейшие переговоры потерпели провал тогда, когда у властей было все готово. Они ведь и велись только для того, чтобы выиграть время, чтобы найти повод. На расстоянии это было не так заметно. Но в тюрьме и на площади перед тюрь-

мой вещи были видны в истинном свете. Полицейские и национальные гвардейцы играли свои роли без масок.

Дик Эдвардс рассказывает о том, как к тюрьме подъехал Бобби Сил (председателя «черных пантер», самого только что вышедшего из заключения, заключенные пригласили в комитет посредников). Семьи заключенных и хиппи, собравшиеся у входа, приветствовали недавнего узника, проходившего, как сквозь строй, сквозь полицейские проклятья и угрозы. «Черт побери, какой позор, — пробормотал один из стражей порядка,— эта черная скотина так близко, до него рукой можно достать. Пальнуть бы сейчас и выбить ему мозги к чертовой матери».— «Ты только посмотри на этих негролюбов, этих белых сукиных сынов, которые липнут к нему, будто он сахарный. Боже, с каким удовольствием я бы высадил ему мозги»,— откликнулся другой.

В субботу утром репортеров, столпившихся у ворот тюрьмы, вдруг охватил приступ кашля, в глазах у них защипало. «Какой это газ используют ваши гвардейцы?» — спросили репортеры человека с вдвойне нелепой в данных обстоятельствах фамилией Хулигэн, тюремного чиновника по связям с прессой. Растерявшийся Хулигэн нашелся не сразу. «Газ?.. — переспросил он.— Какой газ? Это трава так пахнет. В это время года ужасно пахнут цветы».

Да, это были цветочки, ягодки были потом.

«В воздухе витала смерть»,— напишет позже в своем траурном репортаже Дик Эдвардс. Это чувствовал и другой журналист-свидетель Том Уикер. Это чувствовал и левый адвокат Канстлер. Это чувствовали все, кому выпала хоть малейшая роль в аттикской трагедии.

Сразу после трагедии Аттику окрестили «внутренним Сонгми». Сравнение прижилось, слова «Аттика» и «Сонгми» вместе мы видели не раз на плакатах и в листовках. И все же первым, кто соединил их, был, пожалуй, один из заложников. «Скажите им, чтобы они убрали с вышек и крыш всех этих людей с автоматами. Здесь будет почище, чем в Сонгми».

Смерть витала в воздухе.

«...Как звали капитана фараоновой гвардии?»

Атакой национальных гвардейцев и полицейских «фараонов» командовал капитан полиции Генри Уильямс. С газетного портрета маленькими, заплывшими от жира глазками смотрит одутловатое, без намека на выражение лицо. Невольно вспоминается оскорбительная кличка, которую «черные пантеры» дали полицейским, и уже по ассоциации язвительный плакат, выставленный во многих магазинчиках «хиппи-культуры» в Нью-Йорке: «Свиньи — это прекрасно!» Утром черного понедельника на «по-

ле боя» были чины и повыше капитана полиции, но непосредственные команды атакующим эшелонам давал он. Но сам-то он не мог действовать без приказа.

Приказ об атаке отдал либеральный комиссар Освальд.

Впрочем, судя по всему, сам он был лишь передаточной инстанцией. Расправу санкционировал губернатор Нельсон Рокфеллер, тоже, к слову сказать, всегда пользовавшийся репутацией либерала. Освальду он заявил: «Делайте, что считаете нужным, я вас поддержу». Позицию губернатора, в свою очередь, одобрил президент Ричард Никсон.

Но до понедельника приказа не было. Не было повода. И тогда его выдумали.

Заместитель главного полицейского комиссара штата Данбар объявил, что заключенные зверски расправились с несколькими заложниками. Не отягощенный либеральными комплексами своего начальства, он уточнил «детали». Одного заложника бунтовщики выбросили в окно. Одного кастрировали. Дотошный Данбар назвал его имя — Смит — и не жалел подробностей. Остальным перерезали глотки.

Это была ложь. Все окна аттикской тюрьмы зарешечены, и выбросить человека физически невозможно. Если можно выбросить человека в окно, значит, через него можно и вылезти, а «исправительные удобства» рассчитаны вовсе не на это. Кому-кому, а Данбару это должно было быть известно. Десять заложников действительно погибнут, но не от ножей «озверевших» заключенных, а от пуль озверевших гвардейцев, когда им будет дан приказ «пли!». Чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищной... Эта вдобавок была еще и скоротечная ложь, ложь на один день. Через день она не могла не открыться, но через день уже было поздно, все было кончено.

Да, расправа была скорой. Власти потом заявят, что взвод снайперов получил приказ открыть прицельный огонь по тем заключенным, «палачам», которые-де стояли над связанными заложниками с ножами у горла, как только с вертолетов во двор «блока Д» будут сброшены канистры с газом. Это была тоже ложь, уже рангом поменьше, так сказать, подложь, в развитие главной. Официальным предлогом для атаки было спасение жизней заложников, но о них-то забыли, вернее, о них даже не думали. (Точно так же в мае 1980 года в Белом доме забудут о жизнях других американских заложников, когда отдадут приказ о налете на Тегеран. Только провал вертолетной авантюры в самом начале спасет жизни им и сотням, если не тысячам иранцев.) В оранжевом тумане газа, окутавшем тюремный двор, отличить на расстоянии заключенных от бывших

стражников было невозможно. И те и другие были одеты в серо-белые мешковатые арестантские балахоны. Впрочем, была одна деталь, безошибочно их разнившая,— лица: у заключенных они были преимущественно черные и смуглые, у заложников — белые. В Аттике не было ни одного охранника, врача, представителя администрации не белого — черного или пуэрториканца.

Капитан «фараоновой гвардии» грамотно построил бой. У заключенных были палки, резиновые дубинки, отнятые у захваченных охранников, бейсбольные биты, куски труб. Приближаться к ним и разглядывать лица не имело никакого смысла. Гораздо надежней было просто стрелять в серо-бело-оранжевое месиво. «Снайперский огонь» велся из автоматического оружия, из дробовиков, которыми были вооружены некоторые гвардейцы и мобилизованные помощники шерифов. (Потом у поля бойни журналисты нашли несколько коробок из-под разрывных пуль и даже одну из-под картечи с инструкцией: «годится практически на любого зверя».)

В часы томления перед атакой один из национальных гвардейцев сказал Дику Эдвардсу: «Готовимся к охоте на индеек». В 9.48 утра солдаты ворвались в коридор, где за несколько минут до этого еще находились члены комитета посредников, а к 11 часам власти уже объявили, что тюрьма очищена «в основном».

А потом началась пора другой операции — по обработке общественного мнения. Мертвых предали земле. Пресса принялась старательно разравнивать землю и засевать ее скороспеющей травой забвения. Делалось это испытанным, не раз отработанным способом. Думаете, печать играла в молчанку? Напротив, она играла в откровенность и всестороннюю заинтересованность.

Сто тысяч «почему» и «что было бы, если бы» обрушилось на публику. Невольно создавалось впечатление, что вопросы ставятся не для того, чтобы получить ответы, а чтобы ставить вопросы. Единственный ответ, который давала печать: нужно расследование. И вот уже губернатор, благословивший приказ «пли!», дал указание провести расследование. Законодательное собрание штата Нью-Йорк объявило о самостоятельном расследовании. Член палаты представителей Клод Пеппер возглавил комиссию конгресса по расследованию. Действия «фараоновой гвардии» тоже не остались вне расследования. Расследовать их было поручено капитану Уильямсу — тому самому...

Из способа поиска истины и достижения справедливости расследование превратилось в самоцель, в собственную противопо-

ложность, в способ их замазывания. Ни истина, ни справедливость уже вроде бы никого не волнуют. Есть только их видимость, знак, символ — расследование.

Это только отсталые тоталитарные режимы замалчивают истину. Развитая буржуазная демократия предлагает публике на выбор сразу 100 истин: черную и красную, белую и серо-буро-малиновую — на любой цвет и вкус. Но истина-то одна! И тогда на сцене появляется и. о. истины — мнения. Их может быть действительно сколько угодно. Ничего, что они порою противоположны. Это даже хорошо: сталкиваясь, они уничтожают друг друга.

Вот написанная для «Нью-Йорк таймс» статья несравненного Спиро Агню — вице-президента США и надежды правых. (То, что он к тому же и взяточник, то есть уголовник, если хотите, выяснится потом.) В аттикской трагедии, вещал этот пока еще не разоблаченный громовержец, виноваты «радиклибы» (термин его собственного сочинения, презрительно синтезированный из слов «радикалы» и «либералы»). «Несмотря на отдельные недостатки, теория американского уголовного права и тюремная система принадлежат к числу самых гуманных и современных. Сравнивать жизни тех, кто нарушил закон, с жизнями тех, чья работа — охранять его, оскорбление не просто чувств людей, но и самого разума».

«Анализ» аттикской трагедии завершен. Нужно ли вице-президенту расследование?

А рядом на газетной странице тихий голос либерала. Он говорит довольно справедливые вещи о расизме в американских тюрьмах и в жизни. Но сколько же можно повторять даже справедливые вещи? Ведь самые точные и злые слова от бесчисленных повторов выхолащиваются, превращаются в собственные бледные тени.

Ежегодный конгресс ассоциации патрульных полицейских считает, что губернатор «заслуживает высшей степени восхищения со стороны каждого гражданина, которому дорого американское наследие». Ну а как же жертвы? Оказывается, десятки убитых и множество раненых — это еще «небольшая цена за справедливость».

«Аттика была нашим внутренним Вьетнамом. Мы оправдали смерть и разрушения стремлением соблюсти закон и порядок...» — пишет письмо в редакцию Джон Уэр-младший из Чзтема. Какой же вывод? «Мы не должны забывать, что все люди на земле братья...» «Нельзя допустить, чтобы трагедия в Аттике отбросила назад прогрессивную реформу судебно-исправительной системы,— искренне волнуется Д. Макнамара, профессор

криминалистики.— И нельзя допустить, чтобы из комиссара Освальда сделали пугало...»

Впрочем, может, точней сравнить всю эту пропагандистскую операцию с модной в ту пору в политике игрой — пинг-понгом? Газета «Нью-Йорк таймс» предоставила слово вице-президенту США Агню и черному мэру Ньюарка Гибсону, губернатору-реакционеру Рейгану и Анджеле Дэвис. И публика, затаив дыхание, смотрела, как белый шарик истины мелькал справа налево, слева направо, пока не превратился в сплошную белую линию и не пропал. Чудо и фокус демократии свершились: на глазах у почтенной публики истина бесследно исчезла.

Ну а во что же в конечном счете вылились все прекраснодушные и не очень прекраснодушные предложения и рекомендации? Губернатор объявил о том, что в ближайшие несколько лет штат ассигнует 220 миллионов долларов на полную реконструкцию своей тюремной системы. Это, так сказать, программа-максимум. Программа минимум: немедленно построить тюрьму с «максимально-максимально» (цитата) строгим режимом для «неисправимых». Это решение принято не просто так, но «по настоянию» профсоюза тюремных охранников, в который входит в штате Нью-Йорк 8 тысяч человек. Хвала тебе, о совершеннейшая из демократий, распространившаяся даже на тюрьмы! В случае, если их требование не будет удовлетворено, профсоюз тюремщиков пригрозил устроить всеобщий «лок-ин».

Вы не знаете, что такое «лок-ин»? Поясню. Это неологизм, противоестественный гибрид, слово-василиск с телом животного и головой петуха.

Что такое «локаут» — буквально: «запер и вон»,— вы знаете, это старое оружие предпринимателей против строптивых рабочих. Предприниматель закрывает предприятие и выбрасывает рабочих вон, на улицу. Что такое «сит-ин» — буквально: «сидеть внутри», — вы знаете тоже. Это уже из 60-х годов — оружие забастовщиков-студентов, и не только их. В знак протеста студенты занимают здание университета и «сидят в нем».

Ну а «лок-ин» нечто среднее между тем и другим.

Буквально «запер внутри», оно на деле означало, что тюремщики пригрозили запереть на замок все камеры всех тюрем штата и не выпускать заключенных ни на прогулки, ни на свидания, ни на религиозные службы — никуда, вплоть до выполнения их (тюремщиков) требования.

Три года спустя журнал «Тайм» расскажет, какие благотворные перемены произойдут в Аттике. Охранников переоденут в синие «блейзеры» и серые брюки. Причем из 419 элегантных

фигур 27 будут черными и 7 латиноамериканцами — революция прямо. День рождения Мартина Лютера Кинга — апостола ненасилия — будет приравнен к праздничным дням. Спортивной команде заключенных выдадут футболки с надписью «Аттикские тигры»... Правда, революция эта относится, скорее, к области тюремной формы, чем тюремного содержания, но зато на ее фоне не так заметно пройдет другое сообщение. В Буффало осенью 1974 года начали судить аттикских бунтовщиков. 61 человеку — 20 заключенным и 41 бывшему заключенному — предъявили 1400 пунктов обвинения в убийстве, похищении, нападении. Эволюция продолжалась...

А как же разбирательство главного преступления — происходившей на глазах у нации расправы над Аттикой? Должны же быть виновные в трагедии, когда на сцене остались 43 трупа? О, разбирательство шло своим чередом. То есть годами топталось на месте, вытаптывая до неузнаваемости место преступления, ползло, ковыляло, костылями закона, мертвыми параграфами процедуры заколачивая перед собой дорогу к истине. При соблюдении всех норм не просто гласности — громогласности цель расследования была темна — тянуться до бесконечности, до головокружения у публики, до тошноты, чтобы в конце концов умереть собственной смертью ко всеобщему облегчению.

Неожиданности случались. Живая жизнь прорывалась сквозь нагромождения официального абсурда, но ее тут же душили в объятиях все той же самовластной буквы. В какой-то момент не выдержал помощник прокурора по делу об Аттике Малькольм Белл. Он обвинил своего непосредственного шефа Энтони Симонетти в сознательном сокрытии преступлений аттикских стражей порядка. Думаете, ему заткнули рот? Правильно думаете — но самым мягким и модным кляпом. Тут же назначили комиссию... по расследованию его обвинений. Не прошло и года, как комиссия вынесла свое суждение на 130 страницах. Оказывается, «намеренного сокрытия со стороны прокурора» не было, но «ошибки в суждениях» привели к «дисбалансу в действиях» — формулировочки не без резины. Вывод? Нужно новое расследование и возможно пересмотр ряда обстоятельств.

Малькольм Белл тем временем уже не помощник прокурора. По поводу происшедшего он только разводит руками: «Я как тот прохожий, которого угораздило попасть в бандитский налет, а потом появляется следователь и сообщает ему, что деньги, увы, исчезли и трупы на трупах лежат, но никакого налета не было и в помине...» Отлученный от следствия Белл в сер-

дцах сел за книгу об Аттике. Назвать ее он решил так — «Стрельба по индейкам».

...Своих мертвых разгромленные бунтовщики хоронили под звуки старой песни рабов «О, Свобода!».

Нет, не надо изображать заключенных Аттики агнцами или ангелочками.

В субботу или в воскресенье трое заключенных были убиты «своими же». Причем, как показало потом медицинское обследование, каждое из тел хранило следы множества ножевых ран. Все трое были белыми... Но вот их характеристики. Барри Шварц, осужден за убийство, даже у тюремной администрации пользовался репутацией ярого негроненавистника. Майкл Привитера, осужден за убийство, в тюрьме создал своеобразный синдикат подпольных игр и обирал остальных заключенных как липку. Взломщик Кеннет Хесс был прихлебателем и правой рукой Привитеры. Нет, «своими» они не были.

Бунт — штука уязвимая. Особенно бунт за решеткой. Тюрьма везде тюрьма, по доброй воле туда не попадают. Но я ведь не собираюсь реабилитировать за былые преступления.

Наряду с более или менее разумными требованиями бунтовщики выдвинули и такое: право выезда в неимпериалистическую страну. Требовать этого было так же реалистично, как скажем, транспортировки на Марс. И все же это было по-своему логичное требование, его сформулировала логика отчаяния. Бунт — стихия, которой движет отчаяние.

Тюрьма — институт социальный, и бунт в тюрьме по-своему отразил напряженность, взрывчатость социальных конфликтов. Аттика стала срезом общественной атмосферы, отравленной расизмом, ненавистью, жестокостью.

В те дни события в Аттике явились страшным шоком для честных, левых и либеральных американцев. Я помню митинг, который шел в Нью-Йорке. Традиционная полицейская линия — конные и пешие полицейские — в черных блестящих накидках из-за дождя. Транспаранты: «Мсти за Аттику!», черные терновые венцы из букв «Аттика». Множество людей в костюмах ветеранов вьетнамской войны, кое-кто из них на костылях. Лица в основном молодые, белые, черных — пять-шесть, не больше.

Страстные ораторы сменяют друг друга.

«...Почему сейчас в одно и то же время, в одном и том же городе идут два митинга, а не один: у нас и в Гарлеме? В Аттике отчаяние сплотило черных и белых. Мы тоже должны из нашего отчаяния построить баррикаду единства по всей стране. Мы решили выйти на марш протеста в четверг, давайте выйдем на него вместе, черные и белые вместе. Как в Аттике».

«...Аттику породил тот же порядок, что и гибель соледадских братьев, расправа в Уоттсе, Чикаго, в Кенте, в Сонгми. В следующий раз мы будем сражаться яростней. А сейчас давайте собирать убитых, целовать их, улыбаться, сжав зубы. Слезы прибережем до победы».

Это сказала девушка. Белокурые длинные волосы струями дождя лились по ее плечам. За месяц до этого, 21 августа, узнав о гибели в сан-квентинской тюрьме Джорджа Джексона, Анджела Дэвис сказала буквально то же самое: «Плакать не будем. Слезы прибережем до победы».

ДВАДЦАТЬ ОДНА МИНУТА ИЗ ЖИЗНИ «СОЛЕДАДСКОГО БРАТА»

«Все мы станем заключенными». Так назвал свою «пинг-понговую» статью в «Нью-Йорк таймс» Рональд Рейган, тогдашний губернатор Калифорнии.

Что же вещал Рональд Рейган?

«21 августа 1971 года шесть человек погибли в результате попытки бегства из калифорнийской сан-квентинской тюрьмы. Не успело утихнуть над сценой трагедии эхо стрельбы, как революционные пропагандисты принялись за работу, пытаясь создать новых народных героев. Они объявили миру, что один из убитых был «политическим узником», которого следует оплакивать, так как он был «жертвой угнетательской и продажной системы».

Вывод: «Все мы станем заключенными...», если дать волю «революционным насильникам». Рейган апеллирует к кулаку, стращая обывателя пугалом «тоталитарной угрозы». В идеальном государстве Америке, которое воплощает чаяния всех ее граждан, нет политических заключенных и уголовных заключенных, есть только уголовники, и тот, кто проповедует необходимость перемены строя насильственным или иным путем, не отличается от грубого насильника. Таково кредо ультра в широком, социальном плане. В узком же смысле, «исправительная система нашего штата представляет собой образец, которому должны следовать другие штаты и нации». Вот так-то. Даже тюрьмы и те предмет для подражания и зависти остального мира. Ну что ж, заглянем в калифорнийские тюрьмы. Лучшего провожатого, чем покойный Джордж Джексон, не найти.

Доподлинно то, что произошло 21 августа 1971 года в сан-

квентинской тюрьме, неизвестно. Самая распространенная (и официальная) версия гласит следующее.

Была суббота, Джордж Джексон должен был встретиться с одним из своих адвокатов, белым Стефеном Бинхэмом. После обычной процедуры обыска в сопровождении охранника Джордж вошел в камеру для свиданий, а когда время встречи истекло, так же под охраной возвращался в свою камеру. В административном зале охранник неожиданно заметил в высокой прическе Джексона что-то похожее на карандаш. «Что это?» — спросил он Джорджа. В ответ Джордж выхватил из курчавой шапки волос карандаш, оказавшийся пистолетом 9-миллиметрового калибра со снятой рукояткой, и направил дуло на охранника. Двадцать пять заключенных с соседней «галерки» были освобождены уже через несколько мгновений. Пролилась кровь. Три захваченных в плен охранника и два белых заключенных — оба «стукачи» — были заколоты. Заревели сирены тревоги. В ту же секунду Джексон выскочил из здания тюрьмы и по открытой территории двора бросился к стене.

Увитая проволокой каменная стена высотой в шесть метров с лишним, да до стены метров семьдесят. Шансы спастись равны нулю. Один из журналистов назовет потом этот бег самоубийством... По бегущему открыли огонь с двух вышек. Бунт, освобождение, месть, «попытка побега» и гибель — все вместе заняло двадцать одну минуту.

Впрочем, мать Джорджа Джексона считает, что это полицейская легенда, с ее сыном просто расправились. «Он был мужчина, и его убили», говоря словами черного поэта Стерлинга Брауна.

Ну а теперь начнем с самого начала.

В тюрьму Джордж попал по статье «грабеж». Суда над ним не было, поэтому официального протокола, который бы зарегистрировал то, что произошло, не существует, а разные полицейские и тюремные инстанции имеют разные версии. Известно, однако, что Джордж с приятелем подъехали на машине к бензоколонке. Потом, по одной версии, Джордж остался за баранкой, а приятель, угрожая пистолетом, «очистил» кассу. В кассе был 71 доллар. По другой версии, деньги требовал сам Джордж, вооруженный игрушечным пистолетом своего младшего брата... Так или иначе, полиция назвала этот грабеж «наивной любительской попыткой». Их обнаружили тут же по номеру автомобиля.

Потом должен был состояться суд, но администрация предложила молодому преступнику сделку. Он без суда признает себя виновным, а ему взамен дадут небольшой срок.

Молодой священник из Чикаго, посвятивший жизнь борьбе против судейских несправедливостей, разъяснял мне механику этой операции. Сделка об автоматическом признании без суда в обмен на обещание милосердия предлагается каждому мелкому преступнику. На первый взгляд она кажется взаимовыгодной, хотя при чем здесь справедливость, если речь идет о чистой торговле — задает риторический вопрос отец Хилл. Власти экономят на издержках, а они довольно велики. Подсчитайте, тринадцать членов жюри, по десять долларов в день на брата, процесс займет несколько дней, в общем, полторы тысячи на процесс графство должно выложить, даже если иск равен каким-нибудь 20—30 или 71, как в случае с Джорджем, долларам. Преступник чаще всего выходец из бедной семьи, черный или пуэрториканец. Денег на адвоката у него нет, а жюри, составленному в большинстве случаев из белых представителей средних слоев, он инстинктивно не доверяет. Он склонен пойти на сделку с судом — такую простую и очевидную. Однако, если даже приговор будет действительно мягким, осужденный все равно окажется проигравшей стороной. Он попался на крючок, за который его в любой момент выдернут. Предположим лучший исход: его осудят условно или выпустят на поруки. Без разрешения полиции он не может поменять местожительство, работу, не может жениться и даже сесть за руль автомобиля. Самое мелкое прегрешение и старый грех припоминается, и ему припаивается срок уже на полную катушку.

Так объяснял мне отец Хилл.

Но Джорджа обманули вдвойне. Своего обещания власти не сдержали. Приговор ему был страшным: от одного года до пожизненного заключения. Юридические доки и полицейские крючкотворы Америки гордятся этой своей правовой находкой, считают ее исключительно прогрессивной: ведь если преступник исправится, то уже через год он вернется к нормальной жизни. На практике же это легальное обоснование и оправдание бесконечного произвола.

Так, за тридцать пять с полтиной у Джорджа купили жизнь.

Все, кто боролся за «соледадских братьев», как называли себя узники соледадской тюрьмы, обращали внимание на эту циничную арифметику. В отношении Джорджа Джексона справедливость была нарушена самым трагическим образом.

И все же трагедия Джорджа Джексона состоит даже не столько в несоразмерности преступления и наказания, сколько в неотвратимости его гибели. Он был обречен с самого начала. Таким, каким он был, он должен был попасться. Таким, каким он стал, он должен был погибнуть.

Попав в тюрьму как уголовник, он стал политическим узником, бунтарем. Велик соблазн выпятить на первый план его героический конец, начало же, рисующее его в невыгодном свете, пригасить. Но это будет не только нечестно по отношению к фактам и несправедливо по отношению к Джорджу. Главное, мы невольно обедним реальную картину.

«Я мог бы затушевать тему преступности в моей жизни, но тогда это был бы уже не я»,— пишет сам Джордж в своих письмах из тюрьмы. Случай на бензоколонке не был случайностью.

Вот его детство:

«Мы чуть не разорили лавочников нашего квартала. Мать и отец, конечно, ни за что этого не признают, однако я был постоянно голоден и все остальные тоже. Мы воровали все: сначала еду, а потом и вещи — перчатки (у меня всегда мерзли руки), шарики для рогаток, игры и всякое туристское снаряжение из десятицентового магазинчика».

Он был лихим, бесшабашным мальчишкой. В пятнадцать лет он вымахал под метр девяносто и весил уже под восемьдесят килограммов. Физическая сила и выносливость не раз спасали его и на воле и потом в тюрьме. Но он был черным мальчишкой из чикагского гетто, и этот факт был решающим. В глазах взрослых белый парнишка, укравший пирожок с лотка или наворовавший яблок в чужом саду,— смельчак, лихач, в худшем случае хулиган. Черный парень — это вор, преступник.

Двойной стандарт, двойная мерка и мера ценностей преследуют его на всем пути.

Конечно, у черного мальчишки в гетто больше шансов попасть на крючок толкача наркотиков или в воровскую шайку. Бедные матери в гетто еще пуще стараются уберечь своих беспутных сыновей от дурной компании, но улица оказывается почти всемогущей. Да, преступность воспроизводит преступность. Но это только грань истины. Порождают преступность социальные проблемы. В поисках лучшей жизни в промышленные гетто стекаются самые бедные, самые обездоленные. Они бегут с Юга, из деревни, с хлопковых плантаций, а попадают в грязный и шумный город, в гигантские цехи сталелитейных или автомобильных заводов, без профессии, без соответствующих привычек, без навыков. Деклассация и психологический шок не проходят даром. А тут еще нищета, трудности с работой. Вот почему в гетто распространены преступления «первой стадии» — ради выживания.

Так мы получаем часть ответа. Отец семейства, которое он не может прокормить из-за отсутствия профессии или работы, укравший ради куска хлеба, все равно преступник уголовный.

Но в определенном смысле он жертва социальная, политическая. Жертва обезличенного экономического расизма.

Это не значит, что черный человек совершает преступление только из-за голода или абсолютной нужды, хотя американские ее рекорды поставлены именно в черных гетто. Нужда бывает и относительной, но от этого не менее реальной. В гетто она, как ни в каком другом месте, наглядна.

Конечно, и тут есть свои низы и свои верхи, свои улицы нищеты и свои приличные кварталы — социальные контрасты не минуют и гетто, хотя ясно, что, выбившись «в средний класс», черные семьи при первой возможности стараются переехать в более благоустроенные и престижные районы. И все же гетто — это город в городе, оазис наоборот, чума во время пира.

Попробуйте внушить жителю гетто, что он живет хорошо, на на том основании, что черные где-нибудь в Нигерии или даже белые где-нибудь в Греции живут хуже него. Он родился и умрет в многоэтажной коробке каменных трущоб, и ему не легче оттого, что за океаном существуют еще деревянные развалюхи. Гораздо больше его волнует, что в его родном городе, буквально на соседней улице, по ту сторону черно-белой черты оседлости, его белые соотечественники живут в домах, которые в два раза лучше, просторней и чище. И эта естественная мысль о второсортности, комплекс невольного жителя лепрозория давит не слабее, чем экономический расизм. Почти обязательной чертой мироощущения черного жителя гетто становится неотвязное ощущение того, что мир белых его ограбил. А обездоленность вопиет о реванше и мести. Отсюда уже недалеко до опасной идеи, которая осеняет самых отчаянных, что воровать у черных, может, и грешно, но грабить белых — акт возмездия, восстановление попранной справедливости.

«В моем воображении брат помогал мне ограбить мир белых, и отец гордился этими подвигами»,— пишет Джордж Джексон о поре своей юности.

Белый расизм калечит не только белых, он подминает и черных, порождает черный расизм.

«Черные, родившиеся в США и сумевшие дожить до семнадцати лет, спокойно принимают неизбежность тюрьмы — это обусловлено всем их прошлым,— пишет Джордж Джексон.— Для большинства из нас она просто маячит как очередной этап в последовательной цепи унижений. Я родился рабом в порабощенном обществе и никогда не имел реальной основы, чтобы строить свое будущее, а потому был уже подготовлен к нарастающей веренице душевных травм и невзгод, которые при-

водят к тюремным воротам стольких чернокожих. Я был готов к тюрьме».

И он попал в тюрьму.

И в тюрьме он стал тем Джорджем Джексоном, которого узнала страна.

Вот как он жил.

«Поскольку все заботы о моей еде и крове взял на себя штат, я получил возможность полностью сосредоточиться на наиболее важных и значимых вопросах. Так я стремлюсь обратить то, что происходит со мной сейчас, нам на пользу, не дать им обессилить и уничтожить меня, как им хотелось бы. Тебе известно, что такие заведения, а в особенности это, либо пробуждают в человеке все его лучшие качества, либо полностью его губят».

«Я делаю набеги на политическую экономию, географию, формы государственного устройства, антропологию, археологию и на основы трех языков, а кроме того, изучаю — когда мне удается их раздобыть — некоторые из работ по ведению партизанской войны в городских условиях».

Вот чем он жил.

«Хотя мне очень хотелось бы выбраться отсюда, чтобы развить кое-какие сложившиеся у меня идеи, хотя мне вовсе не хочется оставить свои кости здесь, на холме, но если мне придется выбирать между этой возможностью и отречением от всего того, что делает меня человеком и позволяет мне держать голову высоко и не склонять ее, тогда... пусть холм заберет мои кости. Много раз на протяжении всей нашей истории — я говорю об африканцах, живущих здесь, в Соединенных Штатах,— много раз нас ставили перед этим выбором, и слишком часто, слишком многие из нас соглашались влачить жалкое существование получеловека...»

«Пенни (сестра) снова побывала здесь на прошлой неделе. Она научила своего малыша говорить «дядя Джордж», и вот около двух часов по всей камере для свиданий звенело «Дядя Джордж, дядя Джордж». Но я вовсе не был этим доволен. Я попытался переучить его на «товарища Джорджа», однако он так и не понял, чего я от него хочу. А «дядя Джордж» слишком напоминает «дядюшку Тома» (нарицательное имя чернокожего соглашателя.— *А. П.*).

«Выбрось из головы затхлый вздор о боге, которым пичкают нас на Западе. Я проклинаю бога, сама мысль о некоем творящем благо высшем существе — продукт больного, искалеченного сознания. Это надуманная, бессмысленная попытка оправдать невежество, это орудие, помогающее приструнить мало-

грамотных людей, лишенных средств производства. Идея хорошего справедливого бога — это обман, приманка для слабоумных, для старых бабок и, конечно, для негров. Это пережиток тех далеких времен, когда человек еще учился говорить, пытался оградить себя от морских драконов и думал, что земля плоская».

«Есть способ косвенного определения предателя: заставить его высказаться о враге наших врагов... Трусливые псы нападают на левых белых... которые хотят помочь нам уничтожить фашизм... Черпая буржуазия (псевдобуржуазия), черные правые священники, воинствующие оппортунисты заманили нас в ловушку, обессилили нас... Я десять лет сижу здесь и наблюдаю все это дерьмо. И всегда на другой стороне — одни и те же черные! Я убежден, зто не случайно. Понимаешь, они не с нами, а против нас.

А на кого работает черный, кого защищает, когда бросается в драку с воплем «Бей их!». Он хотел бы ввергнуть нас в заваруху, в которой на каждого из нас приходилось бы по четырнадцать врагов (считая и тех черных, которые стали бы драться па стороне противника и в расовой войне). Война под лозунгом «Бей их!» — зто еще одна иллюзия, если не прямая фашистская провокация, точно не знаю, я ведь не ясновидящий: я не способен читать мысли — по крайней мере все, и в любом случае я знаю таких белых, которых никак не считаю врагами. Но даже если бы все белые были моими врагами, было бы безумием вступать в драку с ними со всеми одновременно, ведь так? Безоговорочное осуждение белой расы как таковой только сбивает нас с толку, связывает нам руки. Убеждение, будто все белые — наши враги, а все черные — наши братья (и следовательно, верны и надежны), попросту глупо и указывает на тупоумие (и это еще мягкое определение, ведь не исключено, что здесь может действовать фашистский заговор). Откуда тогда берутся черные полицейские? А ведь в убийстве Хэмптона и Кларка принимали участие шестеро из них. А черные парашютисты (тоже боровы, и больше ничего), которые подавляли детройтский мятеж? И откуда берутся черные псевдобуржуа, которых можно найти чуть ли не во всех правительственных учреждениях, где они верой и правдой служат идее превосходства белой расы, фашизму и капитализму?»

«По-прежнему думаю о себе как о черном и об африканце, но не успокоюсь, пока не стану революционером, причем без чувства самоотречения, жертвенности».

Немалый путь прошел черный сорвиголова, который когдато мечтал на пару с младшим братом ограбить мир белых.

Письма его, написанные в разное время, отразили не только его веру, но и сомнения, не только находки, но и потери, заблуждения. Странно было бы, если бы их не было у парня, занятого поисками пути в одиночку и в одиночке (семь с половиной из одиннадцати лет за решеткой он провел в камере строгой изоляции).

С жадностью изголодавшегося он набрасывался на книги о революции и войне и читал почти без разбора Маркса и Ленина, Хо Ши Мина и Че Гевару, Маркузе и Мао. Но он искал, и пуля тюремщика настигла его не в конце поисков.

Джексон слишком много страдал, и ненависть переполняла его.

«Если я выйду отсюда живым, то я ничего не оставлю позади. Они никогда не причислят меня к сломленным людям, но я не могу и сказать, что нормален. Мне слишком много лгали, и меня слишком часто оскорбляли. Они толкнули меня за черту, откуда нет возврата...»

«Это чудовище — чудовище, которое они взрастили во мне,— вернется, чтобы растерзать своего создателя, достать его из-под земли, из самой глубокой могилы. Отправьте меня на тот свет, путешествие в ад не переменит меня. Я приползу обратно... Им не сломить моей мести никогда, никогда. Я принадлежу к тем правым людям, в которых недовольство зреет медленно, но разъяренных их не остановить. У дверей врага нас соберется так много, что топот наших шагов заставит содрогнуться землю. Я собираюсь выставить ему счет за все, за двадцать восемь загубленных лет. Я собираюсь потребовать репарации кровью».

Былая дерзость уличного парня из гетто за годы тюремной одиссеи переплавилась в ненависть, ждущую мига, когда она извергнется гневом и яростью. Ненависть диктовала ему позицию. В интервью, которое Джексон дал в марте 1971 года, он говорил: «Да, я серьезно, действительно серьезно считаю, что фашизм захватил эту страну».

Крайняя терминология в ходу у многих левых и радикалов, белых в том числе. Их возмущает и бесит своеобразная тоталитарность американского общества, которая выглядит как тоталитарность наоборот. И право на протест вроде бы теоретически не оспаривается. Однако какие бы бури ни бушевали на американской сцене, какого бы накала ни достигали порой общественные страсти, рано или поздно непостижимым образом наступает затишье, мертвая зыбь. Как в болоте. Пучина оказывается трясиной.

Конечно, важно видеть разницу между тактикой физической расправы с несогласными и тонкими «демократическими»

методами обволакивания, раздробления и поглощения протеста, но сомнения не вызывает сам факт тотального подавления подлинной социальной оппозиции в нынешней Америке.

Кто-кто, а Джордж имел право на свою терминологию. Он из гетто, а в черных гетто власти всегда делали ставку на кулак, а не на эти изощренные демократические штучки. Блага неурезанной буржуазной демократии — они ведь исключительно для белого «среднего класса». Черная голь живет в другой стране — стране открытого террора, погромов и незамаскированного насилия.

Когда говорят: гетто — это тюрьма, гипербола невелика. Но Джордж Джексон провел всю свою сознательную жизнь в тюрьме без всякой гиперболы. Причем большую часть бессрочного своего срока в камере строгого режима, или, как он написал в одном из своих писем, «в тюрьме в тюрьме».

«Из Дахау, с любовью»,— заканчивал часто он свои письма. Могут, конечно, сказать, что он не объективен. Но он выстрадал свое право на обостренную, обнаженную субъективность, познав тройной гнет насилия: как черный, как преступивший закон и как бунтарь. Другой точки зрения на американское общество, кроме глазка одиночки, у него просто не было.

Можно спорить о взглядах Джорджа Джексона. Одно бесспорно: он стал личностью. В тюрьме он сделал себя. Закованный в цепи, он пытался обрести внутреннюю свободу, которую дают только выстраданные убеждения. Страх он потерял.

«Они в состоянии убить меня еще только раз (у кошек девять жизней, но я только начал мою девятую). А поскольку они, по-видимому, твердо решили отнять у меня и эту последнюю, мне терять нечего. Значит, и церемониться нечего. Во всяком случае, мне».

«Под тюремным замком, в этом каменном мешке, мое сознание все-таки свободно. Я не допущу, чтобы внешние условия привели меня в состояние, несовместимое с разумом и с моей главной целью.

И в еще большей степени это относится к миру за тюремной оградой, к миру, где находишься ты (письмо адресовано «дорогому Роберту» — отцу.— *А. П.*). Что, если у меня нечего будет отнять, чтобы причинить мне боль? Что, если человек так себя настроит, что никакая утрата материальных благ не будет способна причинить ему духовный ущерб? Такой человек свободен. Он лишен имени, облика, эмоций, любви. У него нет привычек, нет никаких слабостей плоти. Он путешествует налегке и в обществе только ему подобных и ставит обретение собственной личности выше бейсбола и пива. Только такие сво-

бодные духом люди могут обеспечить нам необходимое руководство на путях нашей лишенной наград жизни».

Но даже стоики нуждаются в толике простой, не метафизической свободы. И Джордж-человек невольно тосковал по наградам жизни, по привычкам, по слабостям, доступным каждому и недоступным ему, по любви.

«Я чувствую себя старым, в том смысле, в каком приходит в негодность картонная мишень, побыв часок на учебном стрельбище полицейской школы. Изрешеченным,— вырывается у него в письме.— Я уже десять лет не видел ночного неба».

Что стало бы с Джорджем, если бы его освободили? Наверное, этот вопрос правомерен. Порою мучеником быть легче, чем героем. Тюрьма жестока, но ее условия однозначны: или — или. Не все, кто в застенке держался молодцом, выдерживали испытание свободой. Не выдержал Элдридж Кливер, блестящий памфлетист, автор по-своему хрестоматийной для черного самосознания книги «Душа на льду», а позже парижский, корейский, алжирский изгой. Он долго вел огонь по своей бывшей организации с ультралевых сектантских позиций, пока, наконец, летом 1978 года не сдался на милость системы-победительницы. В самом прямом смысле — прилетел в Америку и на аэродроме сдался властям. И так же прямо отрекся от своего прошлого, публично объявив надежды юности ошибками молодости. Впрочем, от «революции», как выяснилось, он напрочь не отказался. Ныне сообщения о Кливере можно почерпнуть в колонках светской хроники и они таковы. Вместе с женой-красавицей Кэтрин, в подражание которой юные и буйные черные головушки Америки враз ощетинились прическами «Афро», он открыл собственный магазин «революционной моды»... Слинял и бывший друг, а затем главный конкурент Кливера Хью Ньютон, «министр обороны» «черных пантер», запутавшийся в силках «черного капитализма», с которым неосторожно пытался играть.

И все же — возвращаясь к Джорджу Джексону — есть невольный цинизм в хладнокровном подсчете возможных вариантов, когда пролилась кровь. Мы не знаем, что стало бы с Джорджем Джексоном. Мы знаем, что с ним стало.

Юный хулиган Джордж Джексон мало волновал полицию. Когда он попадался, «боров ограничивался тем, что бил меня «дубовой дубинкой» по уху и посылал за моим глубоко огорченным отцом, чтобы тот отнес меня домой...». Политического преступника тюремные власти держали мертвой хваткой. «Конечно, я могу пробыть тут всю остальную жизнь, если откинуть возможное изменение государственной системы и экономики,

другими словами, смену всего». Смены всего не было. И тогда Джонатан Джексон, младший брат Джорджа, тот, что был слишком мал, чтобы помочь ему ограбить мир белых, предпринял отчаянную попытку. За время, что Джордж провел в калифорнийских тюрьмах, он успел подрасти.

7 августа 1970 года в суде графства Марин повторно слушалось дело Джеймса Макклейна по обвинению в нападении на охранника во время бунта в сан-квентинской тюрьме. Свидетелями должны были выступить заключенные Рэчел Мэджи и Уильям Кристмас. В это время в зал суда вошел Джонатан. «Довольно господа, теперь командую я»,— сказал он и направил на судью дуло пистолета.

Да, он заметно вырос за то время, что его старшего брата гноили в тюрьмах. Ему уже было семнадцать. «Мальчик-мужчина»,— называл его Джордж.

Джонатан освобождает троих заключенных, передает им оружие... Вот рассказ женщины, одной из тех, кого они взяли заложниками.

«Первым заложником они взяли судью... Они остановились было на судебном репортере, но решили взять помощника районного прокурора взамен... Хотели забрать пожилую женщину-заседательницу, но та сказала, что плохо себя чувствует — она еще раньше сказала мне, что ужасно нервничает, когда ее приглашают в качестве присяжной. Ну они ее и не взяли. Так они взяли меня и еще двух заседательниц. Потом они увидели ребенка в зале. «Возьмем ребенка?» — спросил один из них. Но мать заплакала, закричала: «Не троньте моего ребенка!» И они не тронули... Ну вот, а когда мы выходили из зала суда, они заставили судью позвать шерифа снизу. Я не слышала, что он сказал шерифу, но сейчас я знаю, они сказали, чтобы он сказал своим людям не стрелять...»

Четверо беглецов и пятеро заложников погрузились в желтый автомобиль, взятый напрокат у фирмы «Хертц», и попытались отъехать, но люди шерифа открыли огонь. Когда стрельба затихла, Джонатан, Макклейн, Кристмас и судья Хейли оказались убиты, Мэджи и помощник районного прокурора Гэри Томас ранены, и еще царапину получила одна заседательница. Как и в случае с Аттикой, желание освободить заложников было так велико, что полиция не остановилась перед возможностью убить их...

«Злобным нападением» назовет происшедшее губернатор Рейган. «Героическим актом восстания» — Фания Джордан Дэвис, сестра Анджелы. А Рэчел Мэджи заметит, что семь лет он тщательно взывал о помощи, апеллировал во все инстанции, но

не дождался ответа, пока 7 августа на его зов не откликнулся Джонатан.

А потом Рэчела Мэджи и Анджелу Дэвис обвинят в убийстве судьи Хейли. Мертвые ведь не в счет.

Анджела была самой видной фигурой в кампании, проходившей под лозунгом «Спасем Джорджа Джексона от линчевания по закону!». Джонатан был ее близким товарищем и даже чем-то вроде телохранителя. И четыре пистолета, которые он пронес с собой в зал суда графства Марин, были, как утверждало обвинение, зарегистрированы на ее имя. На этом основании Анджелу обвинили в соучастии в убийстве, что по законам штата Калифорния равносильно убийству. Так тесно переплелись судьбы братьев Джексонов и Анджелы Дэвис.

«Черный мальчик-мужчина с автоматом в руке, вот когда он был свободен. А это больше, чем то, на что может надеяться большинство из нас... В будущем мы будем вести отсчет времени со дня смерти мальчика-мужчины».

Джорджу Джексону недолго оставалось вести отсчет времени. Со дня смерти мальчика-мужчины прошел год и две недели, и 21 августа 1971 года в сан-квентинской тюрьме он сам произнес фразу, что раздалась в зале суда графства Марин: «Довольно, господа!» А еще двадцать одну минуту спустя его уже не было в живых.

Была ли это попытка побега или провокация? Самоубийство, убийство или самопожертвование? Может быть, все-таки тюрьма не силой, так вероломством сломила несломленного Джорджа, заставила в ярости потерять голову на одно мгновение, на один миг, которого оказалось достаточно, чтобы покончить с ним навсегда? Не знаю. Да и знает ли кто-нибудь это?

Такие дела... Возвращаясь к статье губернатора Рейгана, можно, наверное, сказать, что его публицистический залп оказался менее прицельным, чем стрельба его охранников. И коль уж губернатору Калифорнии вольно было так сформулировать, Джордж Джексон действительно был политическим узником, жертвой угнетательской системы.

«Черные пантеры» объявили его председателем своей партии. Дело, однако, не в этом, вождем он никогда не был. В письмах его рассыпано немало рецептов борьбы, но не ими сильны письма, а страстью непокорившегося человека, примером судьбы исключительной и типичной одновременно, запечатленной трагедией молодого черного, который пытался головой пробить стену, только стена оказалась глухая.

Забитые дети гетто часто бывают лишены школы. Жестокий парадокс, но школой многим из них становится тюрьма. Факт

почти убийственный: Рачел Мэджи, «соответчик» Анджелы, проходивший с ней по одному «делу», научился читать в тюрьме, букварем ему стал юридический словарь и конституция США... И это школа социального гнева, потому что нигде так не обнажено противоречие между буквой и духом закона, как в американской тюрьме.

Сто лет назад американский суд вынес такое решение: «Черный человек не имеет таких прав, которые белый человек был бы обязан уважать». Многие черные и сегодня не сомневаются в том, что юридический этот прецендент сохраняет силу. И поэтому так популярны в тюрьмах Америки книги Джорджа Джексона, Малькольма Икса, Уильяма Дюбуа...

Кто-то даже пустил в обращение термин «интеллигенция нового типа». Не будем спорить о его правомерности, но сам этот факт говорит о том, что заметное число людей в Америке постигали азы социального и политического мышления не в колледжах и университетах, а на улицах гетто и в застенке. Здесь их действительно легче постичь. В 70-е годы стало отчетливо ясно: американская тюрьма — это обнаженная модель общества подавления. То, что не заметить невооруженным глазом в ухоженных и благополучных пригородах американских городов, бросается в глаза в гетто. То, что не сразу поймешь даже в гетто, становится очевидным в тюрьмах: торжество полицейской дубинки, которую недаром называют здесь «black jack» — «черной дубинкой», оголенный расизм. Американская тюрьма — это урок американской системы для самых темных.

ЧЕРНОЕ И КРАСНОЕ

Моей семье, дающей силу.
Моим товарищам, излучающим свет.
Моим соратникам, боевой дух которых
освободил меня.
Тем, чью человечность невозможно сокрушить
никакими преградами,
камерами смертников.
И особенно тем, кто полон решимости
бороться до тех пор, пока
капитализм и классовая несправедливость
не будут навсегда вычеркнуты из нашей
истории.

Посвящение книги своей жизни Анджела Дэвис написала... я чуть было не сказал так: белыми стихами. Но лучше выразиться по-иному: красной прозой. Прекрасной прозой написана

и вся «Автобиография». Это не литературная оценка. Достойно описана прекрасная жизнь. Не житие святого, не «идеальная жизнь» — жизнь с идеалом. Проза драматической американской жизни, освященная поэзией борьбы.

Полная сомнений, принялась Анджела Дэвис за труд. «Мне казалось, что писать автобиографию в моем возрасте по меньшей мере нескромно, — признается она. — Больше того, я думала: рассказать о своей жизни, о том, что я делала, о чем размышляла, что со мной было,— значит становиться в позу, чем-то выделяться, словно я не такая, как все другие черные женщины...» Отдадим должное скромности автора. И не только. Ее целомудренность — от мудрости. «Ведь то, что произошло со мной, могло случиться с каждым из нас, и дело тут вовсе не во мне лично. Другая черная сестра моя или другой черный брат мой и товарищ точно так же могли бы по прихоти судьбы стать политическими узниками, в защиту которых встали бы миллионы людей во всем мире... Я потому колебалась, приступая к этой книге, что мне казалось: описание моей личной судьбы могло бы отвлечь внимание от всего нашего движения...» Но именно потому, что и «другой черной сестре моей, и другому черному моему брату» угрожала та же участь — стать политическими узниками (сегодня мы это знаем даже лучше, чем вчера), именно потому, что удивительная, уникальная личность Анджелы билась и выбилась из сетей в определенном смысле слова типичной американской судьбы, нужна была ее исповедь, ее анализ, ее урок. Ее книга. И она написала эту книгу. Не воспоминания о былых приключениях и не мемуары, подводящие черту. Но «политическую автобиографию, где в центре внимания... люди, события и движущие силы, сделавшие меня такой, какая я есть, определившие мое призвание». «Я решила, — окончательно расставляет акценты Анджела, — что в таком виде книга сможет послужить очень важной практической цели. Может быть, тогда многие поймут, думала я, почему большинство из нас не имеет другого выбора, кроме одного — без остатка отдать жизнь, знания, вверить свою волю и судьбу служению своему угнетенному народу... И если книга кому-то поможет найти себя, я буду считать, что потрудилась не зря».

...Родителей не выбирают. Анджеле повезло на родителей. Мать — учительница. Отец — тоже учитель, оставивший учительство, чтобы обеспечить достаток семье — скопив денег, он купил авторемонтную мастерскую. Один бог — и мать — знают, какой ценой дался семье этот выход в «средний класс». Впрочем, не ценою главного. В этом доме умели ценить истинные

ценности. Чего бы это ни стоило, дети должны были получить настоящее образование. И они получили его все трое — старшая Анджела, ее брат Бенни и младшая сестра Фания. Школу Анджела кончала в Нью-Йорке далеко от дома — одну из лучших в стране. А потом поступила в Брандейсский университет, чья академическая репутация высока, слушала лекции в Париже, Франкфурте-на-Майне. Родители понимали, какие опасности подстерегают их детей за каждым поворотом, и у них хватило мудрости не сковывать их развитие и волю опасливой опекой. В море житейских бурь и невзгод они учили детей плавать, а не бултыхаться под крики «Смотри, не заплывай далеко». И дети выросли гордые, с прямыми спинами и твердыми характерами.

Отношения в этой семье не были застывшими, определенными раз и навсегда, подобно улицам с односторонним движением: сверху вниз — подчинение, снизу вверх — почитание. Движение друг к другу было интенсивным и обоюдным. Младшие оказались достойны старших. Еще в 50-е годы родители не побоялись участвовать в деятельности организаций, выступавших за расовое равенство. Но и старшие оказались достойны младших, когда пробил час. Подумать только, каково было отцу с матерью видеть объявления, в которых их дочь называлась в числе десяти самых опасных преступников, разыскиваемых ФБР. Каково было знать, что их кровинушку, их ребенка обвиняют в «соучастии в убийстве» и кончиться все может страшно — газовой камерой. Каково им было получать известия, что и младшую дочь подвергли аресту, а в мужа ее стреляли и ранили. Кто упрекнул бы отца с матерью, если бы они рано или поздно сказали: вы, наверное, правы, дети, но ради бога, ради нас и себя самих смиритесь, успокойтесь. Многие, наверное, поступили бы так — и их можно понять, — но не старшие Дэвисы. Они не испугались, увидев, какими вырастили своих детей. Они безоговорочно приняли их сторону. Мать семейства можно было часто увидеть на митингах протеста. С младенцем на руках — Фания оставила на ее попечение своего ребенка — она по первому зову готова была мчаться в любой конец страны. И выступать, клеймить произвол, сражаться.

Где-то в конце своей книги — уже после ареста, тюрьмы и суда, описывая, как, оказавшись на свободе, она впервые обняла Фанию, Анджела скажет удивительные слова: «Нас разрывала радость, эти чувства пришлось сдерживать долгие восемнадцать месяцев. Раньше мы были просто сестрами, теперь стали товарищами». Сестры стали товарищами! Время не отдаляло и не разделяло семью, как это часто бывает. Единокровные,

они все лучше осознавали, что они и единоверны. Вот в чем было счастье этой семьи — при всех бессонных почах. Впрочем, почему было? Оно есть.

Родина одна. Расу не выбирают. Анджела Дэвис родилась 28 января 1944 года в городе Бирмингеме, штат Алабама, США. Родилась черной. И этот первейший факт биографии станет первичным, он окрасит все дальнейшее существование, определит спектр жизни. Впрочем, как и у каждого из двадцати восьми миллионов черных ее соотечественников.

Книга написана страстно и просто. Ни малейшей попытки беллетризации жизни. Стиль не конкурирует с фактами, факты как бы говорят сами за себя. Но о расах в американском обществе сказано поразительно: «две разомкнутые вселенные — черная и белая». Метафора? Быть может, невольная. Разомкнутость — факт, констатация очевидного, начиная с уровня быта. Ну а «разомкнутые вселенные» — это уже реальность, осознавшая себя. Бытие. И космическая тоска и боль народа, миллионами лбов пытающегося пробить видимо-невидимый белый кордон, и каждый раз за руинами старых преград обнаруживающего все новые и новые стены.

«Большинство черных ребят моего поколения на Юге выучились распознавать надписи «Для цветных» и «Для белых» задолго до того, как прочли первые в своей жизни слова»,— пишет Анджела.

И вот еще чем интересна «Автобиография» Анджелы Дэвис для тех, кто внимателен к американским событиям. События, доносившиеся до нас из другой социальной галактики по газетным или телеканалам поневоле в отчужденном, обесцвеченном виде, оживают всеми красками человеческой жизни, страстью страдающей мысли.

Поистине мир тесен. Он даже более тесен, чем мы думаем Чужое, отделенное и отдаленное океанами обстоятельств и реальными океанами, оказывается вдруг близким, поселяется в тебе на правах самых существенных чувств и воспоминаний.

«Бомбингем». «Динамитный холм»... С конца 50-х годов помнятся эти пропахшие порохом, громыхающие полночными взрывами слова. Так прозвали район Бирмингема, где расисты показали многое из того, на что способны. А сейчас, читая Анджелу, мы узнаем, что все эти годы ее семья жила не где-нибудь, а на самой макушке «динамитного холма». Дэвисы были первым черным семейством, осмелившимся купить дом на холме, за ними потянулись другие черные горожане, не зная, что торопятся в ад.

А шеф полиции Бирмингема Коннер по прозвищу «Бык»...

Помню даже его лицо — непроницаемый физиономический квадрат, венчающий корпус полномочного громилы. Классический лик дорисовывали разъяренные полицейские псы, рвущиеся с поводка, — их спускали на демонстрантов, ведомых Мартином Лютером Кингом. Фотографии той расправы обошли весь свет в качестве зримого образа и символа Америки 60-х годов.

Это тот самый «Бык» Коннер, который, недолго думая, взял да и запретил в городской своей вотчине Национальную ассоциацию содействия прогрессу цветного населения, куда входили и родители Анджелы. Правда, те не подчинились... Тот самый «Бык», который, пишет Анджела, «объявлял по местному радио, что еще одна «черномазая семья» переехала на белую сторону нашей улицы и что «сегодня ночью снова прольется кровь»... Он не был пророком, но не ошибся ни разу — этот полицейский «Бык», реагировавший на черное, как на красное Его «нагорные», «нахолмные» проповеди неукоснительно сбывались, потому что были даже не провокацией — приказом.

А четыре черные девочки, погибшие от взрыва бомбы в бирмингемской церкви воскресным днем. Чудовищный, трижды святотатственный этот случай потряс Америку. Убить детей! в церкви! в воскресенье! — такое не укладывалось в сознании. Маленьких мучениц помянул скорбным словом Кинг. Гневно клеймил расистскую систему, посягающую и на детей, неукротимый Малькольм Икс — еще одна трагическая американская фигура. И Микки Швернер, один из тех честных белых юношей, что в начале 60-х годов отправились на Юг в поход за свободой, скажет, что злодеяние это заставит его окончательно определиться. В дремучем расистском штате Миссисипи он найдет свою гибель.

Вот чем стала для Америки смерть четырех черных девочек. Но Анджела ведь знала их близко. Место трагедии находилось недалеко от ее дома — баптистская церковь на 16-й улице Бирмингема. Кэрол Робертсон была подружкой сестры Фании. Цинция Уэсли жила в какой-нибудь сотне метров от Дэвисов — ее еще всегда ставили в пример, такая была аккуратная девочка. Дениз Макнейр в первом классе училась у матери Анджелы. Одна Эдди Мэй была новенькая...

Сцена исторических событий постепенно населяется знакомыми лицами. Уже не абстрактные круги и силы выступают перед нами, не безымянные символы добра и зла, но характеры и судьбы хорошо известные, люди во плоти и крови. История персонифицируется, окрашивается в цвета любви и ненависти. Из московской — или иной — квартиры протягивается ниточка

связи и в Бирмингем в далекой Алабаме, где в церкви гибнут дети, где собаки рвут тело и душу Мартина Лютера Кинга, и становится больно, как если бы рвали твое тело и тобою выстраданную мечту.

Мир тесен.

Сейчас это история, а тогда было настоящим — история только делалась, варилась, жарилась в огне событий. И ничто не было известно — ни то, что Кинг выиграет свою схватку с полицейскими псами и «Бык» Коннер будет повержен. Ни то, что выиграет он и другие свои битвы, едва ли не все, кроме главной — расовое равенство сегодня выглядит немногим ближе, чем в ту пору. Никто — сам ясновидящий Кинг в том числе — не знал ни про Мемфис и смерть на балконе, ни про грядущую прижизненную славу и попытку «второго убийства» — посмертную канонизацию. Это мы сейчас, просвещенные ходом времени, знаем. И видим больше, чем тогда.

Вновь глянув на бирмингемскую сцену из сегодняшнего далека, мы увидим город — на мгновение он превратился в точку, упершись в которую всем миром черная Америка пыталась перевернуть расистскую вселенную. Мы увидим рукопашную и в центре ее Кинга — воинствующего миротворца, пытавшегося взрывом ненасилия попрать, погасить вековое насилие. Но нашему сегодняшнему взгляду предстанет и невидимое тогда. Где-то неподалеку от титанической фигуры мелькнет и тоненькая фигурка длинноногой и светлолицей черной девочки, которой суждено было стать одной из героинь следующего американского десятилетия.

Будущее зрело в недрах настоящего.

Анджела вспоминает, как, откликаясь на кинговский призыв, она вместе с другими ребятами демонстративно вторгалась на «белую половину» городских автобусов, куда черным не было хода. Как горько переживала, когда в разгар кампании протеста ее одноклассники оставались равнодушны...

Анджела рассказывает о смятениях детской, юношеской поры, и невольно думаешь о том, какой это поразительный инструмент общественной природы — рано разбуженная человеческая душа. Она как клетка, в которой заложен генетический код всего организма. Клетка духовности народа, она в своем развитии по-своему повторяет ход его самосознания.

«Уже в четыре года я знала, что по ту сторону улицы живут не такие люди, как мы, хотя не понимала, что разница в цвете кожи...» Рано созревает сложное «двойственное отношение к миру белых», в котором найдется место и «инстинктивному отвращению к тем, кто мешал осуществлению всех наших

желаний — от самых пустяковых до самых великих». И ревности. И «чувству, похожему на зависть»... Но и зарождающейся гордости тоже, пусть даже в знак протеста зарождающейся. «И все-таки я живо помню, как в детстве однажды решила, что никогда, ни при каких обстоятельствах... не позволю себе даже на минуту пожелать изменить свой цвет кожи».

Пароль того американского десятилетия, когда черные сменили унижение на гордыню: «Черное — это прекрасно!» Это кинговское слово.

Цвет кожи не выбирают. Выбирают цвет убеждений.

От инстинктивных реакций — к сознанию. От ощущения личных обид — к пониманию общей обездоленности своей расы в родной стране. От космического чувства черной боли — к классовому анализу. Так развивалась Анджела.

«Проблемы черного народа я стала теперь рассматривать в общем контексте широкого движения рабочего класса», — говорит Анджела. О Марксовом «Манифесте Коммунистической партии» она пишет так: «Это произведение буквально открыло мне глаза». «И я вновь увидела мутные от ненависти глаза белых соседей на «динамитном холме», взрывы бомб, и страхи, и спрятанное оружие, женщину в слезах на пороге нашего дома, голодных детей в дверях школьной столовой, и кровавые побоища на школьном дворе, и светские развлечения черного среднего класса... отгороженные места в задней части автобуса, полицейские облавы — все это вдруг встало на свои места. И то, что казалось проявлением ненависти лично ко мне, и необъяснимое в моем представлении упорство белых южан, отказывающихся сдерживать свои расистские эмоции, и непреодолимая покорность черных, — все это оказалось неизбежным следствием безжалостной системы, которая поддерживала себя и сохранялась, лишь поощряя злобу, конкуренцию, угнетение одних, бесправие других. Прибыль — вот что лежало в основе этой системы...»

От черного к красному!

«В июле 1968 года я заплатила 50 центов — вступительный членский взнос — председателю клуба имени Че Гевары — Лумумбы и стала полноправным членом Коммунистической партии США».

Великолепны страницы «Автобиографии» Анджелы Дэвис, посвященные главному решению ее жизни. Заметим при этом: Анджела слушала самых именитых учителей Америки и Западной Европы — с Маркузе, например, она была знакома хорошо и близко. Философ по образованию, она сама преподает эту дисциплину. «Иногда даже во сне меня преследовали тени и

идеи Спинозы, Канта, Гегеля...» Наяву она выбрала Маркса.

И еще. Партийные ячейки называют в Америке клубами. Лос-анджелесский клуб, в который пришла Анджела, особого рода, он объединяет черных коммунистов. И носит он сразу два имени: Че Гевары — Лумумбы.

Мир тесен! Не только теснотою коммуникаций — сверхзвуковыми лайнерами, сближающими континенты, или спутниками связи, опоясавшими планету. Но прежде всего неотразимой привлекательностью общечеловеческих идеалов. И потому мыслитель, рожденный в Германии девятнадцатого века, и африканский мученик, распятый колониализмом, и неистовый романтик латиноамериканской революции оказываются властителями дум и душ. И перед ними отступают время и расстояния.

СУДНЫЕ ДНИ В СЕВЕРНОЙ КАРОЛИНЕ

«Знание закона и в то же время упорство в его несоблюдении, обусловленное порочным складом ума, исходит от дьявола», — сказано в постановлении Верховного суда штата Северная Каролина столетней давности.

Суды и судьбы... Эта американская история началась в районной тюрьме графства Бофорт, Северная Каролина Отправляя под замок очередную нарушительницу ночной тишины, городской полицейский обнаружил в одиночной камере, где в течение 81 дня содержалась 20-летняя негритянка Джоанна Литтл, труп тюремного сторожа, 62-летнего Клэренса Аллигуда. Дверь одиночки была распахнута настежь, арестованной в камере не было.

Трупы — зрелище не из приятных. Этот же был страшен — грузный старик, заколотый собственным ледорубом, орудие убийства валялось тут же — и... непристоен.

Чтобы восстановить картину ночных событий, достаточно было одного взгляда, простейшей экспертизы. Одиночная камера крошечного женского отделения Бофортской тюрьмы была сценой двух преступлений. Сначала было насилие — ледоруб, который недвусмысленно прихватил с собой рослый тюремщик, должен был подкрепить его ночной «мандат». Убийство было потом. Оно стало следствием насилия, взрывной реакцией на него.

Семь дней Джоанну Литтл разыскивали с собаками по всей

округе. Хотели даже объявить ее «вне закона». В этом случае по старому уложению, дожившему до наших дней едва ли не в одной Северной Каролине, любой мог прикончить беглянку на месте от имени правосудия. На восьмой она явилась в тюрьму сама. Показания Джоанны Литтл подтвердили и без того очевидное: той трагической ночью она защищала свою честь. Суд обвинил ее в убийстве.

Банальная история? Но нет ничего интересней банальных историй. Вся жизнь в конечном счете состоит из банальных историй.

Суть происшедшего ясна: насильник с нелепым и жутким ледорубом получил не то, на что рассчитывал, но получил по заслугам. Однако место, время, характер двух участников «камерного» столкновения грозили самым решительным образом изменить картину.

Молодая преступница (в тюрьме ведь Джоанна Литтл очутилась и в самом деле не «за красивые глаза») убила пожилого, ни в чем предосудительном ранее не замеченного тюремного сторожа, солидного человека, отца семейства. Это ведь тоже «правда», и именно так, кстати сказать, и было сформулировано обвинение. В устах молвы все звучало окончательно грубо: «черная девка убила белого».

Заметили, как вся история мгновенно перевернулась с ног на голову и полетела вверх тормашками?

...Совпадение случайное, но не без намека. Город, где проходил процесс, он же родной город Джоанны Литтл, называется Вашингтон. Восемь тысяч жителей. Его называют «маленький» Вашингтон, хотя говорят, что горожане этого не любят и предпочитают другой эпитет — «истинный» Вашингтон, — тем самым подчеркивая, что это первый город, который принял имя великого американца.

«Маленький» Вашингтон, «истинный» Вашингтон из Северной Каролины... Черная убила белого. Не где-нибудь — в провинциальной глуши американского Юга. К чему придет суд? Как повлияет место действия на исход драмы? Приговор мог кое-что высветить в психологическом состоянии этой части страны, которая была когда-то родиной американского рабства и до сих пор полагается многими заповедной расистской землей. В конечном счете ведь психологическая сторона оказывается если не решающей, то исключительно важной в сложном процессе борьбы за расовое равенство.

В любом цивилизованном обществе «насилие» относится к числу самых страшных преступлений, законная мера наказания насильнику велика. Защитить женщину — естественная

мужская, человеческая реакция. Расистская психология, однако, искажает общечеловеческие понятия. Смысл насилия, оказывается, не всегда однозначен. Его может изменить цвет. Цвет кожи.

«...Уилл Макси задыхался в дыму. Когда он совсем задохся, его угостили свинцом. Том стоял позади, старательно целился и стрелял в Уилла без передышки, останавливаясь только для того, чтобы зарядить ружье. Кроме него, было еще человек сорок с ружьями, а то и больше. Они тоже стреляли в Уилла. В него всадили столько пуль, что тело, безжизненно обмякнув, повисло на цепи, которая охватывала шею».

Вот что бывает, когда в тяжком преступлении заподозрен негр. Уилл Макси ни в чем не виноват, его обвинили облыжно. Но это уже не имело никакого значения...

Линчеванный Уилл Макси — герой не газетного репортажа, а рассказа Эрскина Колдуэлла. Описанный сюжет, увы, не оригинален.

«Если для того, чтобы защитить женщину от посягательств человеческих скотов, нужно линчевать, тогда я скажу: линчуйте! Линчуйте, если надо, тысячу раз на дню!»

Это уже не литературный вымысел, а историческая цитата Ребекки Фелтон, известной воительницы за женские права, под которыми, впрочем, понимались исключительно права белой женщины. Их не раз приводила американская печать в связи с процессом над Джоанной Литтл. Но давайте на секунду загадаем: а что было бы, будь Уилл Макси белым? Нет, не пришлось бы ему задыхаться в дыму. А если бы жертва была негритянкой? Но это и вовсе не сюжет. Черной женщине белое общество отказывало в элементарном покровительстве, в самом праве на достоинство и честь.

Это и называется расизм. Любой, самый малый шажок прогресса в политической, социальной, экономической областях важен. Но не будет спокойствия в этой стране, пока о человеке и человека будут судить по цвету кожи, а не за то, что он сделал или не сделал. Сказанное — не индульгенция черной преступности. В любом виде и проявлении преступность должно предотвращать, наказывать, карать — но за то, что она преступность, а не за то, что она черная.

Тут самое время вспомнить упрямого Лукаса Бичема.

«Придет время, когда Лукас Бичем сможет убить белого человека, не страшась веревки или бензина линчевателя, как любой белый убийца, со временем он будет голосовать наравне с белым везде, где бы он ни захотел, и дети его будут учиться в любой школе с детьми белого человека, и он будет так же

свободно ездить куда захочет, как и белый человек. Но это будет не во вторник на этой неделе».

Так написал Фолкнер в «Осквернителе праха». Лукас Бичем, напомню, не убивал Винсона Гаури, и нетрудно понять, что автор вовсе его к этому не призывает. Мысль писателя предельно точна, ибо заострена до крайности. Черный должен быть равен белому всегда и везде. При любых (!) обстоятельствах — вот ведь в чем дело — добрых и злых, прекрасных и ужасных, перед лицом любого закона и морали. Не только черный ангел должен быть равен белому ангелу, но и черный дьявол — белому дьяволу. Черный подонок и убийца — тоже ровня белому подонку и убийце, и пусть их одинаково ждет высшая мера наказания. Но до тех пор, пока одного будут судить судом присяжных, а другого судом Линча, прошлое не изжито.

Джоанна Литтл — не библейская Мария. Реальная ее биография писалась без выдумки, под копирку, как биографии десятков и сотен тысяч ее сестер по расе и доле Девять детей в семье, Джоанна старшая. Мать, угробившая молодость в неравной борьбе с жизненными обстоятельствами. Сначала отец, похожий на отчима, потом отчим, похожий на отца, — в конечном счете семья осталась и без того и без другого... В пятнадцать лет Джоанна бросает школу и выбирает дорогу, протоптанную поколениями черных ног — убегает на Север в город. Официантка, повариха, фабричная швея — кем только она ни была, даже каменотесом. И... не найдя себе места, возвращается в родной Вашингтон. Дурная компания. Несколько приводов в полицию, последний арест... Наконец взрыв на 81-й день. «Я родилась в трущобах, но я тоже человек!» — скажет она во время процесса.

В Аттике, к слову, было то же самое. В журнале «Нью-Йоркер» тогда писали: «Во время восстания в Аттике миллионам американцев впервые открыто показали осужденных преступников. Большинство из нас было совершенно не готово к тому, что мы увидели. Толпа, которая появилась на наших телеэкранах, была отнюдь не сборищем бандитов, а, скорее, собранием людей, объединенных общей целью, и эти люди не выглядели жестокими, хотя, по-видимому, они терпели жестокости. Это были, без сомнения, нормальные люди. Мы увидели мужчин, отнюдь не лишенных чувства гордости, они вели себя с достоинством... Те из нас, кто выступает за реформы, были и раньше уверены в том, что жестокими заключенных, бесспорно, делают преступления, которые общество совершает против них. Заключенные заплатили своей жизнью за то, чтобы доказать

всем нам ту истину, о которой они и раньше говорили вполне определенно: «Мы не скоты, мы люди!»

В «фокусе национального внимания», как выразилась «Нью-Йорк таймс», Джоанна Литтл оказалась потому, что исключительность содеянного ею наложилась на ее удручающе обыденную судьбу. Две общественные кампании, будоражащие сознание и совесть нации, подняли ее на щит: движение за расовое равенство и движение за равенство женщин. В защиту Джоанны Литтл страстно выступала Анджела Дэвис. Сотни тысяч писем разослал по всей стране комитет за оправдание обвиненной, который возглавил известный черный деятель, молодой сенатор штата Джорджия Джулиан Бонд. В триста тысяч долларов обошлась защита, эти деньги были собраны по подписке.

Жарким августовским днем 1975 года двенадцать присяжных заседателей — шестеро белых и шестеро черных — оправдали Джоанну Литтл.

Победа? Победившая сторона скромна в оценке ее масштабов. «Дело Литтл в действительности доказывает только то, что черная женщина может добиться нормального суда, если в ее распоряжении окажется огромная сумма денег» Таково мнение одного из адвокатов, единственной женщины и единственной черной в защите Джоанны Литтл. Сама оправданная тоже не спешит бить в литавры по поводу окончательного пришествия царства равенства и свободы: «Пока что я не видела ни малейшей справедливости от системы. Двенадцать присяжных, оказавшихся честными людьми, еще не система».

Справедливость как частный случай. Приятное исключение из правила. Бенджамин Чейвис не может сказать о себе и такого. Его тюремная одиссея — поистине безупречная иллюстрация того, как действует система. Если можно назвать многолетнюю трагедию попранных прав гладким словом «иллюстрация»...

Та же самая Северная Каролина. Непосредственное место действия — Уилмингтон, такой же, в сущности, провинциальный городишко, как и «маленький» Вашингтон, чуть побольше. Точка отсчета и завязка драмы — февраль 1971 года. Что же произошло здесь тогда? И что было потом, все последующие годы вплоть до наших дней? Стоит взглянуть на события глазами непосредственных наблюдателей.

Осенью 1978 года корреспондент «Комсомольской правды» встретился с Фрэнсин Чейвис, сестрой Бена. Послушаем их разговор.

— Фрэнсин, расскажите, пожалуйста, подробнее, как был осужден Бен Чейвис.

— Еще в 1954 году в США был принят закон о совместном обучении детей белых и негров. Долгие годы, однако, он оставался лишь на бумаге. В 1971 году в штате Северная Каролина были предприняты первые попытки воплотить закон в жизнь. И сразу же начались провокационные выступления куклукс-клана. Полилась кровь невинных людей, запылали дома.

Мой брат по поручению союза поехал в город Уилмингтон. В небольшой церкви он выступил с призывом к своим собратьям проявлять организованность и выдержку.

В это время у церкви собрались куклуксклановцы. Они окружили здание, начали его обстреливать, попытались ворваться внутрь. Стычка продолжалась довольно долго. Напротив церкви кто-то поджег бакалейную лавку. Только когда была вызвана национальная гвардия, страсти улеглись. Но тут выяснилось, что в ходе стычки были убиты черный школьник и один из членов ку-клукс-клана.

В 1972 году, спустя год, Бена вместе с несколькими другими активистами союза вызвали в суд и предъявили обвинение в убийстве и поджоге. Нашлись три «свидетеля», которые заявили, что в ходе перестрелки якобы видели Бена с оружием в руках. Решением суда десять человек, «уилмингтонская десятка», были осуждены как «заговорщики» и «поджигатели» — в общей сложности на 282 года. Все трое лжесвидетелей позже откровенно признались, что были запуганы или подкуплены...

Собеседник Фрэнсин невольно замечает, что она похожа на Анджелу Дэвис. Дело, наверное, не только в прическе, скорее, в облике поколения — решительных молодых черных мужчин и женщин, избирающих одну и ту же дорогу. Они росли на одной и той же почве — Анджела и Фрэнсин — на трудной земле глубокого американского Юга. Раскаты одних и тех же громов грохотали над их головами. И даже семейный климат был схож. Старшие Чейвисы (отца уже нет в живых) не боялись выступать за расовое равенство. Не разошлись с ними во взглядах на жизнь и дети — сын и четыре дочери. Две дочери — учительницы. Еще одна — медсестра. Младшая — Фрэнсин — училась в Берлинском университете. Кстати, по совету и рекомендации Анджелы, о которой она говорит не стесняясь: «Это мой кумир».

А вот вехи Бена. После школы — университет, изучал химию, теологию, социологию. Работал в кинговской организации «Конференция христианского руководства на Юге». Принимал участие в движении протеста против притеснений индейцев, солидаризировался с борцами за независимость Пуэрто-Рико. И, подобно самому Кингу, стал проповедником и борцом.

Пора глянуть на события другими глазами. Как выглядит история «уилмингтонской десятки» с точки зрения респектабельной столичной газеты «Вашингтон пост»?

«...«Уилмингтонская десятка» — это девять черных мужчин и одна белая женщина. Их арестовали, судили и приговорили к тюремному заключению по обвинению в поджоге и преступном сговоре с целью нападения на силы охраны порядка во время столкновений в феврале 1971 года, когда погибло два человека и был причинен значительный материальный ущерб.

Волнения возникли на расовой почве в школах города, где незадолго до этого было введено совместное обучение черных и белых. Чернокожие школьники вышли на демонстрацию протеста против дискриминации. Белые расисты ответили ночными налетами на черные кварталы. Террором, пальбой из ружей и пистолетов. Власти отвергли просьбу черных лидеров о введении «комендантского часа». Вооруженные банды белых продолжали бесчинствовать. Опасаясь за свою жизнь, чернокожие школьники забаррикадировались в местной церкви. Пытаясь положить конец беспорядкам, белый священник черной церкви Юджин Темилтон обратился за помощью в Комиссию по расовой справедливости города Роли. Комиссия, созданная церковными властями, направила в Уилмингтон молодого черного священника Бена Чейвиса.

После прибытия Чейвиса вспышки насилия участились. В перестрелке погиб один черный учащийся и один белый. Многие были ранены. Сгорела бакалейная лавка, пожары возникли в ряде других магазинов и на мелких предприятиях. Отрядам национальной гвардии с трудом удалось восстановить непрочный мир.

Поджог бакалейной лавки, в которую кто-то бросил зажигательную бомбу, послужил поводом для предъявления обвинения Чейвису, восьми молодым черным и «сочувствующей» им белой Энн Шепард. Всех десятерых признали виновными (Шепард по менее серьезному обвинению) и приговорили в 1972 году в общей сложности к 282 годам тюремного заключения. Шепард позднее выпустили на поруки.

Аргументы против них были в основном построены на показаниях трех молодых черных, за которыми числилось уже немало судимостей. Один из них, 13-летний Эрик Джуниус, заявил, будто ему было известно о планах поджога лавки. Джером Митчелл, проходивший в то время по делу о преднамеренном убийстве, сказал, что слышал, будто Чейвис и остальные сговаривались сжечь лавку. Аллен Холл, уже находившийся в

тюрьме за другое преступление, показал, что видел подсудимых на месте пожара.

После вынесения приговора «уилмингтонской десятке» все трое свидетелей отказались от своих показаний. Все трое заявили, что власти штата оказали на них давление, а также сулили смягчить наказание или помочь устроиться на работу. Как выяснилось впоследствии, Холла и Митчелла свели вместе в психиатрической больнице штата, где Митчелл проходил экспертизу. Там их встретили представители федеральных и местных властей, которые подготовили текст заявлений, и те подписали их. После того как нужные показания были получены, судьба всех трех свидетелей изменилась словно по мановению волшебной палочки. Предъявленные Холлу формулировки обвинения, по которым он получил 12 лет тюрьмы, изменили таким образом, чтобы обеспечить ему досрочное освобождение. Митчелла, которому грозило обвинение в предумышленном убийстве, признали виновным в убийстве, но со смягчающими обстоятельствами. Зимой 1977 года его освободили на поруки (кстати, после этого он снова попал в тюрьму за новое преступление). Оба признались, что прокурор Джей Страуд позднее передал им небольшие суммы денег — это подтвердил и сам Страуд. Подростку Джуниусу прокурор подарил подержанный велосипед, а позднее власти подыскали ему работу на бензоколонке.

Многочисленные обращения к властям штата, включая обращение Верховного суда США, не возымели действия. (По американским законам Верховный суд США не может вмешиваться в дела, которые рассматривают суды штатов. На этом формальном основании президент Картер отказывался дать указание о пересмотре дела «уилмингтонской десятки» в федеральном суде. — *А. П.).* Апелляционный суд штата противится проведению нового процесса. Джеймс Фергюсон из Шарлотта, главный адвокат «десятки», говорит: «Думаю, они оказались в тюрьме из-за своих политических убеждений. В этом деле столько случаев предвзятых решений, столько нарушений процедуры, что и не перечислить. Все это свидетельствует о величайшей несправедливости».

Власти в Роли придерживаются иного мнения. Губернатор Хант, атакуемый требованиями о помиловании осужденных, не выказывает ни малейшего намерения это сделать. Генеральный прокурор штата Руфус Эдмистен обозвал свидетелей, взявших назад свои показания, «бандой наглых лжецов», но отказался предпринять какие-либо меры для пересмотра дела. Главный помощник Эдмистена по этому делу, Ричард Лиг, отверг обви-

нение в том, что «уилмингтонская десятка» стала жертвой репрессий, но согласился, что в этом деле «кое-что спорно».

Конец цитаты.

Но, позвольте, ведь если отвлечься от холодноватой «объективистской» манеры респектабельной вашингтонской газеты, поведанное ею ничем не отличается от рассказа сестры Бена. Больше того, совпадают не только фактическая канва, но и выводы.

Фрэнсин: «Решение суда было явно сфабрикованным и совершенно определенно политически направленным. Сейчас это юридически доказано, но суд по понятным причинам отменять свое решение не хочет. Ведь это станет, по сути, признанием того, что в США имеются политические заключенные».

«Вашингтон пост»: «Это одно из самых крупных политических дел, когда-либо рассматривавшихся в американском суде...

В этом деле можно выделить такие факты: привлечение к суду черных политических активистов, которые решительно отвергали предъявленные им обвинения; в качестве главных свидетелей обвинения фигурируют уголовные преступники; вмешательство федеральных органов в ход следствия, проводимого местными властями; подкуп свидетелей обвинения; многочисленные случаи отказа этих свидетелей от ранее данных показаний; преследование одних и снисходительность к другим в зависимости от политических убеждений и цвета кожи и суровые приговоры после признания подсудимых виновными Скандальную известность это дело приобрело и в связи с другими факторами — расистской атмосферой в штате, явным пристрастием судей и присяжных, запугиванием возможных свидетелей защиты с целью заставить их молчать».

Раньше прибегли бы к суду Линча. Сейчас в ход идет линчевание по суду.

Полное тождество при разности взглядов имеет самое простое объяснение — дело-то очевидное. Для всех — будь то в Уилмингтоне, Северная Каролина, в Вашингтоне, округ Колумбия, или во всем мире. И если оно тянулось так долго, то не потому, что у кого-то вызывало сомнения. Северокаролинские держиморды считали нужным продемонстрировать свою власть — вот что перевешивало все на свете. И вновь, как в случае с Аттикой, мертвая буква закона душила живых. Только еще более нагло и цинично. Две тысячи судебных ошибок насчитала защита в ходе процесса — случайно, «сослепу», так не бывает. Штатная Фемида хорошо знала, что ей надо, в ее одежды рядился сам произвол.

Ситуация сложилась парадоксальная и предельно нагляд-

ная. На одной чаше весов истина, соображения элементарной справедливости, мировое общественное мнение, наконец. На другой — тупой абсолютизм разъяренного местного расизма. При всей, казалось бы, несопоставимости этих категорий, Белый дом, теряя лицо, годами тушевался перед вторым.

«Г-н президент, борьба за права человека начинается дома...» — писал Картеру из северокаролинского застенка Бенджамин Чейвис. Безответно.

И все-таки «уилмингтонская десятка» оказалась на свободе. Их не оправдали, нет, их выпустили условно. Что это означает? На вопрос отвечает сам Чейвис:

«Освобождение условно — это только продление тюремного заключения. Пока вы освобождены условно, если вы скажете или сделаете что-то такое, что не понравится властям, вас могут снова посадить в тюрьму, даже без суда...

В данный момент я даже не имею гражданских прав. Меня лишили прав гражданства. Когда вы — осужденный преступник (тут снова невольно подумаешь, как ужасно быть политическим узником в Соединенных Штатах), вас лишают гражданских прав, карточки социального обеспечения, так что вы остаетесь человеком без личности, пока не отбудете своего срока...

Если бы Картер серьезно относился к вопросу о правах человека, он положил бы конец нарушениям этих прав в Соединенных Штатах Америки. В США много американских заложников. Я заложник в своей стране».

Борьба не была безуспешной. И она продолжается. Бенджамин Чейвис — сопредседатель Национального союза борьбы против расовых и политических репрессий. Второй сопредседатель — Анджела Дэвис.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ КАРЬЕРЫ

Грянувшая словно гром история отставки Эндрю Янга обладала всеми чертами остросюжетного романа. Молнии-провозвестницы сверкали и раньше, и все-таки эффект неожиданности полный. Интрига закручена до предела. На месте действия — путаница следов, в том числе след израильской разведки. Разъяснения на редкость туманны и противоречивы, тайна плотно занавешена вуалью домыслов.

Жертва налицо. Но что произошло — «убийство»? Тогда кто виноват — Белый дом, госдепартамент, закулисная израильская дипломатия? Из-за чего? Из-за недозволенных контактов с па-

лестницами, служебного непослушания или просто несчастного случая — преждевременной утечки информации? А может быть, имело место «самоубийство» или даже некая инсценировка, маскирующая побег с официального корабля ввиду обстоятельств и планов, которым еще предстоит обнаружиться в свое время? Или все это вместе взятое?

А теперь оставим в покое детектив.

«Он был единственным по-настоящему влиятельным черным, которым мы располагали в правительстве». Эти слова черного читателя привела «Нью-Йорк таймс». Чем не эпитафия?

Успех и поражение, взлет и падение, вознесение и расправу — многое можно найти в истории Эндрю Янга. Только разматывать клубок нужно не с конца, а с начала

1971 год. Столица штата Джорджия Атланта. Мы беседуем с Эндрю Янгом в его кабинете на одиннадцатом этаже элегантного нового небоскреба, принадлежащего «Черному банку» (акционеры банка — только черные)...

В то время губернатором Джорджии был не очень известный за пределами штата политик по имени Джимми Картер, но я не стану утверждать, что именно это обстоятельство завлекло меня в те края. Притягивали места, связанные с другим именем. Атланта — родной город Мартина Лютера Кинга. Здесь он родился, учился в негритянском колледже Морхауз, здесь и похоронен на черном кладбище «Южный вид». Вот что было предметом интереса в той командировке — Южный вид. Каким он представляется наблюдателю со стороны на рубеже 70-х годов и после бурных 60-х?

Упорно говорили о переменах в расовом климате страны, при этом столицу Джорджии называли столицей Нового американского Юга. В подтверждение приводились авторитеты нешуточные. Гюннар Мюрдаль — шведский ученый с мировым именем, автор классического труда о расовых отношениях в США «Американская дилемма», написанного еще до войны. Тридцать лет спустя посетив в Атланте штаб-квартиру организаций, борющихся за равенство, он пробормотал про себя (что не помешало корреспонденту «Нью-Йорк таймс» услышать эту реплику и донести до миллионов ушей): «Так вот где это начинается... Новый Юг. Совершенно новый американский Юг».

Отцы города должны быть благодарны одному из лучших современных архитекторов Америки Портмену и его изобретательным коллегам — центр Атланты выглядит островками будущего. В эффектных находках архитектуры завтрашнего дня по-своему реализовалось динамичное развитие первого города Джорджии. Хотя и на старину здесь не поглядывают с не-

боскребного высока. Пусть в виде туристского завлечения сохранен, восстановлен, инсценирован старый город, так называемое Подземелье.

Хотелось, однако, проникнуть за видимость, а для этого нужно было не только смотреть, но и слушать. Так родилась серия интервью с людьми на разных полюсах атлантского общества: с «черными пантерами» и ку-клукс-клановскими мастодонтами, с власть имущими расистами вроде сверхколоритного вице-губернатора Лестера Мэддокса и «умеренными» политиками черной общины. В свое время об этом было рассказано читателю. К беседе с Эндрю Янгом, однако, стоит вернуться.

— Мы добились большого прогресса, но это был легкий прогресс. Мы слишком сильно отставали...— уверенными чертами мой собеседник, человек молодой, энергичный и, чувствуется, привыкший к прессе, обозначил контуры проблемы.

В свое время Эндрю Янг был одним из помощников Мартина Лютера Кинга, вице-президентом созданной им организации «Конференция христианского руководства на Юге». Есть знаменитая фотография, запечатлевшая миг убийства Кинга. Балкон мотеля «Лорейн», распростертая коренастая фигура в черном... Несколько человек в смятении показывают руками в сторону, откуда раздался хлопок выстрела. Один из них Янг. Можно узнать его и на другом снимке. Кинга провожают в последний путь. Деревянная повозка, запряженная мулами, везет гроб полководца ненасильственных действий. Под уздцы мулов ведут люди, одетые в фермерские робы. Среди них — Эндрю Янг.

В 71-м Эндрю Янг непосредственно в организации уже не работал. Он посвятил себя «политике» — борьбе за выборные посты. Такое направление он назвал самым важным для движения черных на данном этапе. Это было интересно уже хотя бы потому, что во многом проясняло, куда пошли после Кинга те, кто шел вместе с ним.

— До сих пор мы решали вчерашние проблемы, — развивал Эндрю Янг свою мысль.— Не пускать черных вместе с белыми в автобусы или к избирательным урнам просто несовременно. Это не та проблема, которая порождена сегодняшним днем, она нам досталась в наследство от рабовладельческого прошлого. Вот почему я считаю социальные успехи (отмена дискриминации в общественных местах) и политические успехи (массовая регистрация черных избирателей) при всей их принципиальной и моральной важности как факторах утверждения достоинства черных людей легким прогрессом, как бы трудно он

нам ни достался. Подлинно современная проблема — это проблема экономического неравенства. Без благосостояния нет прогресса — это аксиома. Черные люди не могут считать себя удовлетворенными, пока уровень их жизни в два раза ниже, чем уровень жизни белых, пока безработица среди них в два-три раза превышает соответствующий белый стандарт...

Эндрю Янг продолжил:

— Начиная с 1965 года, с правления Джонсона слишком много денег у нас в стране идет на военные цели. Города развиваются хаотически, загрязнение среды, транспортные проблемы приобретают чудовищный размах. Плана по развитию бедных районов не существует. Все это мы должны поломать. Нужно помнить, что строительство домов и дорог создает больше рабочих мест, чем развитие военной сильно автоматизированной промышленности. Это немаловажный фактор.

Но черная нищета лишь первое звено. Дальше же вырастает целая цепь взаимозависимостей. Национальные меньшинства требуют хлеба, а президент (Никсон) сократил ассигнования даже на программу бесплатных завтраков для школьников из бедных семей. В массах зреет недовольство. В ответ растут репрессии. Администрация предпочитает «военное решение» социальных и человеческих проблем. Вместо того чтобы накормить голодных, она оснащает полицию. Вот почему Аттика, где расстреляли бунт заключенных, может быть везде и в любую минуту, так же как и Кент, где расстреляли демонстрацию белых студентов. Так социальное неравенство отравляет весь климат жизни в стране.

В том, что говорил Янг, чувствовалась заземленность на «черную» проблематику, что, впрочем, в его положении было естественно. Как схема характеристика, пожалуй, годилась. Однако в чем он видит выход из положения? На каком направлении черные должны сконцентрировать силы для главного удара?

— В год выборов все усилия мы должны сосредоточить на подготовку к ним. Посмотрите, всего шесть лет, как у нас на Юге выборы проходят без массового террора и запугивания черных избирателей. В результате мы имеем 665 черных на различных местных постах. Но есть еще более важное обстоятельство.

Вашингтон сегодня на 70 процентов черный город. В Детройте негритянское население составляет почти 45 процентов, в Балтиморе — 46, в Чикаго — 32... Это крупные города, и массированное голосование черных может изменить выборный баланс в соответствующих штатах и по всей стране. Больше того,

в национальном масштабе «власть черных» уже сейчас может определить, кому быть президентом.

Передо мной сидел политик. Тонкий, умный американский политик, мозг которого, подобно электронной машине, способен за минуты просчитать все возможные комбинации, учесть все факторы и выдать оптимальное решение. С этими электронными машинами только та беда, что выйти за рамки поставленной задачи они не могут. Вот и в данном случае собеседник был явно запрограммирован на замкнутый круг вопросов выборной стратегии и тактики.

На то у него были и личные причины. За год до нашей встречи на выборах 1970 года Эндрю Янг выдвигал свою кандидатуру в палату представителей США. Его соперником был белый республиканец Флетчер Томсон. В Атланте 52 процента населения — черные, но 5-й избирательный округ (теоретически та же Атланта, но только теоретически, потому что границы не совпадают) был определен таким образом, что черные избиратели составили в нем уже 40 процентов. Выиграл Томсон. Своего конкурента победитель называл не иначе, как «черной пантерой», хотя, видит бог, если и есть что-то общее у «пантер» и Эндрю Янга, то цвет кожи — не больше.

Разговор вернулся к Кингу.

— Вот кто точно умел определить направление главного удара, — сказал Янг. — Как гениально соответствовал своему времени экономический бойкот, избранный им в качестве главной формы борьбы! Любая компания, даже сама «Дженерал моторс», почувствует за спиной дыхание банкротства, если черный потребитель откажет ей в долларах. Кинг правильно понял, что самое эффективное оружие против белой системы — экономическое несотрудничество. А сейчас главная для нас сфера — голосование, предвыборная борьба. Политическая система у нас такова, что мы можем иметь революцию каждые четыре года.

Заключительная фраза резанула слух, как если бы в финале оперной партии певец сорвался на петуха. Зачем же так митингово? Никсон, Картер, Рейган... Какие уж тут «революции»?

Из «Черного банка» я уходил в смешанных чувствах. Что-то в словах Янга вызывало инстинктивное неприятие, даже разочарование — род обиды. Верно, Мартин Лютер Кинг понимал, что самое чувствительное место у меркантильной американской Системы — карман, и когда было надо, целеустремленно наносил по нему удары бойкота. Но можно ли сводить уроки Кинга только к этому?

Впрочем в просчете виноват был я сам. В человеке, что шел

рядом с Кингом, заранее виделась похожая фигура. Кинг же был дальновидным стратегом и умелым политиком, но не только. В трудные 60-е он был для своего народа лидером, пастырем, пророком.

Да, Кинг хотел, чтобы черные могли голосовать, страстно боролся за это. Он понимал, как важно, чтобы эта, как, впрочем, и любая из поставленных им целей — даже самая малая, была непременно достигнута. Однако ни в одной не замыкался. Каждая из них была для Кинга не самоцелью, но одновременно и средством к достижению главной цели — равенства. Ничто меньшее не могло его удовлетворить — вот что в принципе отличало его от других. Он понимал диалектику целей и средств.

После разговора с Янгом невольно подумалось о том, что Кингу-политику, пожалуй, найдется смена. Но кто заменит для черных американцев Кинга-пророка, Кинга-бунтаря?

И все же я должен был лучше понять, что разговариваю с политиком и потому разговор идет на разных языках. То, что я услышал из уст Янга, было политической диспозицией, излишне было искать в его словах иной — неутилитарный — смысл. Ведь и «власть черным» — термин специфический, в разных устах означающий разное, но в принципе не власть как таковую, а призыв к участию во власти, объявление о том, что период черной немоты кончился. Экстравагантный вывод Янга насчет черных и судьбы президентства, конечно же, толковать нужно было не буквально. Политик хотел сказать, что в 70-е годы XX века черные голоса наконец-то стали материальной силой, чем-то весомым, чем можно уже с умом распорядиться на американской политической бирже. Он тоже прозревал, но в иных сферах. Проницательному его взору открывались горизонты изощренных политических комбинаций, союзов, сделок. И тут я должен признать: «электронная машина» работала с точностью, можно сказать, сверхъестественной.

В 1972 году Эндрю Янг во второй раз баллотировался в палату представителей США и добился своего.

Ну а после эпопеи 76-го года Янга хоть в провидцы зачисляй.

...Летом 76-го Картера спросили: «Кому вы считаете себя обязанным?» — «Только одному человеку, — был ответ, — Энди Янгу». В ходе избирательной кампании Эндрю Янг стал доверенным лицом Картера, чем-то вроде его личного посла к лидерам черной общины.

Картер отдавал себе отчет в том, что для победы ему нужны черные голоса. Ищущий взгляд претендента не мог не остановиться на Эндрю Янге. Один из немногих черных конгрес-

сменов (в нижней палате конгресса США из 435 представителей черных было в ту пору 16, в верхней из 100 сенаторов — один. Сейчас ни одного). Притом что политическая репутация его необычного свойства — в отсветах кинговского огня. И главное — атлантец, земляк... Пишут, однако, что Янг, было, заколебался, взвешивая, можно ли сделать ставку на Картера, но решил, что игра стоит свеч. Так состоялся этот союз.

Девяносто процентов черных голосов были поданы за Картера. Вскоре после 20 января 1977 года — официального старта новой администрации — Эндрю Янг получил эффектное назначение — представителем США в ООН. Прозрение окупается...

А теперь оставим Янга в этот миг его политического триумфа и зададим вопросы более общего характера. Первый из них: что означает подобное вознесение?

Помнится, в той атлантской поездке я спросил нечто похожее у «черных пантер». В округе, как нам уже известно, ряд постов заняли черные избранники, в городе появились черные полицейские. Еще недавно на Юге такое было немыслимо. В чем тут дело?

В ответ я получил заряд гремучей смеси. И тогда впервые услышал это слово — «tokenism». Что означает «символизм», Или попросту показуха. «Они действительно стараются везде, где можно, завести по показательному негру, — с презрением и яростью выпалила «пантера». — Сидит себе такой негр у парадной двери или в витрине — манекен манекеном, роли никакой не играет, вопросов не решает, кто ему позволит? — зато видно его издалека. Это очень опасная политика, если вдуматься. Она сеет иллюзии у слабых».

С тех пор «пантеры» растеряли свой пыл, да и в 71-м эта точка зрения грешила упрощением реальности.

Успех демократического движения, борьбы черного населения за свои гражданские права. Вот что следует назвать первым по счету фактором. Так будет справедливо по отношению к Мартину Лютеру Кингу, к его соратникам, последователям и предшественникам, ко всем, кто принял участие в грандиозной исторической схватке. Стоит, однако, отметить масштабы победы.

Впрочем, конкретный пример не помешает.

В середине 60-х годов в возрасте 24 лет Джулиан Бонд выдвинул свою кандидатуру в нижнюю палату законодательного собрания штата Джорджия — палату представителей. И победил! Однако, как оказалось, праздновать было рано. Местным парламентариям не понравилось заседать вместе с «черным мальчишкой», и его выкинули из собрания. В 1966 году история

повторилась уже автоматически. Снова были выборы. И победа. И вновь черному депутату его белые коллеги указали на дверь. Произвол очевидный. Бонду пришлось достучаться до Верховного суда США, прежде чем его, наконец, пустили па законное место в стенах атлантского капитолия.

С тех пор прошли не одни выборы, и каждый раз Джулиан Бонд подтверждал свой мандат.

— Трудной была борьба? — спрашиваю тогда же.

— Нет. Последние два раза у меня вообще не было соперников. В моем округе живут одни черные.

Сейчас Джулиан Бонд — сенатор штата.

Черные добились права голоса. Они голосуют и там, где могут, проводят своих кандидатов. Характерные цифры на этот счет дает газета «Монд»: «В 1940 году в списках избирателей на Юге было зарегистрировано 5 процентов черных избирательного возраста. В 1964 году процент их достиг 43. Сегодня этот процент составляет 65, и последняя цифра, видимо, стабильна. В 1960 году выборные посты (разного уровня) занимали 100 черных, в конце 70-х годов — около 4000 (в том числе около 130 мэров, включая мэров Вашингтона, Атланты, Лос-Анджелеса, Детройта)». Прогресс очевиден... «Однако,— продолжает «Монд»,— эти 4000 постов составляют лишь около одного процента выборных постов в США, а между тем черные составляют 11,5 процента населения страны. На Юге после предоставления в 1964 году гражданских прав число черных на выборных постах увеличилось в 2957 раз. Но и это составляет лишь 2,6 процента выборных постов в этой части страны».

Прогресс от нуля выглядит обманчиво быстрым.

Черные избранники представляют черных избирателей. Так? Не будем спешить с окончательными выводами. Констатировав цвет, что в расовой ситуации напрашивается само собой, пора внести социальные оттенки. Черное население США далеко не однородно. Да, уровень безработицы среди черных в два раза выше, чем среди белых. Да, уровень жизни среди черных почти в два раза ниже, чем среди белых. Но ведь это в среднем, что неминуемо означает: помимо черной голи и бедноты, существует и черная буржуазия и вполне обеспеченный черный «средний класс». Эти люди, поверьте, свои «расовые» проблемы решили. Теперь их волнует другое — примерно то же самое, что волнует белую буржуазию или белый «средний класс».

«Будем откровенны,— говорит по этому поводу исполнительный директор одной из черных организаций — Национальной городской лиги — Вернон Джордан (летом 1980 года на него будет совершено покушение, пуля попадет в грудную клетку, и он

чудом выживет),— будем откровенны, у черных много различных, иногда противоречащих друг другу интересов. Черные, вступившие в профсоюзы пятнадцать лет назад, имеют иное представление о проблемах, чем те, которым только что удалось это сделать. Черные предприниматели озабочены такими вещами, как налог на прирост капитала. Взгляды черных банкиров на процентные ставки должны очень сильно отличаться от взглядов черных, берущих займы, или организаций по защите гражданских прав. Проблемы, тревожащие черных, часто выходят за рамки чисто расовых проблем».

Не поэтому ли после Кинга у черных нет общенационального вожака? Дело не столько даже в дефиците морального авторитета, сколько, по-видимому, в социальном размежевании общины, от чего решающим образом зависит самочувствие, надежды, взгляды, цели.

Борьба черного населения Америки — демократическое движение со своими сильными сторонами и слабостями. Упрощенно говоря, это борьба не за новое общество, а за место под солнцем в рамках общества существующего — с выработанными им институтами, капиталистическими законами и идеалами. Естественно поэтому, что для низов достижения «черной революции» остались по большей части моральными — рухнули унизительные внешние формы дискриминации. В то время как более материальные ее плоды — отвоеванная доля влияния и власти — попали в руки черных верхов.

Все та же «Монд» свидетельствует: «Радикализация, которой характеризовались последние годы движения за гражданские права, исчезла. «Мы хотим сегодня стать частью системы,— говорил нам один черный судья. — ...Нам нужен опыт, который приобретают в настоящее время Янг и другие». Вот во что вылился на практике знаменитый лозунг «Власть черным».

В тот, уже далекий 71-й год я неслучайно застал Эндрю Янга под крышей «Черного банка». Из сегодня отчетливо видно, что Янг находился на перепутье. Позади осталась роль в организации массовых движений, впереди маячила политическая роль. Правда, потерпев поражение на выборах 70-го года, он оказался не у дел, но имя и опыт в сочетании с трезвостью взглядов, умеренностью являли собой капитал, и черный бизнес Атланты дальновидно поместил его у себя, предоставил убежище в своей цитадели. До лучших времен.

И лучшие времена наступили. Для Янга. Наступили ли они для черной общины?

Как показывает история последних десятилетий, только одна причина могла подвигнуть власти на действия в пользу чер-

ных — бунт. Видение пожаров и крови пробуждало от апатии и бюрократической спячки.

В начале 60-х годов, в годы президентства Кеннеди и Джонсона были приняты федеральные программы в области трудоустройства, жилищного строительства, образования, социального развития черного населения. Это была отнюдь не радикальная — либеральная попытка помешать прогрессирующему распаду общества на две резко расходящиеся Америки — белую и черную. Но потом война во Вьетнаме сожрала средства, выделенные на нужды образования и здравоохранения. К тому же взроптал белый «средний класс», который хотел бы, чтобы уплаченные им налоги шли на строительство дорог и благоустройство пригородов — районов его обитания,— а не на «негритянскую благотворительность». Республиканские кабинеты Никсона и Форда чутко реагировали на эти настроения. В итоге ассигнования таяли, и положение черных становилось все хуже. С появлением демократа Картера у черных «умеренных» вождей возродились надежды. Они говорили об этом открыто. Черные отдали Картеру голоса, в ответ они ждали федеральные доллары. Но иллюзии быстро начали увядать. С либерализмом покончено. Под лозунгом борьбы с инфляцией федеральные расходы на социальные нужды постепенно сокращались на миллиарды долларов (при том, что военные ассигнования росли и росли). А это уже прямой удар по ожиданиям бедноты.

Не то чтобы Картер пренебрег черными голосами — в преддверии президентских выборов такого ни один политик себе не позволит. Однако стратеги его кампании, видимо, посчитали более результативной охоту за многочисленными голосами белого «среднего класса». К тому же они полагали, что в рамках двухпартийной системы черным избирателям все равно некуда податься. Голосовать за республиканцев — значит выбрать худшее из двух зол, ибо те традиционно занимают и вовсе консервативные позиции.

Обольщение черных из Белого дома продолжалось, может быть, только страсть уже не та. Да и любовь, в которой клянутся, скорее платонического характера. В начале 1979 года Картер публично пообещал добиваться того, чтобы день рождения Мартина Лютера Кинга был признан всеамериканским праздником. Услышать такое, конечно же, приятно для черного сознания, но...

Свое заявление президент сделал в Атланте, и прозвучало оно при обстоятельствах весьма пикантных, а скорее, просто грустных. Картеру присудили премию имени Кинга. Вручала

ее Коретта Кинг, вдова борца. А перед зданием церкви, где происходила церемония, члены основанной Кингом «Конференции христианского руководства на Юге» устроили демонстрацию протеста против планируемого Картером сокращения федеральных расходов на социальные нужды. На пятачке атлантской церкви в который раз столкнулись иллюзии и отчаяние, мольба и борьба.

Между стремительным карьерным взлетом и столь же сенсационным падением Эндрю Янга прошло два с половиной года. Пора, однако, сказать, что эта реальная, а не умозрительная точка была, по-видимому, неизбежна.

Читатель, конечно, заметил: отношение к Янгу не было однозначным. Согласие сменялось желанием спора, уважительную память о деяниях 60-х годов невольно разъедал скепсис по поводу амбиций более поздней поры. Дело тут в самом Янге, в невыдуманных противоречиях этой очень незаурядной личности, в конфликте социальных ролей, которые ему довелось и еще доведется сыграть. Соратник Кинга и сотрудник Картера... Борец за гражданские права, выразитель интересов черного населения Америки и высокого ранга, но чиновник, исполнитель официальной дипломатической миссии...

Да, события подтвердили правоту сценария, разработанного Янгом-политиком. Персональная плата в виде поста не заставила себя ждать. Прозрение окупается. Но рано или поздно возникал вопрос о цене. Возможно ли быть одновременно активным борцом и лояльным чиновником? Служителем истины и лицедеем? Дилемма, в которой любые компромиссы двусмысленны и опасны.

Янг дорожил своим прошлым, в конце концов в нем черпал он силу — в популярности, зародившейся в ту пору. Однако с этим прошлым все больше не уживалось настоящее. Новые задачи наталкивались на былое, как на айсберг.

В самом деле, что входит в обязанности представителя США в ООН? Прежде всего одно — являть миру, и в частности цветным народам, образ страны гуманной и великодушной, уважающей достоинство наций и права человека. Недаром Янгу столь демонстративно отдали на откуп контакты с Черной Африкой, иными словами — внешнюю сторону отношений, при том суть африканской политики Вашингтона, заключающаяся в поддержке белых режимов Юга этого континента, осталась прежней.

Янг, безусловно, рассчитывал на то, что благоприобретенное положение члена кабинета поможет в выполнении задач, которые он всегда считал своими. Увы... Впрочем, о разочаровании

черной общины в картеровской администрации уже шла речь. Политика Белого дома состояла не столько из реальных мер, которые бы сократили пропасть в уровне жизни двух рас, сколько из символических жестов в адрес черных, самым впечатляющим из которых и было назначение Янга.

Янг надеялся, что на ООНовском форуме он сможет не просто защищать, но и формулировать американскую политику, участвовать в ее определении. Его предложения не были, в сущности, столь уж еретичны. Пафос их сводился к тому, что США пора признать реальность и улучшить отношения с «третьим миром». Однако и эти позиции оказались слишком радикальны для официального Вашингтона. Да и не того ждали от Янга. Политика не менялась, но хотели, чтобы посол в ООН изменил ее восприятие — лик. Репутацию Янга попытались приспособить к целям госдепартамента. Вот что приходится сказать, если уж расставлять все точки над «i». Его именем думали обольщать своих черных и чужих цветных.

Однако эти рамки оказались слишком узки для такой фигуры, как Янг. Он натыкался на них постоянно, набивал себе шишки, получал выговоры (впрочем, пополам с паблисити). В чиновном мире он выглядел нарушителем норм. Он действительно позволял себе то, чего люди его положения обычно себе не позволяют. Время от времени он высказывался.

О том, что на Юге Африки главной проблемой является расизм, а не коммунизм.

О том, что в американских тюрьмах есть сотни, а быть может, и тысячи людей, которых он бы назвал политзаключенными.

О том, что США должны начать переговоры с Организацией Освобождения Палестины.

О том, что, укрывая шаха, США укрывает убийцу и вора.

О том, что его не волнуют советские военные на Кубе.

Впрочем, что, в сущности, он сказал такого, что вышло бы за рамки самоочевидных истин? Он просто называл вещи своими именами. Другое дело, что это не принято в американской политике, но ведь это может означать только одно: ненормальна сама политика, которая столь явно не терпит истины.

Все скандалы, что разгорались вокруг Янга, объясняются не его эксцентричностью, а действительно скандальным расхождением между словом и делом в американской политике. Не раз Янг оказывался в ситуации, когда административная лояльность — долг в силу должности — и собственный его интерес как политика, представляющего черную общину, не говоря уже о

совести, решительно расходились. Рано или поздно должен был произойти разрыв. И он произошел.

Нет, Янг вовсе не «радикал» или «экстремист» какой-нибудь. Это стоит еще раз подчеркнуть. Он вполне умеренный деятель. Но и такой он был подвергнут изгнанию. Тем самым Белый дом публично расписался в одном: там, где делается американская политика, не терпят даже лояльного инакомыслия, ни малейшего отхода от принятой догмы.

Вновь вспоминая встречу в том, далеком уже 71-м году, понимаешь: Янг находился на перепутье. Позади осталось участие в борьбе масс, впереди маячила политическая роль со всеми ее надеждами, иллюзиями и обольщениями. Казалось, что в коридорах власти легче решать проблемы черных, чем в уличных маршах и конфронтациях. Сейчас яснее: черным массам нечего ждать от истэблишмента. Каковы бы ни были конкретные причины и пружины административного падения Янга, таков главный и объективный урок случившегося.

Что же дальше? Ныне Янг — мэр Атланты. Вы ждете более широкого ответа? Никогда не следует забывать о субъективном факторе, и все же, думается, многое будет зависеть от температуры и давления — давления черных низов,— которые зафиксируют термометры и барометры расового климата в стране в ближайшее время. Сами события, логика борьбы, видимо, не раз напомнят, что в кинговском понимании слово «назначение» значит нечто неизмеримо более высокое, чем министерский, посольский или даже сенаторский пост. Как, впрочем, и долг перед обездоленными американцами — понятие более широкое, чем просто обязательство за поданные голоса.

РЕКВИЕМ ПО ЧЕМПИОНУ

Бой с самим собой... Прекрасная формула. Однажды она материализовалась.

В счетную машину заложили боксерские данные Кассиуса Клея, 24 лет, и Мохаммеда Али, 36-летнего. Бесстрастная машина подвела итог: Кассиус Клей переиграл Мохаммеда Али по всем статьям.

А если бы машина обладала душой и умела учитывать человеческие факторы? Наверное, итог был бы иным.

Но про итоги мы знаем и без машины.

Черные атлеты в Америке часто добивались высших титулов (собственно, арена американского спорта, особенно бокса, в большой степени отдана черным), но для многих чемпионов сам

этот факт и был венцом успеха — человеческого и социального. Кулачный боец, черный гладиатор мог добиться того, чтобы его признали великим черным бойцом и гладиатором — и ничем другим. Кассиус Клей достиг именно этого. Мохаммед Али пошел дальше. Он вышел за канаты ринга и нашел свое место в борьбе, от которой зависело уже не времяпрепровождение, но судьбы людей. И это было заметное место.

Но ведь есть еще Мохаммед Али-2...

Знаете эту манеру американского коммерческого кинематографа? Вслед за удачным фильмом на хвосте зрительского успеха тотчас сочиняется как бы вторая серия под тем же названием. Скажем, «Челюсти-2» или «Крестный отец-2». Имя имеет самостоятельную коммерческую ценность. Оно обещает под заклад испытанного. Слава старого фильма превращается в рекламу нового... Увы, разочарование обычно неизбежно. По своим качествам эти вторые издания уступают своим первообразцам. Они слабы, торопливы и неприкрыто спекулятивны.

Вторая серия Мохаммеда Али не была исключением из правила. Она тоже была рассчитана на успех и... опровергала первую.

Кассиус Клей был героем Римской олимпиады. Двадцать лет спустя Мохаммед Али-2 стал антигероем олимпиады Московской. Зимой 80-го года он отправился в странный вояж — продавать Африке американский бойкот. Личный звонок из Белого дома, персональный самолет, почести «специальному посланнику» — президентский массаж был изощрен и настойчив, и Мохаммед Али не устоял. Тот самый Али, который в разных ситуациях — серьезных и даже курьезных — зарабатывал себе репутацию человека, бросающего вызов сильным мира сего, унизился до услужения политиканству. Это было обидно.

Мохаммед Али говорил так: «Советские люди серьезны, миролюбивы, выдержанны и дисциплинированны. К своему удивлению, я ни в чьих глазах не обнаружил никаких признаков ненависти, расизма, предвзятости, зависти или подозрительности...»

«Я думал, что в Советском Союзе отсутствует свобода отправления религиозных культов. Мне говорили: если ты мусульманин, ты не сможешь ходить там в мечеть. Или: если ты христианин или иудаист, тебе не дадут молиться. На деле же, как оказалось, нельзя лишь раздавать на улицах литературу религиозного характера, равно как проповедовать или насильно обращать людей в свою веру. Молиться же можно сколько угодно. Я молился в трех разных мечетях, и никто мне не препятствовал...»

Мохаммед Али-2 звучит иначе: «Я считаю, что Россия угрожает всем религиозным народам мира, и как человек верующий я хочу попытаться помешать им распространять свой коммунизм».

Мохаммед Али говорил так: «Вернувшись домой из поездки в СССР (летом 1978 г.), я почувствовал себя надежнее и увереннее. Раньше мне всегда казалось, что Советский Союз может совершить внезапное нападение... Теперь это меня не беспокоит. Русские ни с кем не хотят воевать. Они потеряли миллионы людей, когда им пришлось драться с фашистской Германией, и ныне заняты мирным строительством...»

«Насколько я понимаю, наша пропаганда льет воду на мельницу «холодной войны» и натравливает народы друг на друга. Поговорите с русским мужчиной, русской женщиной, посыльным в гостинице, милиционером на улице — все они ежедневно ходят на работу, любят детей, любят наводить блеск на свои машины, любят музыку, любят поесть, любят пиво. Они не производят впечатления людей, которые жаждут ринуться в бой и завоевать весь мир. Однако ложное представление может создаться по незнанию и недопониманию. Если бы всем американцам представилась возможность узнать этот народ так, как я узнал его... Простые американцы ничего не имеют против русских, но им известно о русских только то, что им внушает правительство...»

Мохаммед Али-2 производит впечатление человека, нокаутированного пропагандой. «Россию надо остановить,— заявил он, имея в виду афганские события.— Если позволить России удержать за собой захваченную территорию, она скоро захватит нефтепромыслы. И тогда мы будем вынуждены столкнуться с русскими в военном отношении лицом к лицу».

Так что же случилось? Или, может быть, действительно есть два разных человека, бывший ангел, падший ангел обернулся дьяволом, и нужно только перезарядить ручку, вместо розовых чернил набрав черных? Как это было бы просто. И как часто мы подходим к сложной чужой действительности с мерками, которые к ней не подходят, и ищем простоты, которой нет, и пытаемся навязать ее, и когда материя вдруг взбрыкивает и сопротивляется, мы останавливаемся в растерянности и по-детски дуем губы на непослушание фактов. Между тем понять чужие законы — не значит принять их. Для того чтобы отвергнуть что-то, тоже нужно сначала понять.

Мохаммед Али-2 противоречит Мохаммеду Али. Но он не перечеркивает его. В истории вообще ничто не перечеркивается, не стирается как на классной доске и не пишется начисто. На-

стоящее не отменяет прошлое, оно оттеняет его, проливает новый свет. Противоречия Мохаммеда Али — не просто капризы (капризы не в счет). Его поразительная судьба — не только личная драма, трагедия или комедия, это — американская драма, трагедия и комедия. И читать ее надо именно так. Как американскую историю.

Попробуем?

Книгу о своей жизни Мохаммед Али назвал «Величайший». И расшифровал: «Моя собственная история». Сам о себе — «Величайший». Не смешно ли это?

От великого до смешного один шаг. А сколько шагов от смешного до великого?

Мать Мохаммеда Али любит рассказывать о том, как в родильном доме чуть не перепутали ее младенца: «Представляете, мне в постель по ошибке положили не моего ребенка...» Слава богу, она вовремя спохватилась, заметив бирку с чужой фамилией. Самая соль рассказа, однако, содержится в концовке. «Я сразу почувствовала: что-то не так. Тот, кого мне принесли, был тихий ребенок».

Милые семейные предания... Город, в котором родился Кассиус Клей — Луисвилл, в штате Огайо, на берегу реки Огайо — в ее воду восемнадцать лет спустя однажды ночью после погони, бегства и драки на мосту, переполненный, как блевотиной, только что пережитым унижением, он швырнет свою золотую медаль, добытую для Америки на Римской олимпиаде, и это будет крик, возвестивший о его втором рождении.

Город как город. Несколько лет назад, правда, он выбился на первые страницы больших американских газет чемпионом антибасинга — с началом учебного года здесь начиналось беснование по поводу перевозок школьников в интегрированные, то есть объединенные в расовом отношении, школы. Но считать это проявлением исключительности не стоит. В разные годы на всеамериканский пьедестал позора взгромождались разные города и веси. Дремлющей инфекцией расизма заражена вся страна, и никто не скажет, где произойдет очередная дикая вспышка. Так что Луисвилл — вполне нормальный город. В нем царят те же порядки, что и по всей стране, и происходят те же перемены и то же постоянство. Здесь тоже есть свои гетто, и выглядят они даже не так удручающе, как в городах-громадах.

В одном из таких районов и рос Кассиус Клей. Отец его, человек, не лишенный живописных способностей, но так и не сумевший выбиться в люди, зарабатывал на жизнь тем, что разрисовывал стены в местных церквях. Занятие это больше давало для духа, чем для плоти. Семья не прозябала в нищете,

но с нехватками и лишениями была знакома. «У нас никогда не было машины, которой было бы меньше десяти лет,— пишет Али.— Мы не были в состоянии купить хотя бы новые покрышки». Эта чисто американская автомобильная иллюстрация неплоха, но мне больше по душе иллюстрация автобусная. Школа находилась далеко, а в доме часто не было даже мелочи, и мальчишке приходилось бежать трусцой за автобусом туда и обратно. К счастью, уже в то время он твердо решил стать чемпионом мира по боксу в тяжелом весе, и эти пробежки можно было с полным правом рассматривать как необходимые тренировки.

Нельзя сказать, чтобы дома с радостью восприняли увлечение сына. Но, поразмыслив, решили: лучше секция, чем улица. Рано сформулированная, хотя и абсолютно фантастическая цель в жизни спасала от бесчисленных соблазнов и темных проулков судьбы, которыми особенно изобилует отрочество, проведенное в гетто. И она исподволь лепила характер.

Мальчишки — народ стихийно верующий. В чудо жизни, в человеческое предназначение, в высший смысл своего появления на Земле. В детстве невольно ищешь след сигнала, некий знак среди окружающих тебя предметов и явлений, который бы проявил твою тайну. Сознание даже готово пойти на легкую подтасовку примет. Юный Кассиус тоже узрел свой знак. Его потрясла смерть черного мальчугана по имени Эммет Тилл, растерзанного белой толпой в штате Миссисипи. Несчастная мать не сразу предала земле поруганное тело. Она имела мужество вывезти его в Чикаго, где прежде тысячи людей прошли перед раскрытым гробом... Кассиус Клей не был знаком с Эмметом Тиллом, но он узнал поразительную вещь. Оказывается, они родились в один год, месяц и день — он и Эммет. Нет, это не могло быть случайным совпадением...

Тема вновь вернулась на круги расизма. Дело не в спасительной легкости довода о том, что «у них негров линчуют». Хотя вот ведь действительно линчевали. Черному в Америке просто некуда деться от расизма. Расизм калечит судьбы еще до рождения. Он проникает в поры незащищенного детского сознания и отравляет его болью, страхом, завистью, ненавистью — на всю жизнь. Он готов убить все остальные чувства и краски. Он обесцвечивает мир, сводя его бесконечное разнообразие к простейшему и непримиримому делению на черное и белое. Нужно обладать мудростью и мужеством, чтобы пойти дальше этой черты, так наглядно разделяющей любовь и ненависть.

Читаешь разные жизненные свидетельства и поражаешься

порою буквальным совпадениям. Это естественно. Один и тот же опыт порождает схожие чувства.

Эпизод из «Автобиографии» Анджелы Дэвис. В родном Бирмингеме блестяще образованная девушка — она только что вернулась из Европы, где изучала философию во Франции и Германии,— не может войти в обувной магазин, там обслуживают только белых. Правда, для небелых иностранцев могут сделать исключение. И Анджела с подругой воспользовалась этой лазейкой — для того, чтобы в кульминационный момент прервать розыгрыш и высказать ошалевшему хозяину все, что она думает о нем и ему подобных.

Мохаммед Али признается, что и он, бывало, напялив на голову цветастый тюрбан и ломая язык, на пару с приятелем захаживал в Луисвилле в места «только для белых». Но в один прекрасный день надоело быть иностранцем в своем отечестве. Это случилось вскоре после Рима и всемирной славы, после того, как губернатор штата похлопывал его по плечу, а городские именитости спешили сняться с ним на память. В конце концов, имеет право человек, у которого на груди золотая олимпийская медаль — а он ее так любил, что не расставался с нею даже на ночь,— заказать в родном городе стакан молока и котлету?!

С этой просьбы к официантке и начнется жуткая сцена, что закончится ночью на мосту через реку Огайо. Хозяину было наплевать, кто перед ним, черных он обслуживать не собирался. Решение это шумно приветствовала мотоциклетная банда, наподобие знакомых нам по фильмам «ангелов ада», оказавшаяся за соседними столиками. На шеях у ублюдков висели фашистские кресты, у поясов цепи, и они горели желанием проучить «олимпийского ниггера». Вдобавок их предводителя по кличке Лягушка заворожил блеск медали. Так началась погоня, вылившаяся в драку на мосту. К счастью, все кончилось благополучно, но, когда опасность и унижение отпустили, Кассиус Клей сорвал с груди потускневшую медаль и швырнул ее в воду Огайо. Вместе с ней пошел на дно и груз юношеских иллюзий.

Он рос стремительно, хотя понял это гораздо позже. С каждым ударом — на вершок. А били его жестоко, профессионально — в голову, в сердце, в почки. Выбивая остатки сил, дух, уважение к себе. Чтобы побеждать, нужно уметь наносить удары, но, может быть, еще важнее уметь выносить удары, не дать сбить себя с ног. А если уж, не дай бог, такое случится, вставать до того, как кончится счет,— чего бы это ни стоило. Он стал артистом в своем жестоком ремесле. Подобно тому как художник чувствует цвет, он чувствовал боль. Боль от оскорб-

ления — «такую глубокую и острую, что никакой дракой на кулаках или ножах от нее не избавиться». Боль «какого-то особого, мучительного рода, начинающуюся в голове и уходящую в самую глубь живота» — «это боль от ударов, на которые ты не можешь ответить...». После схватки с бандой Лягушки остались синяки и ссадины, но они проходят. Открытие, что его покровители глядели на него как на «породистое животное, скаковую лошадь, в которую стоило вкладывать деньги», задевало глубже, и эта боль не утихала. Самая незаживающая рана — раненое достоинство.

Это была та же самая боль, от которой страдали миллионы его забитых и забытых черных братьев. В Америке 60—70-х годов он стал одним из ее олицетворений.

Если боль не убивает, она делает человека сильней. Мохаммеда Али она вознесла, сделала сильнее даже на ринге, обернулась невиданной поддержкой трибун, миллионноустым желанием видеть его на вершине. И рокот толпы был так могуч, что не прислушаться к нему не могли и всемогущие делатели спортивных королей.

Трижды чемпион мира среди профессионалов в тяжелом весе. Такого действительно не удавалось никому за всю историю профессионального бокса. Однако видеть в этом трехгорбом пике триумф мышц и только — значит мало что увидеть.

Что такое американский чемпион? Фигура полубога или скорее человека-быка. При одном его появлении толпа начинает реветь. Руки-молоты. Лицо-наковальня. В глаза страшно глянуть. Он — символ успеха, и потому у него есть деньги, которые можно пускать на ветер, и есть двор, и сладкозвучные хоры возносят хвалу кумиру. У него, кажется, есть все, кроме одного — собственного голоса. Ибо сколько бы вещей он ни мог купить, сам он себе не принадлежит.

Чемпион — не просто созвездие спорта и славы. Это коммерческое предприятие с гигантским оборотом (доходы от ТВ исчисляются десятками и сотнями миллионов долларов). Это фирменный знак, которым пользуются для рекламы широчайшего ассортимента товаров, начиная от потребительских и кончая такой тонкой идеологической материей, как «американизм». Пример чемпиона обладает ни с чем не сравнимой способностью вызывать стремление к подражанию, особенно среди молодежи. «Мужчина номер один», «самый сильный человек на свете», поистине «всеамериканский парень» — в системе приманок «американского образа жизни» этой маске принадлежит особое место. Чемпион может быть своеволен, капризен и склонен к любым выходкам, порою за гранью закона — скандал

славе не помеха, даже уголовные преступления можно счесть шалостью супермена. Но он должен быть лоялен к системе, вознесшей его на небосклон. Носителю титула простится легкомыслие и вовсе безмыслие, но только не инакомыслие.

Парень из луисвиллского гетто оказался проницательнее, чем о нем думали. Взойдя на вершину, он увидел то, что другие не различали за мишурой и шумом профессионального бокса. Что чемпион — не столько кумир, сколько марионетка, часть большого, хорошо срежиссированного спектакля. Он понял, что слава его громка, но скоротечна. Что его кажущееся богатство (на фоне недавней нужды) — лишь жалкие крохи с барского стола дельцов, делающих фантастические деньги на его имени. К тому же крохи эти растают в одно мгновение, стоит только потерять титул — сколько их, бывших чемпионов, кончало под забором...

Он понял все это. И тогда взбунтовался.

Пора рассказать о главном бое Мохаммеда Али.

Завязка такова. Али объявил о своей принадлежности к отверженным — «черным мусульманам». Перемену сочли за блажь и готовы были милостиво забыть о ней — при том условии, конечно, что парень откажется от своих слов. А чтобы впредь у него так не кружилась голова, пусть помнит, что в конюшне профессионального бокса всегда найдется с десяток примерно равных по силе претендентов и выбрать из них более покладистого чемпиона не представляет большого труда.

Словно в подтверждение того, что с ним не шутят, вскоре пришла повестка с призывного пункта. Надеть форму, дать забрить себе лоб? Это было бы полной капитуляцией. Нет, куклой в чужих руках или оловянным солдатиком он быть не хотел. Он хотел быть чемпионом, который сам формулирует свою позицию и ставит свои финансовые условия. Вряд ли обошлось без тяжелых раздумий. Но когда прозвучал гонг, Мохаммед Али сказал «нет»! Он был тверд: он не наденет формы, ибо это означало бы поддержку вьетнамской войны, что находится в противоречии с его религиозными принципами.

Ссылка на религию была его легальной зацепкой. Религия? И почему «черные мусульмане»?

Придется сделать небольшое отступление о «черных мусульманах». Слышать мы о них слышали, но знаем, в сущности, мало, гораздо меньше, чем даже о «черных пантерах». Принять их невозможно, сама их идея заключалась в отвержении. Белый — не человек, он голубоглазый дьявол. Иметь дело с дьяволами — преступление. Спасение черных — в «стране ислама», в отторжении от белой Америки, в создании собственного госу-

дарства. Манифесты их звучали дико, как всякий фанатизм. Этот род фанатизма отталкивал еще и абсолютной нереальностью провозглашаемых целей.

Старая истина: восприятие зависит от освещения. В разном свете одно и то же может выглядеть черным или белым. Добро и зло одновременно — для диалектики в этом нет ничего неожиданного. Американскую диалектику, однако, отличает вулканическая контрастность красок, немыслимый переход цветов и состояний. Смысл в сумме оттенков, а не в одном из них, пусть даже прежде всего бросающемся в глаза, в секрете сочетания несочетаемого.

Декларации пророков черного отечества нужно судить не столько по словам, сколько по тому, чем вызвана эта риторика, реакцией на что она является, какая реальность ее породила. Когда во второй половине XX века в богатейшей и развитой стране зарождается подобная вера, это само по себе социальное свидетельство убийственной силы. То, что выглядело порождением абсурда, в действительности было продиктовано отчаянием — может быть, и в бреду продиктовано, отчего не становится легче. Сколь же глубока эта бездна безысходности, если и такая проповедь привлекала к себе людей, протягивала им соломинку надежды.

Как всякая вера, она даже помогала некоторым из тех, кому больше не на что было опереться: опустившимся на дно, ступившим на преступную стезю, наркоманам, алкоголикам из гетто, хотя изменить эту жизнь, вылечить действительность она была не в состоянии. Не став выходом, она была обречена. В среде «черных мусульман» началось брожение. Наиболее чутким открывалась опасная ущербность проповедей о «белых дьяволах».

К идее равенства и ценности человеческой личности вне зависимости от цвета кожи пришел Малькольм Икс, самый знаменитый из «черных мусульман», хотя начинал он с того, что гордо провозглашал себя черным расистом. Он решил основать собственную церковь, более терпимую и свободную, пока не понял, что дело не в церкви — его народу нужна не сектантская религия, но широкая демократическая организация борьбы. Прозрение стоило ему жизни. Его сочли отступником и убили. Гибель еретика, однако, не спасла веру. Позже со смертью первосвященника «черномусульманства» Илайджи Мохаммеда движение утратило свою агрессивность и вскоре вообще сошло со сцены.

Из состояния придавленности, второсортности, от психологии рабства не было проторенной дороги к равенству и свободе.

Ее искали на ощупь, вслепую, яростно споря о направлении и разбиваясь в кровь. В лозунге «Страны ислама» нетрудно увидеть свет неверного маяка, но не упустить бы при этом сам мучительный поиск пути.

В своей книге Мохаммед Али почтительно отзывается об Илайдже Мохаммеде, но приводит лишь одно его послание, оговорившись, что оно созвучно и его мыслям. Вот оно:

«...Невозможно уразуметь, как это американское правительство — Владыка морей, Господин воздуха, Покоритель космоса, Хозяин земли, Исследователь океанских глубин — оказывается не в состоянии защитить нас от нападений и убийств на улицах каменных джунглей...

Линчеватели живут рядом с нами — в соседнем доме, на той же улице, в ближайшем переулке — и тем не менее их не привлекают к суду. Какой человек в здравом уме станет отрицать, что настало время, когда мы должны посоветоваться между собой, как нам самим обеспечить для себя справедливость.

Стоит только подняться на защиту своего народа, как тебя назовут возмутителем спокойствия, назовут коммунистом, расоненавистником, чем угодно.

То, что я скажу, — не для трусов. Те из вас, кто идет со мной, должен быть готов снести шипы и оскорбления, против нас начнутся расследования, под нас будут подкапываться и утверждать, что наша конечная цель — подорвать американский образ жизни. У нас нет таких намерений, и наши критики знают это. Ирония ситуации заключается в том, что те самые люди, которые обвиняют нас в нарушении статус-кво, сами насилуют, линчуют, лишают граждан права голосовать и позволяют себе даже в залах конгресса называть нас скотами и аморальными существами.

Я могу вам сказать только одно: после смерти жизни нет. В сладком сне нет справедливости. Бессмертие СЕЙЧАС и ЗДЕСЬ. Нас благословил Господь, и мы должны применить любые средства, чтобы защитить себя».

Именно это выбрал Мохаммед Али из противоречивого катехизиса «черных мусульман». Не столько новая вера, сколько символ новой веры, демонстративный отказ от чужого бога — вот что означало его обращение к «черным мусульманам».

Впрочем, было еще одно обстоятельство весьма деликатного свойства, на которое Мохаммед Али поэтому лишь намекает. Говорилось уже: профессиональный бокс — не что иное, как широкомасштабный бизнес. Пора внести, однако, существенное дополнение. В бизнесе этом в пору первого чемпионского пришествия Али царила мафия. Можно догадаться, что перед мо-

лодым честолюбивым спортсменом открывались два пути: пойти на сделку с мафией, то есть стать под ее охрану, но и стать ее игрушкой, или пойти наперекор. Тяжелый выбор. Первый путь традиционен, второй самоубийствен. И все-таки Али выбрал второй. Но он не полез на рожон в одиночку. Когда он объявил свои условия, за его спиной стояли «черные мусульмане».

Известный адвокат Трумен Гибсон свидетельствует: «Если бы Али не был мусульманином или членом сильной организации черных, шансы на то, что титул чемпиона в тяжелом весе выйдет из-под контроля преступного синдиката, были бы эфемерны. Вступив в игру, черные мусульмане сломали гангстерам хребет». Любопытно, что эти слова считает нужным привести в своей книге сам Мохаммед Али.

Это похоже на договор — или сделку, если хотите. «Черные мусульмане» обеспечивают новообращенному охрану (дела и тела). Взамен они получают его имя — религия ведь не меньше, а может быть, и больше, чем другие человеческие предприятия, нуждается в рекламе.

Но зачем при этом менять имя?

Отказ от фамилии, замена ее демонстративным Иксом входит в ритуал посвящения в «черные мусульмане». Объяснение однако вновь шире обид одного человека или символики одной черной секты.

«Мы, черные, не знаем своих истинных имен,— говорил Мохаммед Али.— В рабстве нам давали фамилии наших белых хозяев. Если твоего хозяина звали Робинсон, ты был собственностью Робинсона. Если тебя продавали Джонсу, ты становился собственностью Джонса. И если тебя с аукциона покупал мистер Уильямс, ты был собственностью Уильямса. Так нас и различали — по фамилиям наших хозяев. Сегодня на нас нет цепей, но имена остались прежние».

Человек отвергает рабство, навязанное предкам, его народу. Из черной дыры времени он не может извлечь наследственного африканского родоначального корня, и потому — безликий Икс, но три века цепей, вдруг отозвавшиеся в европейском христианском имени, он вычеркивает начисто.

Кассиусом Иксом, однако, Кассиус Клей был недолго. Он стал Мохаммедом Али, каким мы его узнали.

В его становлении было немало случайного.

Описывая одиссею отлученного от спорта профессионала, он вдруг роняет: «В каком-то смысле даже неплохо, что мне запретили выступления. Иначе я мог не встретить некоторые из самых привлекательных, чутких и умных групп, с которыми

я оказался связан с той поры». Конечно же, такие речи можно позволить себе только задним числом и то после победы. Но ведь так все и было. Ему запретили выступать на ринге, тогда он стал выступать в университетских городках, на митингах против вьетнамской войны, перед воинственными черными организациями. В отместку. И чтобы заработать на жизнь... А получил он гораздо больше. Он сам признается: «Это было странное, ранее не знакомое мне чувство. Сам того не думая и в общем-то не желая, я стал важной частью движения, о котором знал только то, что оно существует».

Он боролся за место под солнцем. Если говорить о первотолчке, то им двигало не столько убеждение, сколько самолюбие, инстинктивная реакция человека молодого и сильного, хлебнувшего унижений и однажды решившего, что с него хватит. Только ввязавшись в драку сначала с боссами от бокса, затем с зазывалами от армии, потом с генералами от политики, он начал осознавать, что его личная тропа войны совпадает с более широкими дорогами борьбы и что на этот раз его единственный шанс кроется именно в этом совпадении. Хорошо, что истории вольно было распорядиться таким образом, что шанс этот стал победным.

В другое время его раздавили бы, как букашку. Заткнули бы ему рот, как затыкали сотням и тысячам других инсургентов. Сгноили за решеткой. Правда, замечает Али, «в этой стране деньги в тюрьму не сажают», имея в виду, что ему было чем оплачивать баснословные счета адвокатов. Но насколько хватило бы гонораров от вчерашних боев, не окажись за его спиной более существенной поддержки? Да и не одной материальной стороне дело.

Два потока борьбы сотрясали Америку в то десятилетие. «Черная революция», вылившаяся в битву за достоинство. И набиравшее силу день ото дня движение за прекращение агрессии во Вьетнаме. Черный чемпион, бросивший перчатку шовинизму внутреннему и внешнему, оказался на гребне этих волн, и они вознесли его высоко — до уровня символа самих течений. Отныне его атлетическая фигура была видна всей Америке, да и, пожалуй, миру.

Антивоенные настроения вскоре примут такой размах, что Вашингтону придется принять решение о безоговорочной эвакуации из Вьетнама. «Черная революция» покончит с формальной расовой дискриминацией и приоткроет черным верхам двери к участию в политической власти, не говоря уже о возросшей доле в бизнесе (в том числе шоу-бизнесе). Параллельно дело Мохаммеда Али из абсолютно проигрышного превращалось

в выигранное. В июне 1970 года, то есть три года спустя, Верховный суд США отменил приговор о пятилетнем тюремном заключении. Решение судей было единогласным — 8 : 0, как если бы Мохаммед Али выиграл бой нокаутом.

Но что изменилось за эти годы? В юридическом деле Мохаммеда Али — ровным счетом ничего. Зато оно стало частью дела миллионов людей. Изменилась общественная ситуация, расклад сил. И вот уже те, кто подвергал его гонениям, расточают ему улыбки и комплименты в надежде на то, что частица его популярности осенит и их репутации. Мэр Чикаго, знаменитый босс Дейли, бессменный хозяин городской политической машины, некогда запрещавший бои Мохаммеда Али в своей вотчине, устроит в его честь роскошный прием и даже сочинит в подражание его виршам шутливую оду, не забыв срифмовать свое имя с именем восхваляемого чемпиона. «Мир любит победителей»,— сухо заметит по этому поводу Али. Сам президент (Форд) пригласит его в Белый дом.

Из преступников изгой вновь превратился в кумира. А популярность его обрела такие размеры, что перед ней бледнеет любая спортивная слава, пусть даже и помноженная на рекламу. Публика жаждала видеть его чемпионом, как никогда раньше. И он стал им. Теперь уже на собственных условиях.

Удача Мохаммеда Али состояла в том, что он оказался с подветренной стороны истории. Но у многих ли хватило бы духу ухватить за хвост такую опасную удачу?! И многие разглядели бы ее, когда на голову сыпятся одни лишь удары, а не дары судьбы?!

У боксера, у него отняли лучшие годы жизни. Прежде чем ему вновь позволили взойти на ринг, 72 боя были отменены «в последнюю минуту», при том что каждый из них был его последней надеждой, равносильной «быть или не быть». У кого хватит терпения семьдесят два раза подряд получать под дых и все же упрямо ломиться в возможно несуществующую дверь?!

Мы не забыли о Мохаммеде Али-2. Но не пропущены ли важные черты в том образе Мохаммеда Али, что нам известен? Может быть, они тоже расскажут нечто существенное об американской жизни?

Как, например, обстоит дело с эксцентрическими номерами, которые он откалывал на ринге и за канатами? Он мог устроить ночной концерт под окнами конкурента. Или прикинуться обезумевшим и лезть в драку перед боем. Или в ходе поединка шептать на ухо противнику оскорбительные слова... Смачных подробностей про Мохаммеда Али в прессе всегда хватало.

Американская буффонада развлекает. Узурпируя внимание,

сутолока и суета отвлекают от сути. Таковы уж здесь правила игры: слезы и те часто являют себя сквозь смех, сложная жизнь примеряет костюмы ярмарки тщеславия... А что, если именно это и надо было Али — чтобы в прессе было как можно больше смачных подробностей про него?

Этот мир признает только победителей — он рано понял эту истину, да и никем другим он не хотел быть. Прав ты или неправ — само по себе это никого не волнует. Свою истину нужно доказывать не в академической дискуссии, но кулаками. Кулаками отвоевывал себе место под солнцем Мохаммед Али. Но вот ведь парадокс. Для того чтобы добиться вершины в профессиональном боксе, мало одних кулаков.

Бои на звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе смотрят десятки, а то и сотни миллионов человек — по доходности это чемпион среди зрелищ. Обставляются они так, как никакие другие представления. Место встречи диктуют деньги. Время встречи — тоже деньги, всемогущее коммерческое телевидение.

Когда-то автомобильный король Генри Форд I, придерживавшийся не только реакционных взглядов, но и консервативных вкусов (на его заводах выпускались автомобили единственного образца — модели Т черного цвета), говорил: «У меня можно купить машину любой марки и цвета при условии, что она будет черной и модели Т». Точно так же день и час поединков может быть любым при условии, что на восточном побережье Соединенных Штатов будет пятница и вечер — «лучшее телевизионное время». (Встреча Али с Форменом проходила поэтому глубокой ночью. С учетом разницы во времени с поясами Нью-Йорка и Чикаго она началась в 3.15 утра). Ставки гигантские, цены за рекламу, передаваемую в ходе матча, астрономические, прибыли невозможно себе представить, их можно только подсчитать компьютером... Нет, профессиональный бокс в Америке — не просто спорт. В гораздо большей степени это уже и шоу-бизнес. То есть шоу. И бизнес.

Чемпион — это бог. А божества порождают мифы, ибо в действительности именно мифы порождают божества. Чемпион в тяжелом весе — это бог не только из мускулов, но и из мифов.

Римская олимпиада доказала, что Кассиус Клей — великолепный, возможно, не знающий себе равных атлет. Что с того? Его могли и близко не подпустить к бою за высшее звание. Шоу-бизнес нуждается не просто в атлетах, но в «звездах» — только «звезды» гарантируют устойчивый интерес к зрелищу и соответствующие прибыли. Кандидат в претенденты должен еще доказать, что он тоже может быть «звездой» и «божест-

вом». А для этого иадо, чтобы вокруг кипели страсти и шумела молва. Нужна своя мифология и реклама.

«За бой на титул чемпиоиа (самый первый — еще с Сонии Листоиом) я проводил кампанию более иапряжеииую, чем те кампаиии, что проводят кандидаты в президенты»,— пишет Мохаммед Али.

Он мог валять дурака на глазах у почтеииой публики, вести себя сумасбродио или даже изображать безумца — в действительиости каждый его шаг был холодно взвешен и рассчитаи. Ои понял законы, по которым крутится машииа шоу-бизнеса.

Хвала или хула — все лучше, чем мертвое молчание. Тем более когда боксера ие пускают иа ринг. Даже в лучшую пору ои вовсе не был голубым идеалистом, Мохаммед Али. Нос его чуток к запахам политической кухни и иравам коридоров власти и закулисиым закоиам шоу-бизнеса.

Ну что иам мелкие или даже крупиые бесы коммерции и саморекламы?! Будь только эти черты в его портрете, иикогда бы не пробиться ему к желаниой цели. Выходец из луисвиллского гетто, одиако, точио выбрал себе социальную роль.

Роль... Да, ие смутит иас это слово. Мы все придумываем себе роли и с разной мерой иастойчивости и успеха пытаемся играть их в жизни. Само по себе это ие страшно. Страшио другое. Когда с цииичной откровениостью или трусливо прячась за обстоятельства, выбирают роли подлецов, ничтожеств, приспособлеицев, серой мыши. Серая мышь в человечьем облике может ие ссылаться иа геиы — таков ее выбор.

В годы прощания с боксом Мохаммед Али попробовал себя в киио. Ои сиялся в двух фильмах. Один автобиографический (коиечио же, фильм иазывается «Величайший»), Али играет сам себя. В другом («Дорогой свободы») ои играет Гидеоиа Джексона — чериого героя, сто лет назад поднявшего иегров иа восстание против рабства.

Те, кто видел эти фильмы, едииодушиы: в киио Али сыграл хуже, чем в жизни.

На ринге Али появлялся в халате с надписью «people's champion» — «чемпион иарода». В английском, иапомию, слово «чемпиои» озиачает ие только высший спортивиый титул, ио и благородное поиятие «защитник прав, интересов».

Прекрасиая роль — чемпиои иарода. Но...

Ох, уж это «ио». Без иего, похоже, не обойдется ни одиа американская ситуация, ии одио понятие. В каждом американском яблоке может проклюнуться свой червяк, ио и в червяке отыщется не только ползучий смысл.

Между прочим, халат с великолепиым девизом Мохаммеду

Али подарил Элвис Пресли. Кажется, червячок в яблоке зашевелился...

Я ничего не имею против Элвиса Пресли. В свое время, когда он начинал, меня тоже захватывали его бешеные ритмы, да и когда он во второй раз завоевал небосклон эстрады, явив публике иную манеру пения, голос его звучал неплохо. Он был талантливый исполнитель, но прежде всего кумир, от начала и до конца созданный богами шоу-бизнеса по образу, им угодному. Типичная «звезда» — от золотых пуговиц на нелепом хитоне, который он носил в последнее время, и до могильного камня, ставшего капищем безумного поклонения. Титул «чемпиона народа» из его рук — уже не мандат, а фирменный знак. Так «звезда» с «звездою» говорит.

Роль чемпиона, которую избрал для себя Али, была синтетической. Она равно включала в себя понятия борца и «звезды». Странное, казалось бы, сочетание, но на американской почве произрастают и такие гибриды.

Тысячи горящих глаз следили за каждым жестом Али. Любому его слову, гневному или шутливому, внимала молодежь, сородичи, необязательно на митинге, но и в программе телешоу, и то, что он говорил против войны и расизма, шло на пользу поколению, искавшему правды и справедливости. Что было, то было. Но...

Но шоу все-таки не митинг, «звезда» и борец в одном лице не могут сосуществовать бесконечно.

В ООН однажды Али сравнили с двумя его великими соотечественниками — Полем Робсоном и Мартином Лютером Кингом. Комплимент прекрасный и, увы, чрезмерный. В истории они стоят по-разному.

...Роста и духа Робсон был исполинского. Словно в эпоху Ренессанса это была не просто разносторонне — всесторонне одаренная личность. Чемпионских высот он добился во всех проявлениях человеческого — в тех, где ценятся мускулы или интеллект, и в тех, где главное — дух и совесть.

Он родился 9 апреля 1898 года в семье бывшего раба и учительницы. Полученных им от природы талантов хватило бы на пятерых, и каждый был бы при этом наделен щедро. За недлинный свой век он прожил по крайней мере три полных жизни и в каждой достиг предельной высоты.

Сначала он был великим спортсменом. «Великий» — не метафора на сей раз, во всяком случае не моя. Знаменитый футбольный арбитр (речь идет об американском футболе, что сродни регби) Уолтер Кэмп дважды включал его во «всеамериканскую сборную» и называл не иначе, как «величайшим защитником,

который когда-либо появлялся на поле». Кроме футбола, юноша показывал блестящие результаты в бейсболе, баскетболе и легкой атлетике. Спортивные успехи Поля важно отметить, во-первых, потому, что это в самом деле важно, тем более в этом очерке, а во-вторых, потому, что они пригодились негритянскому юноше. Он смог закончить привилегированную школу в Ратжерсе, где был третьим негром за всю его историю... Но, может быть, еще важнее не забыть про спортивную доблесть молодого Робсона, чтобы лучше представлять, от чего он отказался.

Звезды американского университетского спорта, как правило, предпочитают млечный путь профессионализма тернистой дороге к знаниям. Это окупается деньгами и славой. Да и кто бросит камень в юношу, делающего ставку на силушку в жилушках... У юного Поля, однако, не закружилась от успехов голова. Приветственный свист болельщиков не заглушил в нем голос иного призвания. Он учился всерьез. После школы поступил в Колумбийский университет на юридический факультет. И хотя юристом он не проработает ни единого дня в своей жизни, полученное образование окажется бесценным. В политических баталиях, в битве не на жизнь, а на смерть с маккартистским произволом. И он не просто был бы безоружен. Он не был бы самим собой. Той покоряющей своей широтой личностью, какой его сохраняет наша память. Знания всегда будут манить Робсона. Он выучит множество языков, в том числе русский, и несколько африканских — древние голоса прародины.

Но это будет позже, а пока... Жизнь Поля Робсона делает еще один непредсказуемый поворот. С юридическим дипломом «Колумбийки» он пробует себя на сцене. И сразу успех. Новые роли, сотрудничество с драматургом Юджином О'Нилом, первый концерт, в котором он поет спиричуалз и трудовые негритянские песни. На этот раз призвание и признание не разошлись друг с другом.

И новая страсть, такая же безмерная и всепоглощающая, захватывает его — борьба. Отныне он будет петь всегда. Но раскатистый его бас услышат не только с театральной сцены, но и с трибуны конгрессов и митингов, откуда он зазвучит не бархатом, но металлом. Музыкальный критик как-то назвал его голос колокольней. Колокол Робсона будет звучать во славу человеческого достоинства и свободы.

В 1934 году по приглашению Сергея Эйзенштейна он впервые направится в нашу страну. Дорога проляжет через Германию, опутанную по рукам и ногам бесом нацизма. Так Робсону откроются величайшая ненависть и величайшая любовь в его

жизни. В Америке, республиканской Испании, в Советской России, в дни войны, мира или «холодной войны» он возвысит свой голос против фашизма, реакции, расизма, он будет неизменно голосовать за братство, человечность, социализм.

Самые тяжелые испытания выпадут на долю Поля Робсона после второй мировой войны. Америку обуяет затяжной приступ имперского безумия, антикоммунистический психоз, в стране начнется всеобщая «охота за ведьмами». Многих честных людей погубит или сломает маккартизм. Поль Робсон даже не согнется. Он не будет скрывать своих убеждений и не уступит и пяди своих позиций. Он будет не просто защищаться, он перейдет в наступление.

Госдепартамент отнял у него заграничный паспорт. Тогда Поль Робсон подал на госдепартамент в суд. Восемь лет спустя Верховный суд пятью голосами против четырех признал, что конгресс США не давал полономочия госдепартаменту арестовывать паспорта граждан из-за их «убеждений или связей».

Мораторий кончился. Но не месть человеку, дерзнувшему оказаться более правым, чем общество. Заговор молчания продолжался, будто артиста и не существовало.

И только весть о том, что Робсона не стало, сняла обет молчания, добровольно наложенный на себя буржуазной печатью. Газета «Нью-Йорк таймс» посвятила ему некролог на полполосы — после смерти уже можно признать величие политического противника, нельзя не признать...

Принято считать, да так оно и есть, что, «выбившись в люди», черные стремятся покинуть Гарлем. В конце своего пути великий черный американец Поль Робсон вернулся в Гарлем. Домой. Тело его было выставлено в церкви на бульваре Адама Пауэлла. В этой церкви Робсон выступал в те годы, когда другой сцены во всей Америке для него не находилось. Я помню этот траурный митинг. Даже с карточками прессы было непросто пробраться внутрь. Люди занимали места задолго до восьми вечера — объявленного часа начала. Черные и белые — примерно поровну.

«Моего отца обзывали коммунистом, но он считал это почетным именем»,— сказал на панихиде Поль Робсон-младший. Он до конца был верен своим друзьям, убеждениям, самому себе.

За три года до смерти, когда друзья и соратники собрались в Карнеги-холл, чтобы отпраздновать его 75-летие, он, прикованный болезнью к постели, прислал им свое слово. Слово было таким: «Я хочу, чтобы вы знали, что я все тот же Поль, предан-

ный, как всегда, всемирному делу борьбы человечества за свободу, мир и братство».

Все тот же Поль... Голос его не удалось замолчать.

Когда Кинга убили, кто-то из журналистов удивился: на счету у него оставалась несоразмерно малая сумма.

Когда Робсон умер, «Нью-Йорк таймс» в том самом некрологе на полполосы привычно подсчитала эмоции, перевела преследования, травлю, переживания па более принятый там язык цифр: «Его доход упал со 100 тысяч долларов в 1947 году до 6 тысяч в 1956 году».

В начало своей книги Али вынес послужной список профессионала. С кем бой, когда, его результат. Последняя колонка названа так: «Мой кошелек» (сколько получено за бой)... Заключительная строка послужного списка: «Сколько заработано за жизнь». И цифра — 31 251 115 долларов — как главный итог.

Жизнь или кошелек?

Такой вот счет. И в этом разница. Это все та же разница между целью и средствами.

У гигантов Робсона и Кинга была единственная цель — борьба за равенство людей. Да, они нашли в ней себя и благодаря ей стали тем, чем стали. Они многого достигли, расшатав цитадель расизма. И все, чего они добились, было для других. Признание современников, возможно, память потомков — другого они себе не желали. Они сами за все платили — покоем, здоровьем, жизнью.

В трудные годы Али вел себя мужественно, и все же его борьба была средством к самоутверждению. Целью же был успех — у публики, у менеджеров, у тех, кто платит. Он добился своего и стал самым высокооплачиваемым профессионалом, когда-либо выступавшим на любых подмостках. Ему принадлежит и другой рекорд: секунда (!) рекламы, демонстрировавшейся в ходе телерепортажа с первого матча Али — Спинкс, стоила три тысячи долларов. Это самая дорогая реклама на ТВ. Бои с его участием собирали самую большую аудиторию за всю историю зрелищ.

Вот опа червоточина в яблоке — к идеалам прочно примешивалась коммерция. Борьба Али набивала цену его боксу.

Рано или поздно дороги «звезды» и борца грозили разойтись. Это случилось тогда, когда собственно боксерская карьера подошла к закату. Начался мучительный поиск новой роли. Кино? Но великого актера из него не получается. Политика? Али помышляет о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру в сенат — одно время такие слухи ходили весьма упорно. Борьба? Он часто упоминал «созданную им организацию» «Уорлд».

Название, если расшифровать, прекрасное: «Всемирная организация за право на достойную жизнь», первые буквы замечательным образом складываются в слово «Мир». Но тут уж получается обратная картина — без бокса его борьба теряет свой блеск — не хватает паблисити. А скорее, чего-то более существенного. Общественной программы. Чистоты и цельности цели. Самозабвения.

Как и двадцать лет назад, Мохаммед Али оказался на распутье. С маленькой разницей. Тогда он был молод, честолюбив, беден, как большинство его народа, и смертельно зол на тех, кто лишает его места под солнцем. И главное — все у него было впереди. Сейчас все его вершины позади. Он все еще молод и еще более честолюбив, но богат и сыт... В момент кризиса его и подстерегли с соблазном «крысоловы» из Белого дома.

Судьба Али — действительно «американская история», уникальная и тем более показательная. Превращения личности посвоему отражают разные лики общества-оборотня, которые оно являет противникам,— от мести до лести. Бунт оно подавляет — или поглощает. Бунтовщиков оно душит — или подкупает. Одно прикосновение современного американского Мидаса, и на место пророка претендует эстрадный кумир, альтруизм вытесняется прагматизмом, философию добра подменяет философия успеха, истинное искусство отступает под напором искусства коммерческого. Идеалы чахнут.

Это сладкая смерть.

В память о былом чемпионе исполним реквием. Воспоминание о дне его высоты.

...Шел бой Мохаммеда Али против Джорджа Формена. Черной африканской ночью на залитом прожекторами стадионе в столице Заира Киншасе, на глазах у всего мира. Экс-чемпион мира, у которого нагло отняли титул, против нового чемпиона. Вот он, долгожданный миг. Корона на расстоянии вытянутой руки. Однако чья рука будет быстрей, чья вскинется в триумфальном жесте после боя?

Формену 25 лет, он в самом расцвете сил и славы. Чудовищный удар правой и послужной список, одно упоминание о котором способно привести в состояние грогги — все бои он заканчивал нокаутом, обычно не позже третьего раунда.

Али — 33, он прошел свой пик. Позади годы без бокса, сомнения, страдания, возрождение надежды. Оса может ужалить, но танец бабочки отяжелел.

Все шансы на стороне Формена. В разных частях света тотализатор выдает ставки в его пользу. 4 : 1 в Америке. 3 : 1 в Западной Европе. 3 : 1 в Японии. 2 : 1 на родине бокса в Анг-

лии. Только Африка верила в Мохаммеда Али, верила слепо, вопреки очевидности, и рев стадиона в центре Черного континента кипятил кровь.

Начало боя, однако, не оставило его сторонникам никаких надежд. Формен наступал неудержимо, как танк. Все планы Али, установки его тренеров на бой вдребезги разлетелись под кувалдами формeновских кулаков. Все, что мог сделать Али, это лечь на канаты и закрыться. А тот молотил и молотил, пробиваясь своими неимоверными прямыми сквозь самую глухую защиту. Один раунд, другой, третий... Но что это? В самые безнадежные моменты, после нокдауна, после ударов, от которых все внутри обрывалось, Али шептал пересохшими губами на ухо противнику: «И это все, молокосос? Все, на что ты способен?.. Где же твой хваленый удар, молокосос?.. Ну-ка, попробуй еще разок... А теперь посмотри, как это делаю я... Какой из тебя чемпион? Чижик ты, а не чемпион... Настоящий чемпион — это я!»

Сила была на стороне Формена. Сила, но не воля. И в этом поединке, где они сошлись лоб в лоб во всеоружии не просто кулаков, но судеб и характеров, Али старался подавить соперника фантастической верой в себя, всем, что он мог мобилизовать в самых тайных глубинах своей личности.

В перерывах, изнемогая от усталости и боли, вместо того, чтобы лежать в кресле, пытаясь отдышаться, он мог остаться на ногах и яростно размахивать руками, дирижируя хором неистовых болельщиков. Это был спектакль, рассчитанный даже не на публику, а на одного-единственного зрителя — того, что находился в противоположном углу ринга, но, право же, великий спектакль. Рискованная игра, и все же сначала каким-то чутьем, а после гонга уже кожей он чувствовал, что она достигает цели.

В восьмом раунде Али нокаутировал Формена.

Формен был сильнее. Но он проиграл, потому что не умел не выигрывать. Не сумев, как обычно, уложить противника в первых трех раундах, он перегорел, выдохся и сам нарвался на нокаут и не смог вовремя подняться с пола, потому что просто не знал, что это такое: не бывал он раньше повержен.

В решающий миг Али оказался сильнее, хотя ни один компьютер в мире не мог бы определить чем. Он оказался сильнее на годы борьбы без бокса, на опыт унижений, закаливший характер, на готовность расплатиться любой ценой за цель жизни. Он знал, что такое быть битым, и знал, что это еще не конец. Ибо вообще никогда не конец. Пока человек не сдастся и сам не признает своего поражения, он способен победить.

Сам он говорит так: «Чемпионов делают не в спортзалах. Чемпионы делаются из чего-то такого, что находится глубоко в них самих — из желания, из мечты, из видения».

Мечта. Видение... Это прекрасно. Но какая мечта? Та, что говорила голосом Кинга и вела за собой миллионы? Или иная — увидеть себя на вселенском пьедестале?..

Главное поражение Мохаммеда Али оказалось не на ринге. Впрочем, если за поражение платят деньги, много денег, то это уже и победа?

Пора ставить точку, а точка не ставится. Как отделить спорт от политики, политическое от человеческого — в одном человеке, в одной кричаще противоречивой судьбе? Да и что покажет подобное вскрытие? Вряд ли поможет и привычная сентенция насчет «жертвы общества». Какая уж тут жертва!..

И все же надо сказать и о поражении. Не Мохаммеда Али, он пробился в землю обетованную, какой она привиделась ему, и в одиночку. Это, скорее, поражение надежды, которую связывали с его именем, поражение американского идеализма. Людям так хотелось видеть в нем героя, что они невольно прощали любой пережим и игру на публику. Все было прекрасно, пока его личная драма и драма миллионов совпадали. А потом они разошлись. Трагедия миллионов продолжается, в то время как история Али превратилась в рекламную «историю успеха». И тогда вместо истинного героя на сцене остался герой удачи.

Увы, типичная американская концовка. В кино это называется «хэппи-энд».

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане —
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Александр Борисович Пумпянский

ПРОИСШЕСТВИЕ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОЛГОФЫ

Редактор Ф. Л. Цыпкина
Художественный редактор В. М. Носенко
Технический редактор Р. Д. Каликштейн
Корректор А. З. Лазуткина

ИБ № 3299
Сдано в набор 13.12.83. Подп. в печать 25.06.84. А05807. Формат 84×108[1]/32. Бумага типогр. № 2. Гарнитура обыкновенная новая. Печать высокая. Усл. п. л. 17,64. Усл. кр.-отт. 17,75. Уч.-изд. л. 20,48. Тираж 50 000 экз. Заказ 502. Цена 80 к. Изд. инд. ХД-522.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

80 коп.

